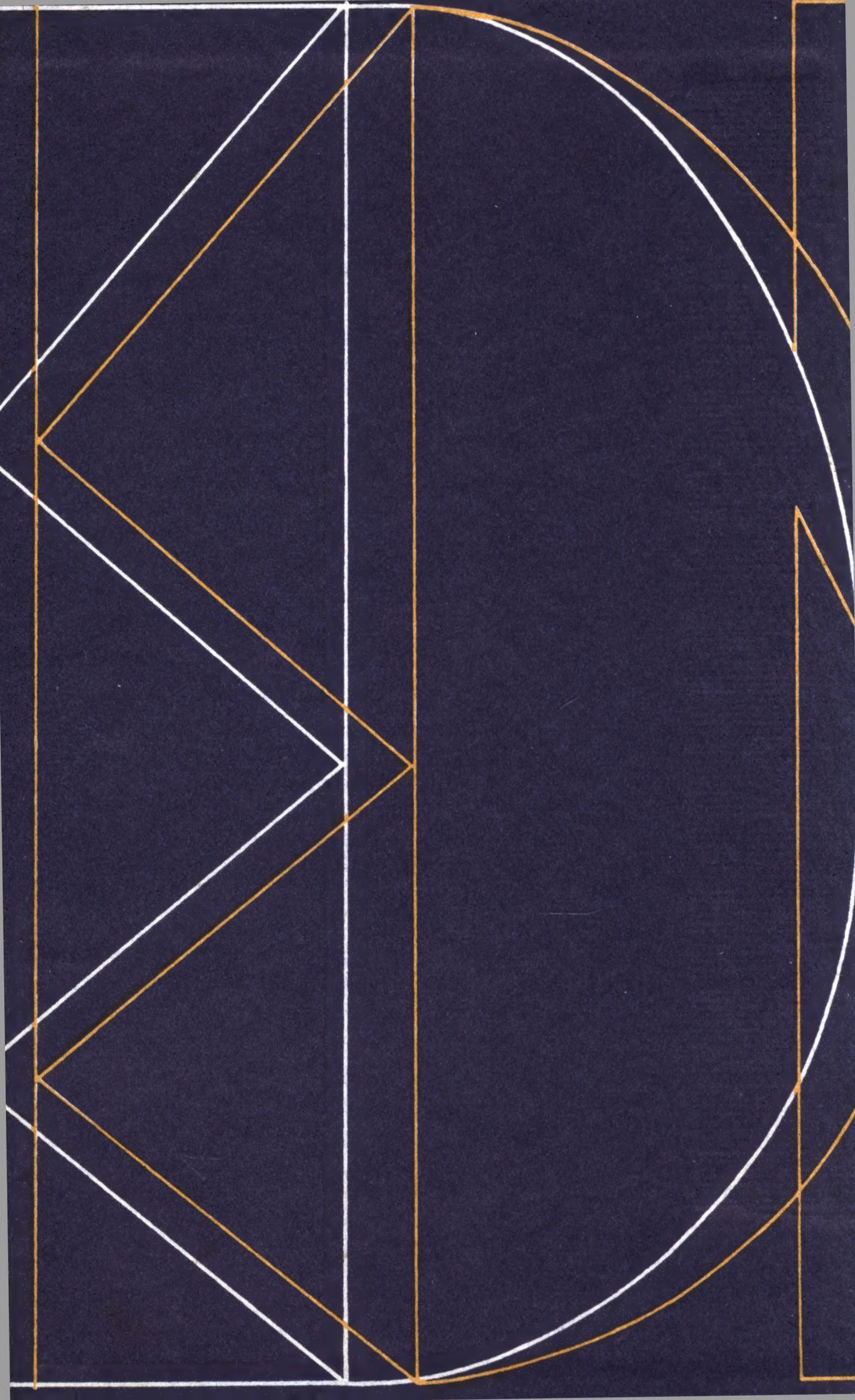
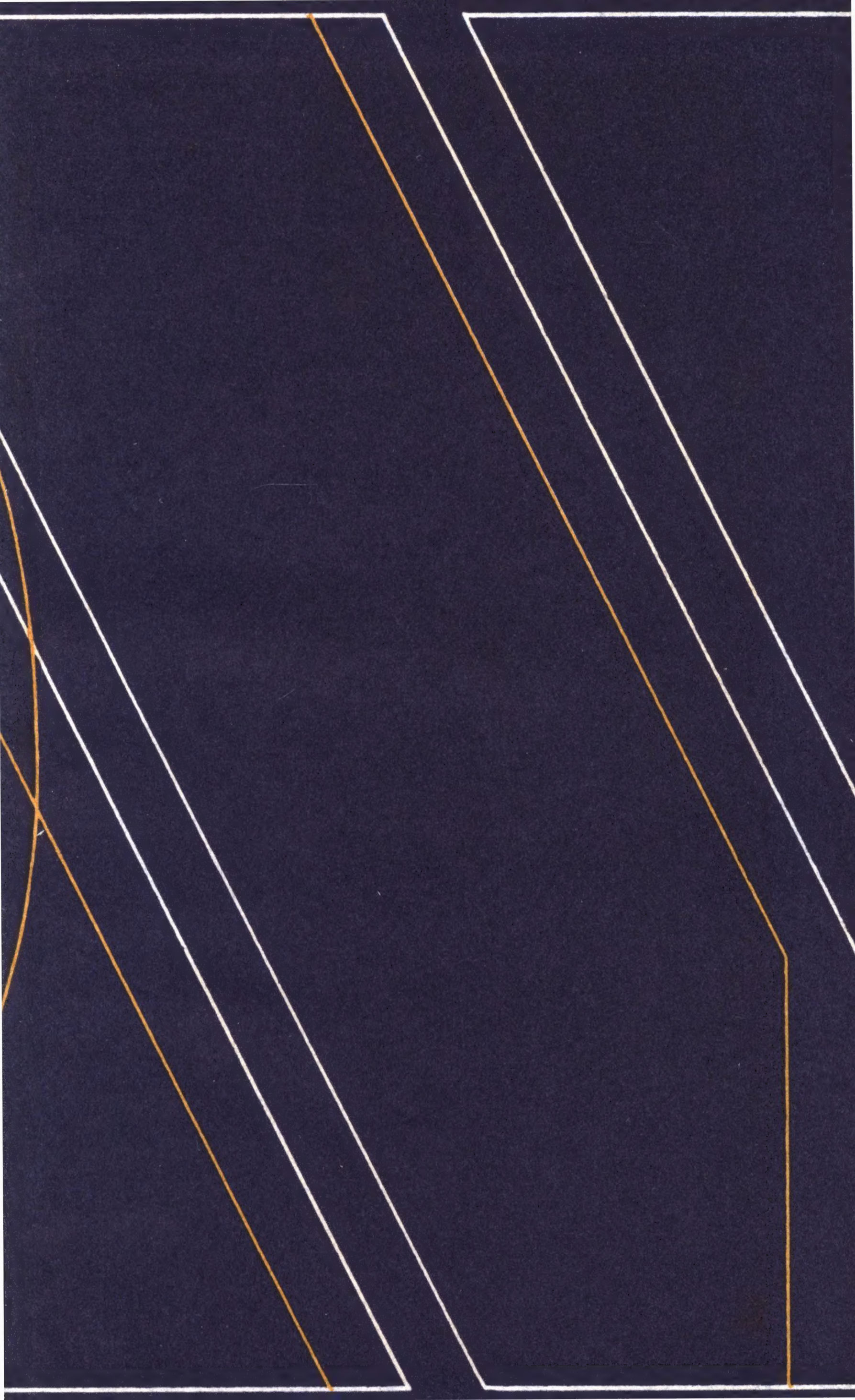
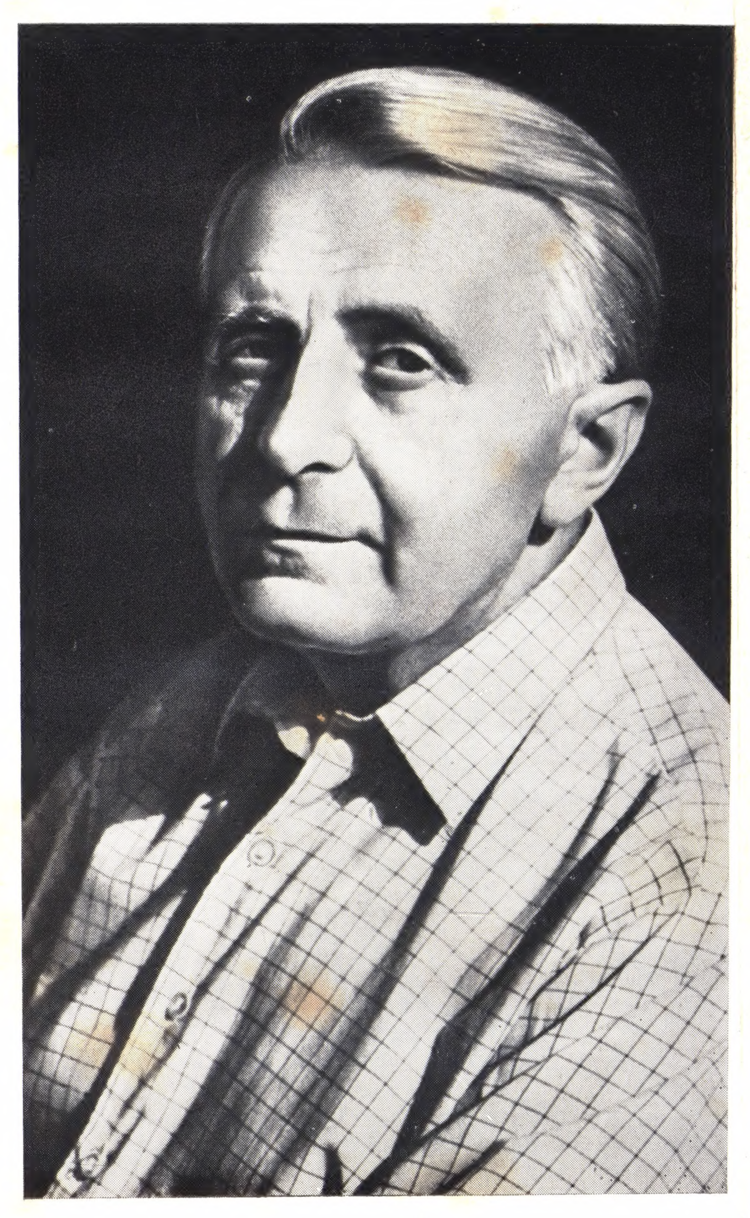
Эндре Иллеш

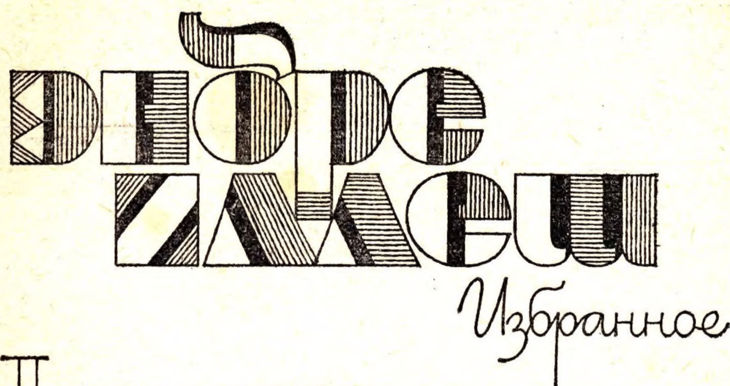
Избранное





В знак
уважения
в день 8го марта
от мужчин ГПТУ-79
1980





Избранное

Перевод с венгерского

Москва

«Художественная литература»

1979

И (Венг)
И 44

Составление
А. Кун

Предисловие
А. Туркова

Оформление художника
С. Ганнушкиной

И $\frac{70304\text{-}195}{028(01)\text{-}79}$ 144-79

В гостях у Эндре Иллеша

Итак, мы с вами, читатель, как бы в гостях у автора этой книги — известного современного венгерского писателя Эндре Иллеша.

Для многих это, вероятно, вообще первое знакомство с ним. Кое-кто уже читал или его изысканную «Легенду о любви и смерти» в книге «Современные венгерские повести» («Художественная литература», М., 1972), или пьесу «Тот, кто боится любить» в сборнике «Современная венгерская пьеса» (М., «Искусство», 1974), или рассказы, опубликованные в подобных же коллективных изданиях.

Однако предисловие к одному из них недаром называлось «Калейдоскоп венгерской прозы». Такие книги, разумеется, способны дать скорее представление о разнообразии всей данной литературы, но не о творческой амплитуде работающих в ней писателей. Тем более, что Эндре Иллеш, почти ровесник нашему веку (он родился в 1902 г.), прошел долгий творческий путь.

«С юности влекла меня к себе драматургия,— пишет он.— Первые две сотни новелл я писал, рассматривая их как некую подготовку к драме... Новеллы одна за другой появлялись в различных газетах и литературных журналах, но я безошибочно чувствовал: все, что я делаю, не так уж хорошо, не мой это голос... Критическая оценка собственных произведений привела к тому, что моя первая интрижка с новеллой окончилась разрывом. Я стал критиком по необходимости, потому что очень уж научился критиковать себя. Из всех видов критики я избрал театральную, десять лет подряд писал театральные рецензии, и мне действительно удалось между делом, шаг за шагом (так преследует охотник крупную дичь), приблизиться к театру.

Собственно говоря, лишь после успеха первых моих пьес я по-настоящему вернулся к новелле».

За этим изящным и не без юмора прочерченным пунктиром литературной биографии стоят целые десятилетия постоянных поисков и труда. Заглянув в венгерскую литературную энциклопедию, можно узнать, что, сделавшись критиком «по необходимости», Эндре Иллеш уже в тридцатые годы получил в этом качестве заслуженную известность своими выступлениями на страницах прогрессивного буржуазного журнала «Нюгат» («Запад») и что после установления в Венгрии народно-демократического строя заметно эволюционировали не только мировоззрение, но и стиль писателя, освободившийся от некоторого пристрастия к усложненности и вычурности, однако не потерявший при этом изысканной отточенности.

Перу Эндре Иллеша принадлежат более двадцати книг, двенадцать пьес. Так что он может «принять» нас в целом литературном «доме» и предоставить нам оглядывать одну комнату за другой.

Однако не будем «жадничать» и торопиться наподобие тех наивных людей, которые мнят за один раз осмотреть все картины и статуи, собранные в какой-нибудь известной галерее. На первый случай нам хватит и того, что собрано в этой книге.

Что сам Эндре Иллеш считает своей характерной чертой?

«...в любом жанре,— говорит писатель,— я только затем стремлюсь вызвать к жизни те или иные образы людей, чтобы иметь возможность разобрать и оценить их душевный склад».

Читатель убедится в справедливости этой самооценки, познакомившись, например, с повестью «Шулеры».

Первая глава называется «Мертвая», и этот заголовок говорит не только о самоубийстве Виолы, но, в известной мере, определяет ее духовную сущность — во всяком случае, так, как ее понимает бывший муж Виолы Дёрдь, вспоминая всю историю их знакомства, супружества и разрыва.

В его воспоминаниях встает образ пустой, претенциозной, лживой и корыстной мещанки, которая, кажется, не способна ни на какое непосредственное душевное движение.

Все ее поступки и слова — какая-то жалкая духовная «косметика», при помощи которой она придает себе вид живого, мыслящего, чувствующего человека. «...Малую толику ощущений она, как кремы и румяна, наносила на кожу»,— характерно определяет это своеобразное шулерство Дёрдь, а в другом случае столь же беспощадно разъясняет причину ее «увлечения» игрой на скрипке: «Скрипка — это символ, знак ее принадлежности к существам высоко избранным. Ее дворянский герб. Виола приладила скрипку к своему образу жизни, как добавляют приставку к дворянской фамилии».

Однако не пора ли нам оборвать этот обвинительный вердикт, который — при всей точности и справедливости многих суждений Дёрдя — в конце концов все-таки начинает выглядеть не совсем уместным над телом бывшей жены?

А судьи кто? Уж не Дёрдь ли с его экспериментаторским «скальпелем», производивший «вскрытие» жены еще при ее жизни? «Радость его была сродни радости хирурга, вскрывающего затаившуюся опухоль».

«Ну, это еще куда ни шло! — может подумать читатель.— Хирург часто и помочь может».

Но вот что следует дальше: «Он достаточно глубоко изучил характер Виолы, чтобы предугадать заранее ее ответы. Он жил рядом с этим существом, как математик живет среди формул и алгебраических выводов, зная наперед конечный результат. Как астроном,— проверяя ранее вычерченные орбиты звезд. С не меньшим тщанием готовил он кульминационные моменты этой игры, так иной поэт шлифует строки своего сонета».

Уж не годится ли сам этот утонченный, всепонимающий судья на роль подсудимого в печальном «деле», где, впрочем, одна из сторон сама уже осудила себя решительно и бесповоротно, а заодно смешала все карты хитроумного аналитического «пасьянса», залила, «запачкала» своей кровью каллиграфически выведенные «формулы и алгебраические выводы», размыла строки отшлифованного «сонета»?

Пусть Виола во многом такова, какой ее представил себе и нам Дёрдь,— но ведь, в сущности, это казнь египетская: попасть не в объятья живого, страстного человека, пусть ошибшегося в своем выборе и потом вымещающего свою беду на «виновнице», а в этакую супружескую барокамеру, где ты всего лишь — любопытна, как белая мышь экспериментатору!

Дёрдь довольно брезгливо сторонится среды, которая его окружает, с ее дешевой претензией на богемность; он не без осуждения рассказывает о насмешках, которыми знакомые преследуют в общем-то простодушную Виолу, окрестив ее Ласочкой и призывая «ис-тре-бить ее!». Однако, по сути дела, он сам стал едва ли не запевалой этого злорадно-улюлюкающего хора, выбросив ее из своей жизни, как ненужное животное после завершения эксперимента.

Напомню для сравнения уже известный русскому читателю рассказ Эндре Иллеша «Два портрета», где одной из «моделей» этого художника оказывается девушка-студентка Агнеш. В ней тоже немало напускного, деланного, неестественного, но ее собеседник «что-то... понял, что-то услышал в Агнеш». Понял, что жизнь ее трудна и «потому она все время карабкается вверх,

вверх, и хоть не так уж высока ее высота, но все десять ее ноготков кровоточат от усилий».

Этот точный, краткий и вместе с тем такой горестный диагноз гуманиста решительно противостоит высокомерному любопытству «интеллектуального» вивисектора.

«Гордецы» — так называется один из сборников произведений писателя. Герой одного из вошедших в эту книгу рассказов «Профессор», замкнувшийся в чопорном отчуждении от людей, написал однажды портрет своей молодой жены Като Ульрих. И, рассматривая картину уже после смерти профессора, местный врач, а некогда его студент, размышляет: «Анатомия — наука, которая лишь описывает и называет, но то, к чему она прикасается, коченеет, становится мертвой материей... Картина и напоминала анатомическую таблицу... анатомическую схему, каких немало начертил этот человек за свою жизнь... Как от камня, от нее веяло неизбывным холодом».

В этом смысле неслучайной, почти символической кажется и сама смерть Като, как будто это произошло не только из-за автомобильной, но и некоей жизненной катастрофы, которой стало для нее мертвящее «прикосновение» профессора. Он ведь, по убеждению доктора, «никогда не верил в подлинную связь, слияние и тем более в родство мужчины и женщины».

И тут уже нащупываются некие «связь» и даже «родство» между высоколобым ученым теоретиком и обитавшими неподалеку, в гитлеровской Германии, да и в самой Венгрии подвизавшимися, «практиками», которые уже ставили не один пол над другим, а народ над народом и залили мир реками горячей крови.

Точно так же и доктор Герендаи, брезгливо относящийся к директору больницы, фашиствующему выскочке, в то же время трусливо пасует перед его натиском, готов выполнить даже самые чудовищные его распоряжения (отданные, как вскоре выяснилось, уже в момент сумасшествия) и, таким образом, действует в унисон с ним.

Когда же, покорно исполнив унизительный и бессмысленный приказ, Герендаи узнает о помешательстве шефа, реакция этого «обладателя аристократической фамилии» поразительна: его обуревает не стыд, не горечь, не гнев, а «бесконечное счастье» при мысли, что теперь, по всей видимости, он может стать заместителем директора больницы!

И снова хочется сопоставить эту, с позволения сказать, позицию с запечатленной в рассказе, давшем название целому сборнику,— «Меж водоворотов». Судьба героя рассказа максимально приближена к собственно авторской: он писатель и, мобилизован-

ный в самом конце второй мировой войны, используется «по специальности» ...писарем, заполняющим призывные повестки.

Так герой становится колесиком страшной машины, ввергающей людей в ад ненавистного и чуждого им побоища.

«...я ни на минуту не мог отделаться от мысли,— говорится в рассказе,— что за каждым именем, адресом... стоит человек, который через два дня расстанется с прежней жизнью, простится с отцом, матерью, женой, возлюбленной, сыном, братом, сестрой, друзьями — у кого кто есть...»

И хотя вокруг, в канцелярии, все следят друг за другом, героя одолевает желание уберечь хоть кого-то от жалкой участи — стать солдатом фашистской армии — и от вполне вероятной гибели.

Наконец он рискует спрятать одну из карточек, где содержатся сведения о подлежащих призыву. Больше ему сделать не удалось, но он был убежден, что спас хотя бы одного человека.

Однако, когда через несколько лет он решил навестить Михая Котроци, того не оказалось в живых: он был мобилизован много раньше, чем герой натолкнулся на его карточку, и убит уже весной сорок второго года.

Ужасны минуты, проведенные героем с вдовой Котроци — «еще молодой, но довольно изнуренной женщиной», с тусклым голосом, «словно стираным-перестираным с мылом и щелочью».

Ужасны мучительные догадки о том, что же произошло:

«...кто-то по небрежности оставил карточку призванного среди карточек призывников, и именно этот кусочек картона, один из тысячи, я и выкрал.

А может быть, мой предшественник по злой воле намеренно оставил призванных среди призывников: если людям повезло и они вернулись домой, пусть призовут их второй и третий раз...»

И это не только печаль о погибшем и погибших, но и горестный упрек себе и всем, кто не сумел предотвратить трагедию, оказался беспомощным перед алчной и бездушной машиной фашистского «порядка».

...В этой «комнате» выстроенного писателем «здания» стоишь долго-долго и потом снова не раз мысленно возвращаешься сюда.

Впрочем, не будет ничего удивительного и в том, если кому-нибудь из читателей захочется подольше задержаться еще где-то — полюбоваться описанной с добродушной улыбкой историей юной любви, для которой все еще превращается в милую и забавную игру («Юноша и девушка»), или сочувственно вдуматься в совсем иной по эмоциональной окраске рассказ «Трудная весна», от которого веет и трагизмом уже отдаленной войны, ее тягостным наследием, и, если воспользоваться словами самого автора, «неоштукатуренным бытом» непросто складывающихся судеб.

Книга Эндре Иллеша кажется мне очень похожей на него самого, спокойно и мудро прислушивающегося к бурлящим вокруг толкам о «смерти романа», триумфальном наступлении кино и телевидения и т. д., и т. п.,— столь напоминающим безапелляционные суждения Агнеш: «Дюрренматт? А, старье, барахло... Так писал еще Толстой... Дебюсси? Гершвин? Да бросьте вы! Это же напудренные любимцы моей бабушки» («Два портрета»).

«Я верю в книгу»,— сказал писатель в одной из дискуссий последних лет, отстаивая неизменно право литературы на внимание современников, пусть даже избалованных XX веком со всеми его техническими и зрелищными дарами.

И собственное творчество Эндре Иллеша подтверждает обоснованность и справедливость подобной веры.

А. Турков

РАССКАЗЫ

Воспоминания 1923

Мне исполнился двадцать один год, когда я впервые прочел «Войну и мир». Воздействие романа было всесокрушающим. За считанные недели рухнул мир... Одна только юность бывает столь предательски коварной и до несправедливости категоричной в своем ниспровержении: меня не покидало ощущение, будто Толстой разорвал артерии всех других книг, кровь из них вытекла, и книги стали бледны, худосочны, мертвы. Словами я вряд ли смог бы тогда объяснить, что именно потрясло меня в томиках «Войны и мира».

Это нельзя было назвать чисто литературным впечатлением, я пережил переворот совершенно иного рода. Передо мной открылась сама глубинная суть, та потаенная формула, что связывает одного человека с другим и что безжалостно разъединяет людей: пучины их душевных противоречий и основы общежитейского взаимопонимания; предельная обостренность чувств и пресыщение, крах; людская неустроенность, теснение в груди и страшные перепады давления общественной атмосферы. Гармония с окружающим миром и потерянность, духовная неколебимость и смирение — во всем грандиозность, размах, которые в первые недели после прочтения и потом еще долгое время пьянили меня.

Случилось так, что впечатления мои от Толстого совпали, а вскоре и слились воедино с другим впечатлением; при тогдашней моей привычке к чтению всего подряд, без разбора, мне совершенно случайно попался достойный близнец «Войны и мира»: тоненькая брошюра страниц на восемьдесят, вышедшая в Брауншвейге и называвшаяся: «Über die speziele und die allgemeine Relativitätstheorie»[1] Эйнштейна, но мне она подвернулась как раз вовре-

---

[1] «О специальной и общей теории относительности» *(нем.)*.

мя. Толстой и Эйнштейн заново открыли мне глаза на мир. Оба они расширили мое представление о мире: к трем измерениям добавили одухотворившее жизнь четвертое.

Почему я так поздно пришел к Толстому, объяснить просто: до тех пор я был паладином Флобера. За минувшие годы я обошел его царство от «Саламбо» до «Воспитания чувств». Это царство порабощало, заколдовывало: на деревьях его произрастали сплошь золотые плоды.

Толстой и Эйнштейн расколдовали это царство, вернули его в изначальное, естественное состояние. Пространство и время соединились. Их мир был богаче, полнее, яснее очерчен. А потому и подлиннее, драматичнее.

Итак, я учился на третьем курсе медицинского факультета и робко пробовал свои силы в литературе. Даже на университетских лекциях я не расставался с томиком Толстого и брошюрой Эйнштейна. Известное изречение Толстого о том, что человек жив, лишь пока он пьян от жизни, стало моим девизом.

Но был и третий титан, также приводивший меня в восхищение: Шандор Корани, терапевт поистине великий; я слушал его лекции и был его учеником. Корани тоже распахнул передо мною новый мир, и в центре его мироздания тоже стоял человек. Борьба здоровья и болезни, единоборство порядка с силами, на него посягающими. И мой третий кумир тоже умел рассеять сонмы демонов, развеять мрак преисподней внутри человека.

Кстати, именно Шандору Корани я был обязан тем, что я сделал первый шаг — от юношеского восторга к пониманию искусства Толстого. По завершении учебы я проходил практику в клинике Корани, принимал ходячих больных. Задача моя заключалась в том, чтобы составить анамнез. Нечеткий анамнез — что дурной просев: все сгребается в одну кучу — и лишние жалобы, и симптомы, заслуживающие самого пристального внимания. А хорошо составленный анамнез вплотную подводит к диагнозу. Как и в любом деле, здесь легко попасть впросак. И к тому же я боялся, что мои заключения могут лечь на стол самому Корани. Доктор имел обыкновение кое-кого из больных брать на лекции и демонстрировать в качестве своеобразного учебного пособия; ну и вместе с больным, естественно, и составленный практикантом анамнез.

И действительно, мой шеф однажды заговорил со мной о диагностировании. Вдруг я услышал имя Толстого.

— Вот кто умел блестяще составлять анамнез. Вы читали «Войну и мир?» — спросил он.

Я нашел силы кивнуть головой.

— Помните смерть Каратаева? Вернее, внутреннюю опустошенность, оглушенность Пьера и то, как он отмахивается от очевидного: он как бы и не желает знать, что Каратаева уже нет, что он умер... Помните это место?

Я снова лишь молча кивнул головой.

— Тогда вспомните еще одну сцену,— продолжал Корани.— Кутузов разглядывает захваченных в плен французов и с изумлением видит распухшие, искаженные лица, гноящиеся раны пленных.

— После сражения под Красной.

— Верно. В своих лекциях я часто зачитываю этот отрывок. Классическое описание авитаминоза. И сделано мастерски. Здесь, полагаю, сказался опыт Крымской кампании. Толстой участвовал в обороне Севастополя, там он мог наблюдать подобное, там мог встретить таких солдат. Позднее его впечатления попали в «Войну и мир». Но в период Крымской войны врачи еще и слыхом не слыхали о витаминах. Не знал о них и Толстой. И тем не менее, не зная первопричины, он с поразительной точностью фиксировал все симптомы авитаминоза. Вот какая должна быть наблюдательность...— Корани помолчал немного,— ...и точно так же следует составлять анамнез. В хорошем анамнезе всегда фиксируется даже неведомая науке болезнь.

Шандор Корани, должно быть, хотел лишь в очень вежливой форме высказать критику в адрес составляемых мною историй болезни, не зная, что дал мне гораздо больше. Он приоткрыл завесу над тайной искусства Толстого и указал на одну из задач, стоящих перед каждым писателем. Нужно быть страстно преданным правде и так глубоко и верно чувствовать суть явления, чтобы правда и тогда оставалась правдой, когда в созданную тобой картину врываются новые, неизвестные тебе черты. Настоящее следует изображать с предвидением будущего. Наш трехмерный мир становится достоверным лишь с учетом четвертого измерения: его устремленности в будущее.

Конечно, этот вывод я мог бы сформулировать и по-другому, поменяв посылки местами. Но главное не в этом. У соли не надо усиливать ее естественный вкус. Соль должна быть просто соленой.

1960

Врача лакей разыскал на улице Ангела. Было полпервого. Врачу предстояло посетить еще двух больных, на этом заканчивался его утренний обход.

— Поскорей, господин доктор! Случилось несчастье!

Когда врач вошел в спальню, приторный аромат цветов и горячий застоявшийся воздух ударили ему в лицо. Там царил полумрак, спущенные жалюзи нестерпимо накалило летнее солнце. Профессор лежал на широкой металлической кровати; он был без сознания, в холодном поту.

— Поглядите, пожалуйста!..

Да, доктор и так видел. Возле кровати стояла тумбочка. На прохладном мраморе бутылка газированной воды, опрокинутый стакан и ворох бумажек от порошков. Просто непостижимо! Не веря своим глазам, доктор смотрел на стакан... Профессор без капли воды проглотил горькие, липкие порошки, двадцать два грамма веронала. Под конец ему, видно, пришлось жевать эту отвратительную кашу, давиться ею; куда легче, наверное, утопиться в Дунае. Почему ж он это сделал?

Лакей поднял жалюзи. Склонившись над обнаженной выпуклой грудью профессора, врач то и дело с изумлением поглядывал на нераспечатанную бутылку с газированной водой. Этот человек дорогой ценой хотел обрести смерть. Хотел, чтобы его мутило, рвало,— чтобы пришлось бороться с нею. Странно, невероятно...

Однако профессор был еще жив. Потом доктор с гордостью вспоминал свои действия. С помощью лакея он вызвал по телефону из Пешта «скорую помощь», приго-

товил шприц. Когда они привезли профессора в больницу, он с удовлетворением доложил пештскому врачу, что ввел кордиамин, камфору и даже кофеин; для предотвращения сосудистого коллапса — стрихнин, для возбуждения дыхательного центра — лобелин. Меры куда как безукоризненные, стоит ли говорить, что профессор умер в машине, которая ехала двадцать минут. В больничную палату с приготовленной кроватью его внесли уже мертвого.

Доктор попросил в больнице дать ему пообедать, затем, уже среди дня, сев в пригородный поезд, поехал домой, в раскинувшийся на холме сербский придунайский городишко. Он лишь на минутку заглянул домой, сказал несколько слов жене, и тут же отправился на виллу профессора. Сейчас он стоял там перед воротами — высокая каменная ограда обрывалась, на двух толстых колоннах из песчаника держались створки кованых железных ворот. Он вошел в сад, напоминавший монастырский — мрачный, заросший буйной зеленью,— и вдруг ему стало жутко.

Не прошло и трех часов, как он считал пульс у профессора, выслушивал его сердце, вонзал в тело иглу. Потом покойника накрыли белой простыней, быть может, он лежит уже на мраморном столе в зале судебно-медицинской экспертизы; но только здесь, сейчас, доктор отчетливо увидел перед собой этого высокого, худощавого и очень надменного человека. Должно быть, ему припомнилось одно давнее утро — он учился в то время на первом курсе медицинского факультета; в серый подковообразный зал набилось по меньшей мере сотни полторы студентов, он сидел на одной из первых, возвышающихся амфитеатром скамей. И тут вошел этот чопорный худощавый господин, без возраста, с угрюмо сверкающими карими глазами; он носил тогда небольшую бородку; в темно-сером, застегнутом на все пуговицы, наутюженном костюме предстал он перед студентами, за ним выстроилась его свита в белых халатах; профессор окинул взглядом бесконечные ряды скамей,— строгим, испытующим взглядом, затем заговорил. Он, будущий врач, слушал тогда первую университетскую лекцию. Высокий худощавый господин говорил о виде и особи, о двояком назначении всех живых организмов: сохранить себя и свой вид.

Доктор был человек неглупый, и то утро, словно заноза, засело в его памяти. Прошло, верно, двенадцать, а то и все пятнадцать лет, но сейчас, стоя здесь, в саду про-

фессора, на посыпанной гравием дорожке, он видел покойного и слышал его голос. Голос, в то утро читавший им лекцию. Итак, речь шла о передаваемом из поколения в поколение назначении особи и вида. И на студентов изливалось тепло — тогда они не знали еще свойств хрипловатого, глухого голоса профессора,— скрытый в нем огонь как бы обжигал их. Большинство с трепетом слушало чопорного господина, говорившего о том, как особь беспощадно, почти подсознательно всячески отстаивает себя и все же немилосердно гибнет. Немилосердно гибнет... даже не слова жили в нем, а скорей обаяние и трепет того голоса. Немилосердно гибнущее тело станет предметом их изучения. Курс лекций — анатомия человека.

После лекции профессор удалился в свой кабинет. Он, студент, пришел тогда к нему и почтительно попросил зачислить его в демонстрационную группу. Профессор каждый год отбирал на первом курсе семь человек, которые со временем становились его ассистентами. Чопорный господин посмотрел на него, пронзил взглядом и лаконично ответил: все семь вакансий уже заполнены, и просьбу он выполнить не может. Униженный, сгорая от стыда, вышел он в коридор. Рана эта так и не зажила в нем. До сих пор вспоминает он ту сцену, словно пощечину.

Но потом последовало быстрое размножение покрывающих все жировых клеток. Переживания, страхи костенели, жизненно важные органы становились индифферентными, молодые мышцы — дряблыми и мягкими... На экзамене он еще побаивался профессора; получая звание врача, не вспоминал о нем, и, когда несколько лет назад тот поселился здесь с молодой женой, он чуть ли не забыл, что когда-то учился у него.

Доктор прошел мимо беседки. В этой беседке он пережил еще одно унижение. Однажды профессор пригласил его к себе; тогда жены его уже не было в живых. Счастливый и возбужденный, примчался доктор на виллу, но допущен был только сюда. Лакей вежливо и предупредительно провел его в беседку. Вскоре появился профессор, остановился перед ним, опершись руками о стол.

— Достаньте книжечку рецептурных бланков, коллега.— В голосе его звучало приказание, не просьба.

Он велел выписать сложное, сильно действующее снотворное.

— Благодарю вас,— сказал он, когда дело было сделано.

Разумеется, профессор его не узнал. Не спросил, не у него ли он учился. Был вежлив и сдержан. Даже проводил его немного по дорожке, посыпанной желтым гравием.

Разъяснение доктор получил от лакея, запиравшего за ним ворота.

— Скажите, пожалуйста, это не опасно? Колючка от розы впилась его превосходительству в ладонь, и рука сильно распухла...

Так вот зачем его пригласили! Вместо писаря! Несколько строк велели написать. Он снова почувствовал негодование. Надо бы вернуться и попросить на чай. Поставить на место это гордое божество.

А теперь профессор умер. Доктор сделал ему последний укол, отвез на машине скорой помощи в Пешт. И что сейчас чувствует он, скромный провинциальный врач? Честно говоря, ничего, кроме мучительного, нестерпимого любопытства.

Сколько самых невероятных сплетен, подозрительных слухов распространялось о профессоре! Все это были одни лишь измышления. Пять лет назад он с женой переехал сюда, в придунайский городок. Многие утверждали, она ему и не жена вовсе. Но доктор знал, что это наговор, что они женаты. Даже некоторые подробности их брака были ему известны. Через год после свадьбы жена профессора погибла — во время увеселительной поездки попала в автомобильную катастрофу. С тех пор профессора почти не видели в городке; за четыре года, говорили, он раза два лишь вышел за ворота своей виллы. Что он делал? Как жил? Никто о том не имел ни малейшего понятия, но все рассказывали странные подробности его жизни.

Какова же правда? Доктор подозревал, что никакой тайны у профессора нет. «Однако квартиру я все же осмотрю как следует»,— еще в полдень решил он, оставив на вилле свой чемоданчик.

Он поискал лакея — тот оказался на кухне; вместе с ним там сидела женщина и мальчик.

— Теперь уж, извольте видеть, все равно... Бедный барин, верно, не рассердился бы, узнай он, что мои тут.

Выяснилось, что сам лакей обычно жил на вилле, а для жены его и сынишки профессор снимал квартиру на той же улице через четыре дома. Жена стряпала, но на виллу не допускалась.

В пустом доме чувствовалось отсутствие жизни, запустенье, страшный, невыносимый запах тлена.

— Верьте не верьте, всю ночь у него горел свет...

— Может быть, он писал?

— Не писал он, извольте знать, ничего. Читал. Бывало, уставится в потолок и сидит так с книгой.

— Уж очень любил он,— вмешалась его жена,— бедняжку барыню, свою супругу.

— Иной раз так уставал, что не мог сам в кровать лечь,— снова заговорил лакей.— Приходилось раздевать его. Но свет он тогда не гасил, книгу клал возле себя, на тумбочку. Потом часа через два звонил: «Поправь, милый, подушечку у меня в ногах».

— А как вы думаете, почему он покончил самоубийством? — сухо спросил доктор.

Лакей с женой переглянулись, подумали немного.

— Это ведь не жизнь была, извольте знать.

Они продолжали сидеть на кухне.

— Не выпьете ли, господин доктор, немного кофейку? — встав вдруг, предложила женщина.— И чай есть, еще с утра остался... Для господина профессора приготовили.

Доктор не стал отказываться — пусть подадут. Откинулся на спинку стула, превосходно себя здесь чувствуя.

— Скажите, его никто не посещал?

— Никто.

— А он ходил куда-нибудь?

— Бедный барин ни с кем не разговаривал. И на людей не смотрел.

— Но с вами же говорил... О чем?

— «Не спится мне, Шандор»,— говаривал он. И жаловался на соседского мальчонку, малыша Йошку Копека: больно громко свистел малец. Как-то раз даже послал Йошке два пенгё, чтобы тот перестал свистеть.

— А вчера что было?

— И вчера барину не спалось. В полтретьего позвонил; лежал в постели, но еще читал. Велел мне завтра попозже его разбудить, притомился, мол. Потому я сегодня только в полдень заглянул к нему в комнату, смотрю,— спит еще. Но я все же подошел к кровати. «Проснитесь,—

говорю,— ваше превосходительство!» А он молчит. Тут услыхал я: дышит тяжко. Я ужас как напугался и за вами, господин доктор, побежал. Остальное вы изволите уже знать.

Врач встал, немного смущенный тем, что засиделся на кухне.

— Проведите меня по комнатам, Шандор.

Миновав коридор, они вошли в спальню профессора; эта комната, где стояла металлическая кровать, была уже знакома доктору. Оттуда они перешли в холл.

Против парадной двери у стены доктор увидел гипсовую статую. Бесстыдно обнаженное тело красавицы, лежащей с печально поникшей головой. «А-а, Микеланджело»,— подумал он. Но потом ему пришло в голову другое имя: Донателло. Или, быть может, Бернини? Да ладно, запутался он, неважно кто. Доктор подошел к скульптуре; особенно красивы были бедра, полные, с прекрасно вылепленной мускулатурой. Женщина касалась головы усмехающегося сатира, ее согнутая в колене нога укрывала спящую сову; и сатир, и сова почему-то смутили доктора. Он отошел от скульптуры.

— Как-то спросил я у барина,— заговорил за его спиной лакей.— «Не желаете ли прогуляться?» — «Куда?» — «Да в город».— «Что мне там делать?» Вот как сказал...

Они вошли в кабинет. Вдоль двух стен стояли огромные книжные шкафы. О профессоре говорили: самая светлая голова в университете. Его статьи печатались в иностранных журналах, и преподаватель он был замечательный. Особенно интересовала его гистология, тонкая структура клеток и тайна соединения нервных тканей. Доктор несколько успокоился, когда старые его воспоминания подтвердил микроскоп, стоявший на письменном столе. Он подошел к блестящему латунному прибору, заглянул в него, но увидел только бесформенные пятна,— у микроскопа, верно, не хватало одной или двух линз.

Он призадумался: вот до чего докатился этот человек. Самый главный его инструмент искалечен и слеп. Под микроскопом лежало письмо, он взял его; администрация пригородных железных дорог извещала профессора, что кондуктору, на невежливость которого он пожаловался, вынесли надлежащее порицание, и просят прощения за доставленную неприятность.

Доктор присел к столу. У него, словно от удара по затылку, немного закружилась голова, и на душе стало тяжко. Он посмотрел на дату письма, оно было получено четыре года назад. Да, это конец... Выдающийся человек, блестящий лектор, с приятной хрипотцой в голосе, как раздражительный старый сборщик налогов, вступает в пререканье с кондукторами и пишет на них жалобы. Высокомерного, чопорного господина оскорбил какой-то кондуктор....

Лакея позвала жена, доктор остался один в кабинете; он встал, перешел в другую комнату. И здесь увидел картину. Женщина в красном платье. Картина была большая, очень большая.

Немного отступя, доктор ее рассматривал.

На ней была изображена жена профессора, Като Ульрих... Да, это была она, несомненно она... Девушка поступила в университет, когда он готовился уже стать врачом-практикантом в больнице. Целый рой кружил вокруг нее: юнцы первокурсники, взрослые студенты с четвертого курса, ассистенты; Като и других поклонников приводила на лекции, своих бальных кавалеров, партнеров в теннис. На ней, молоденькой девушке, женился профессор. Она была его студенткой, еще не успела сдать экзамена. И вскоре он вышел в отставку. Да... Он, доктор, даже помнит этих юношей, мужчин, которые тискали, щупали, целовали Като Ульрих. Профессору ничего не оставалось, как поскорей уйти из университета. Что делать, когда встречаешь сопляков, обнимавших твою жену... а он мог встретить их повсюду, и среди своих коллег, и среди студентов.

Никто не знал, любил ли профессор эту белокурую полноватую легкомысленную девушку. Женщину, катавшуюся с чужими мужчинами в автомобиле и погибшую на шоссе. Что же, выходит, она была ферментной, тлетворной клеткой в этой страшной и прекрасной жизни?

Нет, такое объяснение представлялось провинциальному врачу слишком простым, поверхностным. Ему опять пришла на память старая лекция профессора, когда тот говорил о мужчине и женщине. Это была странная лекция, тогда он, студент, не понял ее смысла. Речь шла о биологическом сходстве организмов, и суть заключалась в безоговорочном отрицании этого сходства: у мужчины и женщины нет ничего общего, у них разные легкие, сердце, мозг, костный мозг. Нет, ор-

ганы их вовсе не идентичны. Но вот функции у них тождественны... Врач стоял перед картиной и не улавливал связи между своими мыслями. Однако догадывался: тот, кто установил эту строгую тождественность функций, никогда не верил в подлинную связь, слияние, тем более в родство мужчины и женщины.

Какое же тогда искать объяснение? Нет объяснения. Анатомия — наука, которая лишь описывает и называет, но то, к чему она прикасается, коченеет, становится мертвой материей. Доктор еще раз посмотрел на портрет женщины в красном платье и только теперь заметил что-то в нижнем левом углу. От этого открытия его захлестнула теплая волна жалости. На картине стояла подпись профессора, значит, он сам ее написал. Картина и напоминала анатомическую таблицу, таблицу, иллюстрировавшую его книги, анатомическую схему, каких немало начертил этот человек за свою жизнь. Холодная, точная, мертвая схема. С твердой линией и жестким цветом.

Картина, слепая, застывшая, висела на стене. Как от камня, от нее веяло неизбывным холодом.

Среди какого нелепого хлама мы живем, подумал доктор. В безнадежном оцепенении, среди воспоминаний о старых ранах. Или все приходит в такое запустение, только когда господин и повелитель уже холодный труп?

Тут он услышал голос лакея в холле, тот пришел с каким-то незнакомым молодым человеком. Незнакомец оказался журналистом. Он приехал из Пешта.

— Вы были его домашним врачом? — поспешно достав карандаш, деловито спросил он.

— Да,— после некоторого колебания сказал провинциальный врач.— Он страдал бессонницей, я неоднократно назначал ему разные снотворные.

Журналист старательно все записывал.

1942

Предатель

Молодая девушка вот уже две недели была возлюбленной хирурга. Они вместе вошли в ресторан, окинули взглядом зал. А перед тем слушали в опере «Похищение из сераля».

Мужчина был счастлив и горд. Он еще слышал музыку: страсть звучала в ней, утоление страсти. «Похищение из сераля»,— говорил он по дороге в ресторан,— стоит слушать даже ради одного лишь дуэта — клятвы молодых: в волшебную сказку врываются темные силы.

Все столики в ресторане были заняты. Посетители оглядывались на них. И хирург посмотрел на девушку, чье юное тело благоухало музыкой.

— Ты красивая,— сказал он.

И почувствовал чисто мужскую гордость. Словно он сотворил эту женщину; два часа купал ее в музыке, а теперь окунает в яркий свет, вожделенные взгляды мужчин.

Тут к нему обратилась чья-то желтая физиономия.

Физиономия усмехалась. Наглая, вытянутая мужская физиономия. Летом, верно, она была смуглая, потом загар немного сошел. «От алкоголя тоже может быть такая желтизна»,— подумал хирург. Ночные кутежи и избыток алкоголя. Необыкновенно наглые глаза. Любопытные, хитрые, выслеживающие, ощупывающие женщин. Но и лицемерие таилось в этом взгляде, услужливость праздного лакея, готового выдать тайны своего барина. Округло выдавался полный, чуть отечный подбородок. Нос тоже казался нахальным — курносый, он словно бы вонзался в мир. «Если есть у него младшая сестра,— подумал хирург,— не исключено, что у нее довольно пикантное личико».

Но желтая физиономия, упорный взгляд задели его.

Хирург узнал этого человека.

Оголенный лоб, темные прилизанные волосы. Кожа жирная, сальная, словно для того, чтобы казаться мягкой и упругой. Широкими хитрыми скулами физиономия эта как бы втиралась в мир.

Обладатель желтой физиономии в одиночестве сидел за столиком у стены. Люди вокруг ужинали, а он, как видно, поджидал кого-то, пил виски.

Это был он, подлец Балаж Шолтес, его одноклассник.

Горячая, обжигающая волна накатилась на хирурга...

Он приехал когда-то в чужой город и, новичок в школе, словно попал во враждебный стан. Все было чужое, и все были ему враги. Два месяца жил он среди них, но как трудно было завоевать сердца пятнадцатилетних подростков! Он из кожи вон лез, подсказывал, помогал. Даже деньгами кое-кого выручал. Мальчики наконец посвятили его в свои сокровенные тайны — и тут...

Он чувствовал: еще немного, и он, быть может, заговорит с ними, как равный с равными. И тут вспомнился ему один забористый мужской анекдот, альфельдская шутка, услышанная в то лето от гостивших у дядюшки охотников. Ему вовсе не нравился этот сальный анекдот, наглый, как обнаженное продажное женское тело. Но теперь он рассказал его мальчикам,— в надежде, что это откроет перед ним последние затворы.

Анекдот имел большой успех, слышал его и Балаж Шолтес. Балаж был вожак в классе, и прилежный ученик, и атаман шайки. Он и зубрил, и драл нос. Балаж очень боялся своего отца, офицера. У матери его было много поклонников.

— Запиши,— сказал ему тогда Балаж.

— Что?

— Да то, что ты рассказал.

— Зачем тебе это? — очень удивился он.

— Хочу выучить.

Он недолюбливал Балажа, но успех вскружил ему голову. Мальчишки, привирая, пересказывали друг дружке шепотом этот анекдот. Он записал его для Балажа.

На другой день классный наставник вызвал его к кафедре.

— Узнаешь? — И протянул ему листок бумаги.

Класс застыл в мертвом молчании. Это был листок, на котором он записал анекдот. Его сразу прошибло холодным потом.

— Ты писал? — Словно моля о помощи, он смотрел по сторонам.— Ты писал? — закричал на него учитель.

— Я,— внутренне терзаясь, кивнул он.

Последовал нелепый, позорный, страшный скандал; по сути дела, его исключили из школы. За ним пришел отец, которому все стало известно. Его, новичка, наказали с удвоенной строгостью. Потом, однако, смягчили приговор: разрешили в другой школе экстерном продолжить ученье.

Доносчиком оказался Балаж. Зачем-то ему понадобилось отдать классному наставнику тот листок.

Полтора года его неотступно преследовала мысль об этой истории, хотелось, раздобыв револьвер, покончить с собой. Отношения с отцом разладились, испортились. Он не мог больше говорить с ним откровенно, с открытой душой. Потом его увезли из этого города, чтобы он, чего доброго, не залепил по ненавистной роже.

И вот теперь здесь желтая физиономия мелькала перед ним, как воздушный шар на ниточке.

Балаж окинул его внимательным взглядом. И не узнал.

К хирургу и его даме подошел старший официант.

— Угодно вам занять хороший столик? Этот господин готов уступить вам.— Указав на Балажа, он прибавил вполголоса: — За плату, разумеется.

И назвал довольно большую сумму.

Тихонько напевающая, радостно возбужденная девушка слышала его слова.

— Кто этот господин?

— Да вот промышляет таким образом,— равнодушно пожал плечами официант.— Приходит загодя, занимает столик, потом уступает его за деньги.

Хирург вынул бумажник, дал официанту несколько ассигнаций.

— Заплатите ему.

Они видели, как тотчас поднялся с места, исчез мужчина с желтой физиономией и налитыми кровью глазами. К столику подбежал официант, унес стакан из-под виски. Молодая, недавно целованная девушка, ни о чем не подозревая, села на освободившееся место. Мужчина, чуть помедлив, последовал ее примеру. Музыка Моцарта, блестящая игра, мечтательная улыбка — все это отлетело куда-то. Осталась горечь.

1942

Два портрета

Криштоф — молодой человек двадцати трех лет. Но он неловок и костляв, уныл и раздражителен, словно горько обиженный мальчишка. Все у него велико. И лоб, и глаза, и щитовидка. Даже суставы все раза в два больше, чем полагается. Вот уже десять лет он учится играть на рояле. Примерно столько же времени я знаком с его семьей — отцом, матерью и сестренкой,— так что на первое публичное выступление Криштофа не пойти я не мог.

И вот я сижу в малом концертном зале, в третьем ряду и, конечно, с левой стороны, чтобы видеть, как летают его пальцы по клавишам. Он исполнит только одну вещь: выступит между двумя скрипичными квартетами с партитой De-dur Баха, состоящей из семи танцев.

Вот уже аплодируют квартету, скрипачи раскланиваются, удаляются, снова раздаются аплодисменты, и исполнители опять появляются на эстраде. Наконец они уступают место следующему номеру программы. Сперва с грохотом выкатывают на авансцену рояль, и лишь тогда появляется сам Криштоф.

Он выходит с Агнеш, своей юной сестренкой. В руках у Агнеш нотная тетрадь: в последний момент Криштоф побоялся играть по памяти. Так Агнеш оказалась на сцене — она будет перелистывать ноты.

Бледный, с застывшим взглядом, Криштоф садится за рояль, девушка устраивается сбоку, чуть позади брата. Руки пианиста висят уныло, как плети. В задних рядах уже покашливают, но его руки все еще висят неподвижно. Наконец он начинает играть.

И сразу странно преображается.

Грудь его словно сдавило, невидимые тиски сжимают ее злобно, с ужасающей силой. Он не в состоянии вздохнуть, правое плечо болезненно приподнимается. Дойдя до куранты, он принимает совсем иной вид. Он страдает, он в полном отчаянии, словно сидит на пятисантиметровом гвозде. Мы все видим: еще минута, и он в обморочном состоянии свалится со стула. Между тем он добрался до жиги, с ее изящным, головокружительным, капризным ритмом. Но мелодии он не слышит, не испытывает ни малейшей радости от исполнения жиги Баха.

Он играет очертя голову. О, этот Иоганн Себастьян Бах — Бах Криштофа,— и потому не может подарить радость. Это лишь строгий, грозный учитель, что стоит за спиной ученика. Он стоит, слушает, высоко вскинув палочку, и, если ученик ошибается, палочка непременно стукнет его по пальцам.

Я больше не могу слушать Криштофа и внимание свое переношу на его сестру. Агнеш — черноволосая восемнадцатилетняя девушка, интересная, но некрасивая. Затуманенными любовью глазами смотрит она на брата, ее лицо потемнело от волнения.

Поначалу она очень испугалась. Видно было, что ей хотелось ободрить брата, заставить его перебороть себя, прогнать страх. Но, почувствовав и на себе взгляды слушателей, Агнеш какое-то время сосредоточилась на собственных ощущениях. Под звуки сарабанды она уже чуть заметно покачивалась на стуле, как бы беспечно отдаваясь мелодии. Но вот пришла пора перевернуть страницу, и сразу беспечности ее как не бывало. Взгляд словно окаменел, вся фигурка решительно подалась вперед — девушка теперь напоминает спортсменку, замершую на вышке перед прыжком.

Вдруг она, как лунатик, подымается, протягивает руку — страница перевернута.

Но тут же страх охватывает ее с новой силой: не перевернула ли она две страницы сразу?! Через плечо брата девушка наклоняется к нотам, близоруко вглядывается: все ли правильно? Все правильно. Агнеш успокаивается.

И вот она уже опять, забыв смертельный свой ужас, кокетливо покачивает головкой, всем телом в такт музыке. У нее — полторы минуты, а там опять придется переворачивать страницу.

Агнеш становится все прелестнее, она поистине очаровательна. Я оглядываюсь вокруг. Она определенно имеет

успех. Все сидящие рядом со мной, впереди — все смотрят на нее.

В антракте иду в артистическую. Там — знакомые, родственники. Бездушные фальшивые похвалы. Криштоф никому не отвечает. Уныло повесил голову, ни на кого не смотрит. Агнеш и теперь стоит с ним рядом, словно все еще нужно перелистывать ноты. Она ласково его подталкивает.

— Ну что ты молчишь, как рыба. Вон какая голова большая, а молчишь! — Но и это она произносит с бесконечной любовью.

Все занимательнее становится для меня эта Агнеш. Я отвожу ее в сторону, и мы договариваемся встретиться завтра в кафе.

На следующий день Агнеш является точно вовремя, садится к моему столику и тотчас начинает:

— Человек формируется не сразу, и вы это, конечно, знаете! — Она смотрит сурово мне в глаза.— А если знаете, то не должны говорить ничего дурного о Криштофе.

— Я и не собирался,— успокаиваю я ее.

— Вот и отлично.— Только теперь она села поудобнее.— Тогда закажите и мне что-нибудь. Вы что пьете? Апельсиновый сок? Идет. Пусть и мне его принесут.

Приходится немного сбить с нее спесь.

— Скажите, Агнеш, вы это вычитали из Ясперса? [1]

— Что? — спрашивает она уже несколько неуверенно.

— А вот, что человек формируется не сразу.— Из ее туманного ответа понимаю, что с философией экзистенциализма она еще не знакома, а имя Ясперса только слышала от кого-то.

— Теперь-то я поближе познакомлюсь с этим стариком по истории философии,— добавляет она.

Агнеш ведь студентка, изучает и философию.

Между прочим, явилась она в кафе в белом платье из тонкой, легко мнущейся ткани.

— Наденешь, и сразу как тряпка,— пренебрежительно говорит она, тотчас уловив мой взгляд.

Я не скрываю своего намерения зарисовать ее. Она кивает в знак согласия. Можно.

Но мы все еще говорим о ее платье. Собственно, оно скорее серо-белое и какое-то грустное от частой чистки,

---

[1] К. Ясперс — немецкий философ-экзистенциалист.

оно уже никогда не отмоется по-настоящему и останется белым лишь в воспоминании.

Агнеш живо вскидывает головку. Оживление она как бы включает в себе, словно мотор.

— У меня никогда не было приличного платья. Всегда только дареное, перешитое, с чужого плеча. В сущности, мне следовало бы вечно испытывать неловкость. И выдержала я только потому, что сказала себе: раз так, значит, я сама должна стать интересной,— и научилась держаться.

Но эта наука дается Агнеш не без усилий — примерно столько же усилий требовалось в старые времена, чтобы завести рукояткой автомобиль.

Обо всем на свете она отзывается высокомерно и безапелляционно.

— Дюрренматт? А, старье, барахло... Так писал еще Толстой.

А немного погодя:

— Дебюсси? Гершвин? Да бросьте вы! Это же напудренные любимцы моей бабушки.

Сердиться на нее невозможно. Милая чистая улыбка сопровождает самые пустые ее словечки. Вот она сидит на стуле в этом хорошо натопленном кафе, в утреннем журчанье голосов, и со странным постоянством привычно поглаживает ногу от колена до щиколотки, от щиколотки до колена.

— Это потому,— сразу объясняет она, опять поймав мой взгляд,— что летом мы дальше Дуная не выезжаем,— не на что,— а комары там так кусают, что ноги чешутся даже зимой.

Так выяснилось, как проводит она лето.

— А что вы делаете осенью, зимой, весной?

— Гуляю много, страшно много гуляю. И в дождь, и в снег, и когда ветрено, днем, вечером, в любую свободную минуту. Когда могу — гуляю часами. Это мне милее всего. Почему? Потому что это дешево. Откуда мне знать, есть ли у мальчика деньги, а если есть, то сколько. Ну как я скажу ему: «Зайдем в кафе, посидим». Это ведь только он может предложить мне. Да если и зайдем куда-нибудь, когда закоченеем совсем, продрогнем до костей,— ведь порядочная девушка и тогда первым делом соображает: «А что тут самое дешевое? Чашечка кофе? Или сказать, что кофе не пью, попросить стакан содовой воды?»

— Но есть же и что-то другое? — спрашиваю.

— Да, конечно,— отвечает она тотчас,— в кино пойти, потанцевать тоже хорошо. Конечно, стипендии на это не хватит. Но каждый ведь и подрабатывает время от времени.

Наконец Агнеш спохватывается, замечает и сама, что ее исповедь и вся эта «история с прогулками» выглядит какой-то жалкой, тягучей, подозрительно бесформенной жвачкой, и она резко меняет тон.

— Однако вы не вздумайте меня жалеть. Я вовсе не простушка какая-нибудь безответная. Если мне парень понравится, я отобью его без всякой жалости у лучшей своей подруги.

Это «отобью» произносится так решительно и с таким жаром, но при этом так мило, что поверить ей можно разве лишь наполовину.

— Хотите кофе? — спрашиваю я, когда сок выпит.

— Если можно, почему нет?

Вот уже несут кофе. Агнеш быстро размешивает сахар. От неловкого движения кофе выплескивается на платье и жадно растекается светло-коричневым пятном.

Агнеш едва удостаивает его взглядом.

— Ничего. Переживу. Я сама должна быть интереснее этого пятна!

На этом мы, собственно говоря, и закончили.

Это последнее восклицание прозвучало прелестно: «Я сама должна быть интереснее...» — однако ж где-то глубоко во мне оно растворилось печалью и состраданием. Что-то я понял, что-то услышал в Агнеш. Понял, что эта заносчивая девчушка представляет себе жизнь словно бы вознесенной на котурны. Не только праздники, но и будни расположены в ее глазах много выше разумного, естественного уровня повседневной жизни, и потому она все время карабкается вверх, вверх, и хоть не так уже высока ее высота, но все десять ее ноготков кровоточат от усилий. И тщетно старается она «быть интересной» и напрасно так мила и забавна — все равно иной раз вся она содрогается от страха и вскрикивает громко, словно во сне.

О, они истинные брат и сестра — Криштоф и Агнеш.

Потому что Агнеш в жизни живет так, как Криштоф играет на рояле.

И одно плечо у нее всегда приподнято от постоянного напряжения.

1965

Испытание

Утром перед экскурсией в Дёмёш учитель на мгновение заколебался: какие туфли положить в рюкзак — теннисные, на резиновой подошве, или горные, на веревочной? Он включил радио. «Переменная облачность, местами кратковременные дожди»,— сообщил диктор. Учитель решил взять туфли на веревочной подошве. Резина скользит на мокрых скалах, а веревка — нет, особенно, когда набухнет.

Их было сорок шесть, собственно, два класса — его и Секереша, поэтому заказали специальный автобус. Уже у Бекашмедера ребята шумно заспорили:

— У карабина, говоришь, яйцевидная форма? Голова у тебя яйцевидная, вот что!

Кто-то с чувством превосходства объяснял:

— Куда ставишь ногу, называется тритт, а за что цепляешься — гриф.

Раздался ломающий голос Греци:

— А знаешь, что такое три точки фикс?

— Ну что?

— Страховка. Словом, понимай так: у скалолаза из двух рук и двух ног три всегда на опоре и только четвертая нащупывает место.

Ребята загоготали.

— Слыхали? Третья нога у Греци на точке опоры, а четвертая место нащупывает.

Они собирались в долину Кешерюш, а оттуда на вершину Предикалосека; там предполагали отдохнуть, а затем спуститься со скалистого острого хребта к маленькой часовне у источника Каинз.

Учитель был в скверном настроении. Вчера он узнал свою новую кличку, уже третью по счету. Первую он получил совсем молодым, Берталан. И долго не понимал — его зовут Ласло Бибо, откуда же взялся этот Берталан? Потом какой-то ябеда шепнул ему: Берталан — кличка осла. В классе учился мальчишка из Кишкунхалаша, он и прилепил ему Берталана.

В Куншаге большинство ослов настораживает уши при имени Берталан.

Это была грубая, но все же незлая шутка. Кличка вскоре стала отставать и года через два совсем забылась. Второе прозвище держалось дольше. Много лет его дразнили Выжималой. Эта кличка имела уже вполне определенный смысл: выжимала терзает, выжимает пот, портит жизнь бедным ученикам. Еще в позапрошлом году во время урока он перехватил записку: «Выжимала сегодня то и дело протирает очки. Берегитесь, будет спрашивать!»

А теперь вот третья: Мушмула. Ее он тоже узнал из конфискованной записки. Что это может означать, как раскрыть секрет? Впрочем, стоит ли его раскрывать?

Он сидел в автобусе и протирал очки. Выходит, его все-таки не любят? Настолько он строг с ними, что они готовы восстать? Учитель и сам знал, что строг. Хотя вовсе не желал этого. Требуя порядка во всем, разумности, четкости, он питал отвращение к людям бессердечным и ненавидел строгость — в любых ее проявлениях.

Почему его обижают? Три года назад пришлось даже прервать эксперименты... Он был преподавателем математики. И его очень интересовало: почему, дойдя до алгебры, четырнадцатилетние подростки пасуют перед буквенными символами? Почему не могут сразу решать с помощью букв то, что играючи делают с цифрами? Он придумал серию примеров и вопросов, стенографировал ответы, чтобы проследить колебание мысли, головокружение, обрыв.

Он записывал, чуть ли не протоколировал ответы, которые начинались то смело, то неуверенно, но всегда в конце концов прерывались, и результаты его экспериментов были точны, как рентгеновские снимки. Стоило лишь взглянуть на них, и тотчас бросался в глаза больной очаг.

А потом заметил: ребята страдают от этого просвечивания, теряются, сильный свет парализует их. Его страсть

испытателя действует на них как ожог. И, почти доведя до обобщения волнующие его эксперименты, он бросил их... Потому что понял — нельзя вторгаться в живой организм ножом прозектора. Это жестоко. В то время его и прозвали Выжималой. Он отступил, словно поранившись. И долго потом отгонял искушения. Пока на прошлой неделе... И снова слишком поздно осознал свой поступок.

На прошлой неделе он решил вдруг подвергнуть испытанию честность своего класса, второго «А».

Автобус оставили в Дёмёше.

Они шли долиной Кешерюш по проезжей дороге с синими туристскими знаками, ведущей через мрачный вырубленный лес.

Дорога поднималась довольно круто, но у Кунзе легкие без усилий справлялись с подъемом, он даже тут орал:

— Теперь ты можешь высоко держать сахар!.. Слышишь, Рашони?.. Теперь можешь высоко держать сахар!..

Что означает эта дурацкая фраза? И зачем ее надо выкрикивать дважды? К счастью, они дошли до разветвления дороги: отсюда, прямо к вершине Предикалосека вела скверная, каменистая тропинка, и Кунзе отправился с теми, кто предпочел проезжей дороге эту трудную тропку. Его голос слышался теперь издалека:

— Ты спешишь? Спешишь?

Конечно, он повторил это дважды.

Удаляющуюся группу вел его коллега Секереш, преподаватель венгерского языка.

Некоторое время они еще шли по долине, затем у охотничьего домика свернули на охотничью тропинку. Серпантинная лента тропы, еще один поворот — и вот перед ними плоский гребень Кешерюшского хребта. Здесь он остановил мальчиков.

— Посмотрите вокруг, ребята!.. Это даст некоторое представление о том, какая панорама откроется нам с Предикалосека.

Кто-то из мальчишек защелкал языком от восхищения. Это раздосадовало учителя, и он тотчас же двинулся дальше. Щелканье стихло, ребята заметили, что он сердится. Он спешил вперед, мальчики молча следовали за ним. Придерживаясь синих указателей, они за полчаса добрались до вершины Предикалосека. Группа Секереша при-

шла туда значительно раньше и теперь приветствовала их криками; отдельные голоса тут же слились в общий хор. Греци трубил в детский рожок.

Они глянули вниз — перед ними раскрылось утопающее в солнечном свете Дунайское ущелье.

— Драматическая красота! — сказал учитель.

Почти никто не обратил внимания на его слова, только Блашкович повторил:

— Драматическая красота...

Это расстроило учителя.

Они стояли над светящейся рекой, под ними простиралась глубокая, прохладная зелень долины Агаш.

Секереш едва успевал отвечать на вопросы.

— Господин учитель, что это?

— Вершина Надь Галла.

— А тот тройной конус?

— Гора Шош.

— А вон там, совсем позади?

— Надь Иноц... Чованё... гора Хидег...

Учитель отошел в сторонку. Мальчики кричат, они так счастливы сейчас, свечение реки словно отражается в их глазах, и подумать только — все они, все до единого, провалились на испытании честности! Он бросил сигарету, она показалась ему горькой.

Ох это испытание... Простое до жестокости.

Он начал урок с раздачи размноженных на гектографе листов бумаги с табличкой. На каждом листке был один и тот же цифровой квадрат: в семи рядах по семь чисел, от единицы до сорока девяти, но разбросанных в беспорядке.

— Задание такое,— объяснил он,— найдите в квадрате единицу, затем двойку, тройку и так до сорока девяти, и каждую цифру зачеркивайте, но строго по порядку. Посмотрим, кто окажется первым, кто вторым, десятым, а кто последним.

— А для чего это, господин учитель? — спросил Ленард.

Это не было нахальством, просто мальчика одолевало любопытство.

— Опять любопытствуешь? — обратился к нему учитель. — Хорошо, я скажу... Так вот, я узнаю о многом. О вашей способности ориентироваться, о быстроте

реакции, о чувстве математической уверенности. И так далее...

Он лгал. Он хотел узнать совсем другое.

— Словом, все поняли? — От собственной лжи у него заперщило в горле, он откашлялся.— Кто кончит, пусть встанет и скажет: «Я готов!»

Он оглянулся. На него смотрели ничего не подозревающие глаза.

— Итак, приступим... Начали!

Он встал к доске, спиной к ребятам, глянул на ручные часы и, взяв в руки мел, принялся ждать.

Первое «готов» прозвучало через четыре минуты. Это был Кунзе, ловкий, сообразительный Кунзе. Учитель быстро написал на доске его имя. И вслед посыпалось множество «готов». Последним оказался Блашкович. Все смеялись, что отстал хороший ученик. Учитель тоже смеялся. Он не любил Блашковича. Этот мальчик был прилежный, надежный, но бесцветный, как вода.

— Ребята, внимание! — Учитель прервал галдеж.— Прослушайте вторую часть задания. Более трудную... Вот вам по десять цифр в десяти рядах, всего сто. Они тоже разбросаны. Задача точно такая же... Вычеркивать цифры по одной от единицы до сотни. Кто будет готов, скажет.

Он раздал квадраты и добавил:

— Первый тур был тренировочный, а сейчас начнется настоящее испытание, экзамен, интересно, как вы его сдадите. Будьте внимательны, я многое узна́ю о вас...

Он снова повернулся к ним спиной, но теперь стал у окна. Яростно светило апрельское солнце, в стекле отражались бледные контуры мальчишеских голов. Словно недодержанная фотопленка. И все же он хорошо различал быстро двигающиеся карандаши... Видел, как более осторожные иногда поднимают глаза и тут же успокаиваются: Мушмула все еще стоит к ним спиной... Ему казалось, он слышит, как они спотыкаются, прибавляют темп, начинают нервничать — карандаши лихорадочно бегают по бумаге... Лгут.

Первым закричал Греци:

— Готов!

Учитель взглянул на часы — за пять минут Греци покончил с квадратом из ста цифр. Он подошел к парте мальчика; все сто цифр были зачеркнуты.

Еще трое заявили: «Готов!»

Тогда он раздраженно приказал:

— Всем прекратить! — И повысил голос: — Ты не понял меня, Рашони? Положи карандаш! Всем оставить работу!

Кое-кто продолжал еще чиркать.

Учитель быстро собрал листы бумаги и, словно они были заразными, с неприятным тошнотворным чувством проглядел их.

Сжульничали все, кто нагло, кто осторожно, кто с отчаяния. Наглецы, они даже не пытались отыскать нужные цифры, просто зачеркивали все подряд. Честно выполнить задание можно было только за двенадцать минут, а Греци вскочил уже на пятой. Конечно, учитель намеренно повернулся к классу спиной... Закончили все, но кое-кто из осторожности молчал, почуяв, что надо немного повременить. Были и такие, кто начал по-честному, но заколебался, увидев, как быстро идет дело у остальных. Они добрались до двадцати пяти или тридцати, но после возгласа Греци заспешили, цифру восемьдесят девять уже вычеркнули, а восемьдесят еще не успели.

Все это он мгновенно понял, посмотрев листы. В голове мелькнуло: Мушмула. Его прозвали Мушмулой. Он повернулся лицом к классу. И пепельно-серый, с бьющимся сердцем, произнес:

— Вы нечестны!

С вершины синие знаки вели вниз по краю кустарника. Группа осторожно спускалась по крутой извилистой тропинке. Здесь их ждали новые сюрпризы: пики, скалистые массивы, обломки скал, прямо перед глазами вздымалась гора Добогокё, под ними открывался вид на долину Шимон. Но, только оказавшись у края обрыва Рам, ребята, с дрожью поглядывая вниз с высоты, окончательно угомонились.

Когда вся группа спустилась в долину к источнику Сёке, большинство ребят, порядком утомившись, решило отправиться в Дёмёш по проезжей дороге. Лишь восемь мальчиков последовали за учителем, обещавшим показать им обрыв Рам. Минут через десять, оставив слева часовню, они достигли моста, откуда начиналось опасное ущелье.

— До конца не пойдем, ребята! Только заглянем — и обратно.

Пропасть сужалась так, что идти можно было только по руслу ручья, прыгая с уступа на уступ. Затем они начали медленно взбираться между маленьких водопадиков. Ленард забрался было на боковую скалу, но осыпавшиеся у него из-под ног камни в одно мгновение заставили его вернуться к остальным. Так они дошли до Саразага.

— Ну хватит, ребята! Теперь вернемся.

— Только до водопада! — хором умоляли мальчишки.

Даже Блашкович казался заинтересованным.

— Мы поднимемся по лестнице и сразу вернемся, господин учитель.

Он устал и потому отпустил их одних. Но тотчас начал тревожиться и, чтобы не терять из виду маленькую группу, вскарабкался на выступ скалы.

Греци услышал звук падения.

— Не Мушмула ли?

Учитель свалился с высокой скалы.

Чтобы лучше видеть мальчиков, он вынул более сильные очки, но уронил их и, потянувшись за ними, поскользнулся. Ребята увидели, как он попытался было подняться, но покачнулся, весь дрожа, и снова рухнул у подножия скалы.

Они сбежали вниз по лестнице. Первым до учителя добрался Кунзе. Склонившись над ним, он заплакал. Лицо учителя было разбито, со лба и из носа сочилась кровь. Но Кунзе испугался не этого. Прислонившись к скале головой, учитель лежал с открытыми глазами, пристально уставившись в пустоту.

— Я ослеп? — тихо, торопливо спросил учитель.

Остальные ребята уже стояли рядом.

— Перед глазами чернота... Я ослеп?

— Господин учитель,— плакал Кунзе.

— Это ты? — тихо, очень тихо спросил учитель.

И потерял сознание. Мокрым носовым платком ему вытерли лоб и подбородок. Расстегнули рубашку — Греци робко положил руку на сердце учителя.

— Бьется? — спросил кто-то.

— Не пойму,— обливаясь потом, ответил бледный Греци.

Грудь учителя тоже была разбита. Они стояли, освещенные лучами послеобеденного солнца, и, запинаясь, робко совещались.

— Надо позвать на помощь!

— Лучше положим его на носилки и отнесем в Дёмёш,— предложил Блашкович.

— На носилки? Какие носилки?

— Ручей несет много деревьев, веток... На них и положим.

— Холодно,— тихо произнес учитель.

Они испуганно взглянули на него. Учитель уже несколько минут смотрел на них. Он дрожал.

— Мы положим вас на носилки, господин учитель... Вы разрешите?

— Холодно...— повторил учитель.

Четверть часа спустя, неловко покачиваясь, они приволокли носилки, смастерив их из нанесенных ручьем веток. Учителя осторожно уложили, укрыли свитерами, двое ребят сняли даже куртки.

— Остановитесь! — услышали они, уже подходя ко рву Лукача.

Побелевший учитель лежал под свитерами, и его желтоватая сухая белизна была пугающей, не то, что белизна снега или бумаги.

— Опустите меня...

Ребята опустили носилки.

Он беспокойно повернулся на бок, хотел приподняться, но в следующее мгновение со стоном упал навзничь. Лишь сейчас ребята заметили, что он дышит с трудом, задыхается.

— Господин учитель, вам больно? — наклонился к нему Рашони.

— Поторопитесь! — коротко и враждебно сказал учитель. В глазах его был ужас, руки похолодели.

Минуты две они бережно несли носилки, а потом снова услышали его голос:

— Опустите меня... больно... голова кружится...

Учитель отер рот — на руке осталась кровавая слюна.

Он закашлялся: на губах появилась кровавая пена.

— Легкие...— произнес он и мучительно улыбнулся.— Мне кажется... внутреннее кровоизлияние...— выговорил он.

Придя в себя после короткого обморока, он тотчас заметил: возле него стоят только пятеро ребят. Пятеро из

восьми. Значит, трое снова провалились... Не выдержали испытания, бросили его, убежали. Испытание честности... Он улыбнулся криво, мучительно. Кто провалился на новом экзамене? Но он видел лишь пустые лица... словно смотрел на них сквозь грязное, очень грязное оконное стекло... Он никого не узнавал... Вступительный экзамен... Трое отсеялись, пятеро прошли дальше... А что будет через три минуты... Через десять?..

Нет, нет!

Нельзя заманивать в ловушку юные души... Нельзя делать рентгеновские снимки душ, будто это больные легкие или коварная опухоль. Он ошибался!.. Человек есть человек, и мальчишка — это сложный организм, а не отдельно взятый человеческий орган... Он желал им добра, хотел помочь, но при этом испытывал и любопытство... а любопытство — это всегда вызов судьбе... Нет, он не хочет их больше испытывать!

Учитель поманил кого-то с расплывшимся лицом. И успел узнать — над ним склонился Блашкович.

— Спускайтесь в Дёмёш...— голос учителя был едва слышен, он тяжело дышал...— Спускайтесь... все... все идите.

Словно он сам посылал их за помощью, всех пятерых... Тогда никому не придется бежать... Он останется один... и это очень хорошо... Это самое лучшее!

— Господин учитель, пожалуйста, не отсылайте нас.

Он едва расслышал робкий, молящий голос:

— Пожалуйста, не отсылайте...

Это сказали они.

Несмотря на тошноту, головокружение, он ясно расслышал... они сказали это. Сильно болела голова... Значит, они все же поняли его? Значит, бывают испытания, когда не все проваливаются?..

Он почувствовал, как его подняли и понесли.

Учитель терял сознание, снова приходил в себя. А его все несли. Он думал: хорошо бы выжить!

Юноша и девушка

Существует немало способов досадить молодой девушке. Ну, вот чем плох хотя бы такой...

Восточный склон горы Геллерт; девушка поливает газон, а чуть выше — большая песчаная площадка. Стоит томительно-жаркий летний день. Трое парней поднимаются вверх по усыпанной гравием дорожке. Один из них очень высок ростом, волосы у него иссиня-черные, в правой руке болтается спортивная сумка, поверху стянутая шнуровкой. У второго парня лицо в щербинках от оспы, он курит. Третий смеется по любому поводу, и рот у него растянут от уха до уха. Но все эти отличительные признаки неразлучной тройки девушка отметит лишь позднее. Парни с минуту стоят у водопроводного крана, затем темноволосый наступает ногой на шланг. Отливающая серебром струя тотчас теряет напор. Девушка крутит насадку шланга — все напрасно, вода течь не желает. Раздосадованная, она оборачивается, видит трех парней. Девушка тотчас догадывается, в чем дело, прикрикивает на ребят. Рябой невозмутимо пускает колечки дыма, двое других напевают, даже не глядя в ее сторону,— пам-пам, пам-парам-пам,— словом, ноль внимания.

Что остается делать девушке? В сердцах она бросает шланг и подходит к парням. Обращается прямо к черноволосому:

— Прекратите эти шутки... У меня время не казенное!

Темноволосый изумленно вперяет в нее взгляд, будто только что пробудился ото сна.

— А? Что такое?

Левой ногой он по-прежнему давит на шланг.

Рябой пытается взять игривый тон:

— Ба, смотрите-ка, да у нее премилый носик!

Лоб у девушки собирается некрасивыми морщинами. Парня в оспинах и белобрысого, с улыбкой от уха до уха, она в упор не замечает, у нее разговор только с чернявым.

— Снимите ногу со шланга!

Темноволосый опускает глаза вниз.

— Ах, вон оно что... Простите, не заметил.

Девушка, больше не проронив ни слова, поворачивает обратно. Из шланга со свистом вырывается струя, вода ручьями растекается по газону.

Теперь парни усаживаются на ближайшую скамейку, удобно располагаются, откинувшись на спинку скамьи; в три голоса громко, намеренно фальшивя, принимаются свистеть. Сначала они просто насвистывают мелодию, затем напевают без слов, а после — негромко — поют уже со словами:

Я унесу с собою все твои движенья —
Как обнимала, как меня касалась ты.
Я унесу с собою сердца твоего биенье,
Пусть бьется пылко, в унисон с моим...

Но пока они доходят до последних строк шлягера, девушка, волоча за собою длинный шланг, скрывается за кустами.

Рябой поднимается с места; делая приятелям знаки, чтобы не прекращали пения, он присаживается на корточки у крана и быстрым, энергичным движением заворачивает колесико.

Когда девушка выходит из-за кустарника, все по-прежнему сидят на скамье и проникновенно тянут:

След губ твоих
Храню я на бокале.
Вкус поцелуев
И улыбку глаз...

Взгляд девушки придирчиво скользит по шлангу: шланг освобожден. Она оборачивается: вода все равно не течет.

Решительной походкой направляется она к скамейке.

— Послушайте, давайте по-честному, ну чего вам от меня надо?

Все трое вскакивают и хором выпаливают:

— Пойдемте с нами в бассейн!

Темноволосый парень добавляет:

— Видите ли, мы как раз туда и направлялись.

Коротышка-блондин перебивает приятеля:

— Однако увидали вас и решили...

Но девушку не интересует продолжение. Она отсоединяет шланг от крана, при этом задевает часами о железку, стекло на часах разбивается, но девушка сгоряча даже не замечает этого; подхватив шланг, она поднимается вверх по склону. Расстроенная, тянет она свою ношу, и шланг лениво, грузно ползет за нею, как огромный, дрессированный черный уж.

— А фигурка у нее — загляденье! — слышит девушка у себя за спиной.

— Да и мордашка недурна!

Интересно, кто это сказал,— тот темноволосый? Но оглянуться она, конечно, себе не позволяет.

Через две недели темноволосый юноша и девушка гуляют в Будайских горах. Они уже успели подружиться. Все еще держится лето. И день снова выдался знойный и душный. Внезапно хлынувший ливень загоняет их на террасу гостиницы для интуристов. Впрочем, иностранцев здесь раз-два и обчелся, зато пожилых дам за столиками — хоть отбавляй. И все они — отнюдь не иностранки. По натянутому поверх террасы брезентовому тенту барабанит ливень, но дамы на террасе невозмутимо вкушают мороженое, пьют соки и кофе со сливками. Юноша окидывает взглядом посетительниц, после чего заказывает красное вино — небольшую бутылку красного вина: чутье подсказало ему, что всякие там сладости или взбитые сливки только бы испортили прекрасное мгновение.

Юноша разливает вино по бокалам, рука его как бы сама собой касается лежащей на столике девичьей руки, и от полноты счастья у него вырывается вздох:

— И я, идиот, думал потрясти тебя своей глупой болтовней!.. Ты помнишь еще?

Девушка улыбается, кивает: конечно, она помнит все подробности той первой их встречи: и резиновый шланг, и проделки ребят, и зеленый газон, и весь тот день.

— Не так уж и глупо все было,— помолчав, говорит она с переполняющей ее нежностью.— Просто ты взял неверный тон. Дурашливый и развязный.

Какое-то время оба молчат. Да и не осталось у них невысказанных слов. За две недели знакомства они все успели рассказать друг другу. Юноша теперь уже знает, что девушка не имеет никакого отношения к городскому коммунальному хозяйству. В тот день она просто-напросто подменяла свою подружку, которой надо было отлучиться в ближайшую парикмахерскую. А вообще-то по профессии она ювелир и работает в ювелирном цеху при Монетном дворе. Сейчас у нее отпуск, который, кстати, завтра кончается. Зовут ее Эвой.

Ну, а юноша? Его зовут Лаци. За последние дни девушка раза два пыталась назвать его полным именем Ласло, но юноша каждый раз взрывался: «Слушай, кончай ты эти церемонии...» Лаци играет в небольшом джазе. «Если желаешь называть по всей форме, то я виолончелист». Рябой парнишка — трубач в том же джазе, а светловолосый играет на ударных. В тот день, когда Лаци впервые встретил Эву, у него был выходной. Сегодня он тоже свободен. Так что впереди у них целых полдня и еще весь вечер.

Эва во всех отношениях девочка что надо: она молода, ей от силы лет двадцать, кожа у нее очень гладкая, а фигура — что называется спортивного склада; глаза у нее серые, очень хорошие, невольно проникаешься к ней симпатией. Соломенно-светлые волосы острижены коротко, по-мальчишечьи, и уши оставляют открытыми. Единственно к чему, пожалуй, можно бы придраться: глаза у нее непропорционально большие и чуть навыкате. Но юноше даже это кажется прекрасным. Большие глаза Эвы непрестанно улыбаются, радостно смотрят на мир. Можно подумать, будто она никогда и не хмурится. В тот памятный день их встречи, должно быть, сознание важности своего долга придавало ей особую решительность и твердость.

Сейчас на ней черный свитер с короткими рукавами. Темный трикотаж хорошо оттеняет загорелую кожу рук. Два раза в неделю у Эвы тренировки по баскетболу, кроме того, она занимается легкой атлетикой: бегает стометровку и на четыреста метров.

С той первой их встречи на горе Геллерт юноша очень изменился. Случилось нечто невероятное: он полюбил эту девушку.

Чем же они заняты сейчас — вот здесь, на террасе? Пьют вино. Причем пьют они более чем умеренно, пото-

му что оба знают, капиталов у них негусто. Раз пригубив бокал, они не торопятся со вторым глотком. После вина заказывают кофе.

Говорят они мало, с долгими паузами; зато не умолкает и не прерывается другой диалог: разговор рук, их игра, будь то на столике или на спинке стула.

На террасе сервируют столы к ужину, официанты раскладывают по столикам меню. Эва с серьезным видом принимается изучать его. Затем вынимает отпечатанное на листочке меню из кожаной папки, достает из сумочки карандаш, что-то быстро пишет на оборотной стороне листка и протягивает юноше.

Лаци читает карандашную пометку:- «Champignon à la Paysan». Брови его взлетают. Он переворачивает меню лицевой стороной и устанавливает: так называется блюдо «шляпки грибов по-крестьянски», ресторанная цена этого блюда в вечерние часы — семнадцать двадцать.

— Тебе хочется грибов? — спрашивает он озабоченно.

Глаза Эвы откровенно смеются, а указательный палец красноречиво тычет его в грудь. Вон оно что! До юноши наконец доходит: с разговора рук они перешли к другой игре: награждать друг друга ласковыми прозвищами. Для начала Эва обозвала его грибной шляпкой под крестьянским соусом.

У Лаци тоже находится карандаш. Однако, прежде чем отбить удар, он, сосредоточенно хмуря брови, изучает меню. Наконец пишет ответ. Эва в тот же миг выхватывает листок у него из рук.

Она читает: «Oiseau roti». Хм, чтобы это значило? Взгляд ее скользит по столбику меню: итак, французское «Oiseau» по-венгерски будет «молодая утка под хрустящей корочкой».

Ну, держись! Будь на дворе зима, они обстреливали бы друг друга снежками. Но сейчас под рукой только это разнесчастное меню, значит, перепалку можно вести лишь названиями блюд. Возможная резкость при этом смягчается французской изысканностью выражений. Лаци получает: «отбивной шницель» — и обрушивает на Эву достойный ответ: «яйцо взбитое». За что ему достается: «фаршированный цыпленок», Эве же — «говядина отварная» (понимай: «корова»). Меню летает через стол с легкостью шарика для пинг-понга; туда — «жареная телятина», сюда — «седло барашка под сметаной»; «гуляш по-сегедски» — «вяленая слива»; «запеченный судак» —

«айвовый мусс»; «говяжий язык» — «ветчина трубочкой». Наконец оба выдыхаются. Меню исчерпано, игре конец. Молодые люди обмениваются напоследок: Лаци — «суп из цветной капусты», Эва — «раковый суп». Никакого переносного смысла здесь уже не усмотришь, но почему-то обоим смешно.

Пора платить по счету.

Юноша получает счет, Эва лезет в сумочку за пудреницей, а может, наскоро отыскивает прибереженную десятку — вдруг да придется скинуться.

Получив по счету, официант уходит, и тут меж молодыми людьми вспыхивает короткая перепалка — кому достанется листочек меню. Эва одерживает верх. Карточкой завладевает она. И поспешно складывает ее, пряча в сумочку. Юноша что-то пытается доказать ей, девушка хлопает его по руке. Дамы за соседними столиками обращают на них внимание.

Молодые люди поднимаются. Дождь все еще идет.

Лаци снимает пиджак и набрасывает его на плечи девушки. Оба какое-то время стоят на нижней ступеньке террасы под проливным дождем. Потом Эва неуловимым движением снова накидывает пиджак на плечи юноши, и оба, как вспугнутые олени, припускаются к подвесной дороге.

— Гусь жареный! —на бегу успевает бросить ему Эва.

— Говядина отварная! — парирует Лаци.

Как они поженились? Очень естественно. Молодые люди и сами не заметили этого.

Скарлатина

В неоспоримой истине, что ложь — отрава, и в том, что истина эта отражает подлинное лицо мира, я сомневаюсь с шестилетнего возраста.

В то время мы жили в деревне, и скарлатину мою скверно лечил приезжавший к нам из города на двуколке доктор. Это был шумный человек, балагур и чревоугодник. Он являлся обычно около полудня, у нас и обедал. Мое горло мало его интересовало.

А горло мое не потерпело такого равнодушия. Оно распухло, я стал задыхаться; выяснилось, что скарлатина обрела себе товарища — дифтерит. Шесть недель тянулась жестокая борьба. День, когда я не смог уже ни глотать, ни кашлять, был самый страшный. Тогда доктор снял пиджак, накрутил на палец вату и, прижав мне ложкой язык, несколькими быстрыми безжалостными движениями снял гной с воспаленной слизистой оболочки.

Но встать с постели я по-прежнему не мог. Уже прошел жар, уже легко и глубоко вбирал я в легкие пропитанный запахом апельсина воздух комнаты, но был так слаб, что в рот не брал ничего, кроме малины и ренклода в сахарном сиропе, да еще выжатого в стакан апельсинового сока. В ночной сорочке меня ставили на ковер, и я, изнемогая от тяжести собственного тела, норовил поскорее сесть,— у меня кружилась голова.

Нужно было питаться, но я отодвигал от себя тарелки. Чтобы смирить мой бунтующий желудок, в суп мне капали бром. И угрожали рыбьим жиром, если я не поем мяса.

— Попытайтесь покормить его медом с орехами,— в свой последний визит сказал доктор моему отцу.

И вот на моем стеганом одеяле в красивом стеклянном блюдечке появился темно-желтый мед и в нем несколько ореховых ядер.

От меда меня начало мутить.

— Но тебе надо съесть его,— уговаривала меня мама,— не то обидишь своих пчел.

И она рассказала, что для меня купили семейство пчел. Они уже живут в нашем саду. Усердные необычайно. С утра до вечера перелетают с цветка на цветок, собирают мед — за день вот такое маленькое блюдечко. Знают, что мне необходим мед. Что я болел. Что от него я окрепну.

— Ты их очень обидишь, если не съешь.

Уже держали открытыми окна,— наступило лето. Наш дом был окружен большим садом. Пригревало солнышко. Из сада доносился еле слышный гул, словно целый рой пчел жужжал в листве фруктовых деревьев, над кустами, живой изгородью, цветами. Мне было шесть лет. и я поверил, что это мои пчелы.

Я поверил и, преодолевая тошноту, недомогание, съел собранный для меня мед.

Но волшебная сказка началась поистине только теперь.

Каждый день мне приносили на блюдечке мед, и каждый день я жадно и неутомимо засыпал маму все новыми и новыми вопросами.

— Расскажи, как они собирают мед.

— У пчел есть специальный пузырек для меда, в него натекает то, что они высасывают из цветов.

— А сегодня из какого цветка пчелы высосали мед?

— Из резеды. Сейчас цветет резеда.

— А вчера?

— Они принесли его с большого айвового дерева.

— Какой еще бывает мед?

На все мои вопросы мама тотчас давала исчерпывающие ответы. Она рассказала, что мед бывает разный, у каждого свой цвет и вкус.

— Мед яблоневого цветка бледно-желтый и очень жидкий. У персика мед темный и чуть отдает абрикосом. Мед черешни и вишни с привкусом горького миндаля. В меду акации растворяются солнечные лучи, и он исцеляет, как яркое солнце.

— А плохой мед есть? — полюбопытствовал я.

И на этот вопрос мама сумела ответить.

— Мед крыжовника пахнет кожей. А собранный с цветка одуванчика горьковатый. Но твои пчелы не сядятся ни на крыжовник, ни на одуванчик.

На следующий день жизнь моих пчел окрасилась новыми подробностями. Я узнал, что друзья, собирающие для меня мед, по натуре очень постоянны. Они, пока возможно, верны избранному ими цветку, более того, даже определенному его цвету. Если акации, например, то или лиловой, или желтой.

— Так хорошо они видят? — спросил я.

Мама знала урок наизусть.

— У них несколько тысяч маленьких глазок, сросшихся в два больших шара. Но это не значит, что зрение у пчел необычайно острое. Каждый маленький глазок выхватывает из окружающего мира только одну точку, и из таких малюсеньких точек вырисовывается цветок. Вот гляди-ка...

И на бумаге с помощью точек она изобразила яблоневый цветок, потом кисть акации,— жизнь моих пчел была такой же прекрасной, как история храброго оловянного солдатика, и такой же необыкновенной, удивительной, как сказка о новом платье короля.

Я узнал также, как они выбираются из цветка, счищают с себя цветочную пыльцу и что они равнодушны к разнообразию красок; для них что черный, что красный одно и то же, и они не могут отличить желтого от зеленого, голубого от фиолетового,— лишь немногие цвета им известны.

Я упивался сказкой и упивался медом. Собранным для меня медом.

И постепенно я окреп.

Смог уже вставать с кровати.

И как только я встал, мне захотелось тут же навестить моих пчел. Но пока что меня не пускали в сад.

— Ты еще слабенький.

Только тогда мне пришло в голову спросить:

— А где я их найду?

Впервые я увидел замешательство на лице мамы.

— На ветках старой айвы, очень высоко.

— А если пойдет дождь?

— В стволе айвы есть дупло. В дождь пчелы туда прячутся.

— А как вы достаете мед?

— Взбираемся наверх по лестнице.

Через два дня меня наконец пустили в сад. Я побежал к айве. Уже было ослепительно синее летнее небо, я напряженно смотрел ввысь, на крону айвы,— пчел нигде не было. Искал лестницу,— лестницы нигде не было.

— Они улетели,— сказала мама.

Только теперь я заметил, что она стоит за моей спиной.

— Улетели? — довольно глупо, словно пришибленный, переспросил я.

Я ничего не понимал.

— Они узнали, что ты уже окреп,— разумно объяснила мама.— В них уже нет нужды.

Рыдания душили меня, как раньше скарлатина с ее лучшим другом, дифтеритом.

— Куда они улетели?

На этот раз мама ответила неудачно, елейной моралью плохих сказок завершила историю моих пчел.

— Куда-то, где они теперь больше нужны.

Пчелы улетели. Куда-то. Где они больше нужны... Это было предательством. Они не подождали меня. Мои пчелы. Хоть разок взглянуть бы на них, как жужжа, напевая — так говорила мама,— приносят они мед. И еще посмотреть бы на их танцы,— я слышал от мамы, что они и танцевать умеют, даже объясняются между собой танцевальными па. И теперь они улетели, не попрощавшись.

От негодования лицо мое пылало. Они меня обманули. И они лгали. Лгали, будто любят меня. И я твердил одно и то же:

— Они лгали, лгали.

Не понимая при этом, за какое мудреное слово ухватился.

Под вечер папа сжалился надо мной.

Поставив меня перед собой, он стал говорить со мной, как мужчина с мужчиной.

— Никуда они не улетали, и вообще эти пчелы твои — выдумка. Тебе надо было поправиться, а ты не хотел есть. Вот мама и придумала про пчел. И удачно. Ты ей поверил. Но теперь тебе пора узнать правду. Она прекрасней вымысла о пчелах.

Правда не была прекрасной, и сначала я ей не поверил.

— А правда, что они путают красный и черный цвет? — очень сердито спросил я погодя.

— Да.

— А черешневый мед горький?

— Нет чистого черешневого меда, есть только смешанный цветочный мед.

— И чистого меда акации нет?

— Нет.

— А пчелы умеют танцевать?

— Умеют.

— А правда, что они жили на старой айве?

— Они не могли там жить, потому что у тебя не было никаких пчел. Мы покупали мед в лавке.

Я уже не знал, что правда и что неправда. Во время болезни у меня был сильный жар. Я проснулся однажды ночью оттого, что по комнате летали стулья и на растрескавшемся потолке светило солнце. Но горела лишь прикрученная лампа, и мама сидела у моей постели.

Двойной круг

В напряженный и трудный для меня день мне позвонили, чтобы я ехал к отцу. Было уже после полудня: мой письменный стол завален чужими рукописями, книгами, неотвеченными письмами, в служебном календаре еще две записи, да и позвонили мне в самый разгар совещания — прошло не менее получаса, пока я отменял, переносил, убирал со стола. Это был тяжелый день, я даже не успел пообедать, но тем не менее отложил все и поехал.

«Почему я спешу?» — размышлял я в ожидании автобуса. И не находил ответа. Никто не просил меня поторопиться, я вполне мог бы поехать и вечером. Быть может, меня подстегнула сама неожиданность просьбы — таких звонков не было уже многие годы.

Отец жил в одном из зеленых предместий, в получасе езды от города. Он был убежденный домосед, еще на второй или на третий год войны ушел на пенсию и с тех пор беспокоил меня разве что из-за книг. Встречались мы непринужденно и когда придется. Иногда я вдруг строчил ему длинное письмо или он неожиданно заявлялся к нам в гости. И письма эти, и визиты всегда означали одно и то же: нарушение негласного уговора, колебание стрелки на невидимых чувствительных весах, ту *задержку*, о которой не нужно, да и не принято говорить.

Автобус мчался по ракошским пескам в направлении Гёделлё. Здесь почти не строили заводов, и равнина покрылась беспорядочно разбросанными маленькими домиками. В этой мирной деревенской картине было что-то, от чего сжималось сердце. Сколько раз и при каком только освещении не видел я эти домики! Все здесь было проти-

воречиво: только что возведенные, еще сырые стены, грязь, ассиметрия, новизна — и над всем этим низкое небо, осеняющее домики безмятежным покоем.

Этот песчаный край, похожий сверху на расплывшуюся лепешку, с роющимися в земле курами, с воздухом, почти не загрязненным, походил на райский остров.

В западной оконечности этого рая примостился маленький островок старых вилл, стоявших среди могучих деревьев под защитой пышной густой листвы. Вокруг бушевало молодое зеленое море, и поблекшие подслеповатые виллы, пережившие свой век,— одинокие и заброшенные, смущенно опускали глаза перед настоящим.

Здесь-то и жил мой отец. Он не искал этого места, его привел сюда случай, и, возможно, долгое время он даже не осматривался вокруг.

От остановки автобуса до одноэтажного домика с верандой было минут десять ходьбы. Стрелой уходила вдаль обсаженная акациями улица. После я вспомнил ее: никогда еще привычный путь не казался мне таким длинным — словно кто-то растянул старые суставы и мышцы дороги. А ведь я ничего не подозревал и чувствовал обычное смущение: опять *задержался,* не видел отца несколько недель, опять нарушил уговор.

Густой сад отделял застекленную веранду от улицы. Обширный цветник с клумбами гвоздики, с рядами пышных роз и с пестротой самых разнообразных цветов. Здесь же несколько стройных деревьев: розовая акация — ее я особенно любил, две молоденькие черешни, несколько серебристых елок, высокая пышная сирень. А вокруг живая, щедрая, густая зелень кустов.

Я нажал щеколду калитки и через мгновение уже открывал веранду. В доме царили полумрак и тишина. Отец сидел во второй комнате. Я поздоровался, но он не ответил. Помнится, я что-то сказал еще; тогда он встал и молча обнял меня. Только теперь я заметил, как он укутан, а ведь был сентябрь, стояла теплая, пыльная осень. В другое время в эти предвечерние часы он, сняв пиджак и расстегнув ворот рубахи, работал бы в саду: ведь близится вечер, надо напоить привядшие цветы.

Отец некоторое время растроганно смотрел на меня и наконец заговорил.

Что он сказал — я не понял. Он произносил какие-то слова с окончаниями по всем правилам грамматики, но между этими словами его непослушный язык то и дело

вставлял невразумительные «э», открытые, влажные, круглые «э», которые тут же делали слово неузнаваемым. Отец говорил старательно, медленно, а я все равно не понимал. Я смотрел на его руку, и эта дрожащая рука яснее слов сказала мне, как мучительно стыдится он своей беспомощности. Все усилия были напрасны: он не мог поставить на ноги ни одного слова. Они тут же валились, как сломанные оловянные солдатики. Слова, произносимые отцом, его неуклюжие «э» были словно отлиты из свинца, и этот невидимый груз сразу же опрокидывал все старания.

Теперь я уже знал, в чем дело: инсульт. И видел, как беспомощна, неподвижна и печальна его правая рука.

— Когда? — вырвалось у меня.

Он ответил.

Я не понял ни слова.

Тогда он, стыдясь, поднял левую руку и показал четыре пальца.

— Четыре дня? — похолодев, воскликнул я.

Он кивнул.

— Ты вызвал врача?

Он опять кивнул.

Он так озабоченно следил за мной, что забыл опустить левую руку и эта рука с четырьмя торчащими пальцами так и застыла в воздухе. Я с ужасом глядел на эти пальцы, глядел и не мог оторвать от них взгляда, как бы чуя новую, еще неведомую беду.

Он заметил это и быстро спрятал руку.

— И что сказал врач? — спросил я. Он щадил меня и уже не отвечал, только его левая рука опять шевельнулась. Я опять не понял.

С ожиданием внимательно смотрел он на меня и видел — я не понимаю. Оказалось, он учел и это. На столе был приготовлен лист бумаги, сверху лежал карандаш. Он сел к столу и начал писать. Он писал очень медленно. Буквы падали, налезали друг на друга. Выходило одно слово. В смятении я глядел на бумагу и не мог понять, что же это за одинокое, искаженное до неузнаваемости слово. Я чувствовал, что если не прочту его, то смертельно обижу отца. И в последний момент все же разгадал. С огромным усилием, непослушной рукой он написал: «Поправлюсь».

— Это сказал врач? — спросил я.

Он кивнул.

— Тебе надо лежать! — накинулся я на него.

Он отмахнулся. Я понял скорее по его взгляду: «Не могу, не лежится».

Я не отставал:

— Принимаешь что-нибудь?

Он указал на столик — там лежал коагуцит и какой-то транквилизатор. А рядом с лекарствами я увидел обычную для отца пачку с сотней сигарет.

Я поднялся.

— Хочу поговорить с врачом.

Он опять начал писать, теперь я уже лучше разбирал его каракули: « В шесть будет здесь».

Я бессильно опустился на стул. Отец сначала испытующе смотрел на меня, потом положил свою здоровую руку на мою и что-то тихо произнес. Наступила гнетущая тишина. Я опять не понял. Я видел, что он раздражен и что ему стыдно. И мне было стыдно, словно я чем-то жестоко обидел его.

Он встал, сделал два шага и протянул мне сигареты. А когда я отказался, он достал одну себе. Я запротестовал было, но он здоровой рукой почти грубо оттолкнул меня. За четыре дня он научился зажигать спичку левой рукой; миг — и сигарета уже дымилась.

Он проделал это почти неуловимым движением, и я вдруг ощутил его силу. Прежнюю силу.

Не помню, как мы очутились в саду. Я был словно парализован. Вначале, кажется, чего-то ждал, помнил о чем-то — прежде всего о враче. Потом отупел и просто сидел неподвижно. Он курил вторую сигарету, но, видимо, чувствовал, что надо утешить меня, потому что снова поднял четыре пальца и махнул рукой. Это, видимо, означало: и всего-то четыре дня, чепуха.

Я смотрел на отцовский цветник — на вызывающе рыжие и алые георгины, на скромную вербену, на голубые лепестки цикория, на бледную резеду. Какие из них его любимые? Но говорить с ним об этом было нельзя. Да и вообще о чем говорили мы друг с другом?

Казалось, меж цветов стелется легкий дымок от его сигареты — или это струился пыльный, душистый сентябрьский воздух?

Однажды я вот так же сидел в саду. Тоже в нашем. Только тот был иной — огромный, одичавший. Сквозь заросли бежал узкий ручей. Я никогда больше не видал такого сада. Могучие, старые стволы яблонь, колючие за-

росли малины, крыжовника. Невозможно было добраться до вершин грушевых деревьев — так они были высоки, ветви слив обламывались под тяжестью плодов. В конце сада стоял даже сеновал, крытый почерневшей от времени дранкой. Вот в этом-то саду и лежал я однажды после полудня, лежал и, думая, что я совсем один, распевал во все горло: «Покинул я тебя, мой край...» Я слышал эту песню на пластинке. Два невыразимо прекрасных для детского слуха глубоких, бархатных голоса выводили: «Тебя, моя страна».

Уже много позднее я узнал, что это пели Рихард Эрдеш и Бела Венцель. Песня была записана Белой Бартоком, а пластинка — быть может, вообще первая венгерская пластинка композитора.

Жили мы тогда в провинции, и отца моего, помимо работы, интересовала только музыка. Лишь много позднее я понял, что у него была ценная и интереснейшая коллекция пластинок. Тогда же мне было всего пять или шесть лет, ничего этого я не знал, был счастлив, беззаботен и самозабвенно пел.

— Фальшивишь.

Голос прозвучал сверху.

За моей спиной в траве стоял отец, это сказал он, коротко и неумолимо.

Почему я так никогда и не смог забыть тех слов? Наверно, потому, что к их неумолимости невозможно было привыкнуть. Отец всегда говорил со мной как со взрослым. Слова его словно стронули лавину, и она погребла меня.

«Фальшивишь». Никогда больше я не пел. Не смог бы. Даже не я — мои голосовые связки навсегда отказались воспроизводить звуки песен. И уже никто никогда не мог сказать, что я фальшивлю. И вообще, что такое чистая, прекрасная песня? Я храню пластинку до сих пор. Иногда слушаю ее. Она и теперь моя любимая.

Лицо отца никогда не выдавало его чувств, но, по-моему, он иногда раздражался. Мне не было еще и пяти лет, когда он научил меня читать и писать. Я читал без запинки, но не понимал ни слова. И писал, хотя слова еще не приобрели для меня своего значения, так что я не мог ощутить их вес.

Я жаждал отцовской похвалы. И с необузданным рвением принялся за переписку толстой книги. Девственному воображению знакомы такие искусы. Случайно мне

попался роман Жигмонда Кеменя. Но с тем же основанием я мог снять с полки Даниэля Паппа или Элека Бенедека. Каждый день я переписывал по две-три страницы. Как-то, болтая во время очередного упражнения, я, между прочим, сообщил, чем занимаюсь. Отец попытался растолковать мне смысл написанного, но я со счастливым простодушием все глубже увязал в безнадежных противоречиях.

Как-то я не нашел романа на своем месте.

— Не трудись,— коротко сказал отец.

Я понял. Но все еще надеясь, судорожно и неумело лукавил:

— Почему? Почему? Не понимаю?

Отец повторил, спокойно, почти с жалостью:

— Не трудись больше.

Быть может, именно это словечко, это короткое «больше» отрезало мне все пути. Словно меня заперли в четырех стенах. Я был узником и отныне мог слышать только свой голос. И мечтать только про себя.

Мать сохранила на память толстые гладкие листы гербовой бумаги, старательно исписанные красными чернилами.

Лет через пятнадцать, во время какого-то переезда, я узнал, что переписывал тогда роман Кеменя. Потом прошло еще немало лет, которые окончательно стерли в моей памяти название романа. Рана зажила. И только иногда я вспоминал о ней. Вот как теперь, в саду, среди красивых цветов, рядом с глубоко задумавшимся отцом.

Так же он молчал и тогда, когда вез меня обратно в пансион миноритов [1].

Мы все еще жили в деревне, и, чтобы я мог учиться в гимназии, отец вынужден был оставить меня в городе. Но у кого? Там у нас не было ни родных, ни знакомых. Теперь я понимаю, почему выбор его пал на монахов-миноритов. Они были приветливы, учены, строги. Но я все же сбежал. Сбежал от чужих мальчишек, от всего чуждого мне мира. Со двора уйти там было невозможно — привратник запирал ворота на ключ. Убежать по дороге в гимназию тоже было опасно: одноклассники настигли и схватили бы меня.

---

[1] Название одного из подразделений нищенствующего монашеского ордена францисканцев.

В конце концов я выпрыгнул из окна спальни, куда незаметно пробрался утром после завтрака.

Стоял солнечный, ясный октябрь, я прыгнул со второго этажа. Подвернись у меня нога — и все пропало. Но мне повезло, я отделался ссадинами; потом три часа шагал, не смея передохнуть. Я не плакал, но когда добрел до дома, то грязь размазалась по щекам. Лицо распухло, одежда и даже кожа были пропитаны пылью. Отец встретил меня спокойно и приветливо:

— Ты ел?

Я только мотнул головой — нет.

Меня тут же усадили за стол.

С набитым ртом я объяснил, почему не могу вернуться туда.

Я не заметил, как отец вышел и велел закладывать, но когда я кончил завтрак, вымылся и переоделся, лошади уже стояли перед крыльцом.

Протестовать было бесполезно. Всегда бесполезно. Отец сел первым, я за ним, но он указал на козлы.

— Ты там больше любишь.

В голосе его звучала ласка.

Я не мог перечить, послушно сел рядом с кучером...

Нет, ни от чего не уйти. Мы сидели в саду, и вдруг я заметил: он курит уже третью сигарету. Я запротестовал, и он бросил ее. Внезапно меня охватила грусть, я почувствовал бессмысленность происходящего: зачем я запротестовал, зачем он послушался?! К вечеру пришел врач, мы обсудили, что надо делать. Нет, в больницу ни за что, заупрямился отец.

— Возможно, в этом нет необходимости,— успокоил меня врач, когда мы остались наедине в саду.— Главное, обеспечить полный покой. Похоже, что кризис позади.

Первую половину следующего дня отец провел в саду, трудился, как всегда. Левой здоровой рукой он поливал цветы, полол, пробовал даже окучивать и, как говорили потом соседи, беспрестанно наклонялся. В полдень он упал без сознания, а вечером его доставили в больницу.

В ожидании «скорой помощи» я насчитал во всех пепельницах восемнадцать свежих окурков. Когда-то он выкуривал сигарет сто в день и лишь в последние годы сбавил до тридцати — сорока.

Когда я уходил из больницы, он все еще был без сознания.

Ночью меня обступили воспоминания. И вчерашние, и другие. Ночь длинна. Вокруг меня теснились события — и то, что было, и то, чего так никогда и не было. Они возникали во всех подробностях, все явственней, все больней. Одна мысль неотступно преследовала меня, не давала покоя: так мало, так страшно мало говорили мы с отцом. Считанное количество слов сказано нами друг другу. Но не в этом дело.

Все же мы говорили с ним, и нам бывало хорошо друг с другом. Иногда мы ограничивались только репликами, иногда беседовали часами. Но каждый из нас при этом как бы очерчивал вокруг себя круг, иногда для верности даже двойной круг, и никогда ни он, ни я не переступали этой призрачной границы. Мы говорили обо всем на свете, кроме того, что болело, что терзало нас или радовало, никогда не говорили мы о том главном, что вошло в нас, как чужеродное тело, и постепенно заполнило собою все.

Придя на следующий день в больницу, я уже в коридоре узнал, что отец пришел в себя. Он был беспокоен, чуть ли не враждебен; сделал сердитый жест рукой — хочу домой.

— Нельзя,— сказал я печально.

Он взволнованно показывал, что хочет одеться.

— Нельзя,— сказал я опять.

У него научился я этой неумолимой краткости.

Я сел рядом, взял его руку; прикосновение словно успокоило его, он не отстранился. Я тихонько гладил его руку и молчал. Незаметно он заснул. Вдруг я вздрогнул, заметил, что держу его *мертвую* руку,— ведь он даже не чувствовал моего слабого пожатия, не мог почувствовать, что я хотел сказать ему.

Перед уходом я поговорил с главным врачом. Попросил разрешения завтра опять навестить отца. Доктор, молодой человек, старался быть любезным и мягким, но в конце концов неловко и почти грубо сказал: случай безнадежный. Может быть, резок он был потому, что я и без него все знал и слова тут были ни к чему.

Я ожидал, что назавтра отец будет еще беспокойнее или, наоборот, апатичен и тупо равнодушен. Но я ошибся. Вначале он с любопытством и интересом поглядел на меня. Без раздражения смотрел, как я хлопочу вокруг него, а когда я заговорил,— улыбнулся.

Вдруг я почувствовал укол в сердце. Теперь!.. Быть

может, теперь мы еще могли бы что-нибудь сказать друг другу. Так необходимо слово, ведь жесты, наклон головы — это мало, это почти ничто. Вчера мы попробовали опять прибегнуть к бумаге и карандашу, но писать он не мог уже и левой. Что делать? Даже улыбка бессильна, и блеск повлажневших глаз может высказать мучительно мало.

И тогда на чистом листе бумаги я написал алфавит — большие, острые, решительные буквы. Положив лист на книгу, я пододвинул ее к отцу.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я и указал на буквы: отвечай *здесь*. Он подчеркнет одну-две буквы, и я пойму слово. Другой лист я положил перед собой — записывать.

— Как ты себя чувствуешь? — повторил я.

Он с интересом смотрел на лист бумаги и не шевелился. Тогда я оживленно начал рассказывать что-то, но запнулся на полуслове — он открыто отвернулся и смотрел на пустую соседнюю койку. Ему было неинтересно.

— Тебе плохо?

Он повернулся ко мне и еле заметно качнул головой: нет, нет, ничего.

Вот теперь — схватить его живую левую руку так, чтобы он почувствовал. Схватить и не отпускать!

Словно ища помощи, я оглянулся.

Окно палаты растворено было настежь, где-то далеко звучало радио — меня чуть не оглушили эти слабые, едва доносившиеся звуки.

Впервые на концерт повел меня отец. Играли Шумана. До сих пор помню тот концерт для фортепиано, смятение и щемящую боль.

Отец очень любил Шумана. Из всей программы я запомнил только этот концерт, потому что во время *анданте* я спросил о чем-то, а отец отвернулся. И только в перерыве сказал:

— Когда играют, молчи.

С отчаянием ухватился я за это воспоминание. Хоть на мгновение еще раз почувствовать этот свет, тепло, вернуть хоть крупицу забытого ощущения: мы сидим рядом, и мне больно, больно из-за отца.

— Ты еще любишь Шумана? — неожиданно вырвалось у меня.

И я настойчиво положил его левую руку на алфавит.

Он глянул на меня.

— Ты еще любишь Шумана? — повторил я очень громко.

И тут его левая рука дрогнула. Вначале она потянулась к «Б», потом скользнула ниже, приостановилась у «Н», указала на «Х», двигаясь обратно, задержалась еще у четырех букв и замерла совсем.

На другом листе я послушно записывал: выходило нечто бессмысленное, печальное. Семь букв даже отдаленно не походили на какое-нибудь слово.

Я испуганно заглянул ему в глаза: в их голубизне была совершенная пустота.

Больше я не видел его живым.

Ночью он умер. Утром медицинская сестра сказала с сочувствием:

— Мы не заметили, оказывается, он сломал руку.

— Сломал? Когда?

— Не знаю.

Я вздрогнул от охватившей меня неизъяснимой, дикой боли. Едва мог вымолвить:

— Левую?

— Нет, не левую,— успокоительно ответила сестра.— Правую. Он не чувствовал ее, потому и не сказал.

— Как он мог сломать ее? — с трудом спросил я.

— Наверно, оперся на нее всей тяжестью.

Когда я закончил формальности, ко мне подошел какой-то невысокий коренастый человек.

— Я побрил его,— сказал он тихо.

— Могу я его видеть? — спросил я.

Он кивнул.

— Я потому и сказал. Он уже одет.

И человек повел меня вниз по широкой лестнице. Помнится, это была очень широкая винтовая лестница, я еще удивился ее странной форме.

В большом помещении с низким потолком стоял стол. На нем лежал на спине отец. Гладко выбритый, худой, с плотно сомкнутыми веками.

Я смотрел на него. Смотрел на правую руку, которую он вчера или позавчера сломал, и никто не знал, что она сломана. Рукав пиджака скрывал перелом.

Я глядел на него и не чувствовал отчаяния — только опустошенность. И боль, такую острую, при которой не существуют отдельно память, сердце, настоящее и прошедшее.

Мне не о чем больше было спрашивать и вспоминать.

Балкон

В ту весну — в 1934 или 35-м году — мы получили в подарок колонну с Римского форума, даже установили ее в саду Национального музея, об этом мне нужно было написать передовицу в воскресный номер. В четверг вечером главный редактор дал мне фотографию римской колонны, младший редактор — верстку газеты, в библиотеке я взял даже том «Hellas und Rom» [1] из серии «Пропилеи» и все это унес домой. Я намеревался в пятницу засесть за статью, к вечеру, не торопясь, разделаться с ней, отнести в редакцию готовый материал и в полседьмого уйти оттуда. Вечером мы собирались устроить в «Яме» большой ужин из рыбных блюд.

В пятницу я поздно встал, около одиннадцати еще только перелистывал том «Пропилеев», как вдруг зазвонил телефон. Спрашивал меня Николич, фоторепортер из редакции газеты.

— Я в «Турецком» кафе. Садись в машину и дуй сюда.

— Что тебе надо?

— Жду тебя в «Турецком». Поспеши.

— Что случилось? Не тараторь...

— Потрясающий материал.— И он бросил трубку.

Николич бывал назойлив обычно, когда, попав в беду, взывал о помощи. Видно, он кутил где-то всю ночь и теперь нечем расплатиться за чашечку черного кофе. Пришел, значит, мой черед выкупать Николича. В подобных

---

[1] «Греция и Рим» *(нем.)*.

случаях он хорошо знал, к кому обратиться. Но что будет с воскресной статьей?

Однако в «Турецкое» кафе я все же поехал.

Маленький зал был почти пуст, впрочем, Николича я отыскал бы и на Крытом рынке. Утром он казался еще более толстым, обросшим и возбужденным, чем вечером и ночью. Пиджак у него был расстегнут, поскольку пуговицы давно отсутствовали. Он вечно рылся, шарил у себя в карманах, всегда что-нибудь находя при этом: металлическую скрепку, насадочную линзу, карандаш, презерватив в пакете, пакетик с аспирином; одно вертел в руках, другое поспешно прятал в карман, что-то глотал.

Вместе с Николичем сидела молодая блондинка и двое юношей. Заметив меня, он тотчас встал, подошел ко мне, и мы с ним подсели к другому столику. Он говорил, захлебываясь, то и дело посматривая на девушку и молодых людей, во взгляде его было и одобрение, и какая-то нерешительность; потом он достал четыре фотографии и по одной выложил их на мраморный столик. Они были еще мокрые и клейкие, все четыре совсем свежие.

Я выслушал Николича, посмотрел фотографии. Охотней всего я влепил бы пощечину этому типу, ничем не брезгующему, всюду сующему свой нос, но он был столь же беззащитен, как беззащитна камера футбольного мяча. Как надутая резиновая камера, когда ее безбожно пинают ногами.

— Я не буду писать об этом,— сказал я решительно.

Но Николич не отступался.

— Хотя бы взгляни на балкон.

Он взял меня под руку и потащил за собой.

На безлюдной широкой улице стоял четырехэтажный дом со свежевыкрашенным фасадом. На третьем этаже три узких балкона.

— Крайний,— пояснил Николич.— Крайний слева. Потрясающе, правда? — С умоляющим видом он теребил мою руку.— Специально для тебя ведь материал.

Дом был сравнительно новый, построенный, очевидно, в самом начале нашего века. Очень высокие этажи. Мне было противно смотреть на Николича.

— До тебя не доходит, что ли? Не буду я писать.

— Когда-нибудь еще спасибо скажешь. Я потому и позвонил, что материал в самом деле для тебя подходящий.

Вероятно, надо было все же дать ему пощечину, но я лишь воскликнул:

— Ты еще осмеливаешься предлагать мне это? Скотина! Разве ты играл со смертью, что осмеливаешься предлагать это мне?

— Ну вот... ты что, не слушал меня? — побледнев, запинаясь, проговорил он.— Не я играл со смертью.

Действительно, не он играл со смертью...

Я все-таки вернулся в кафе.

Белокурая девушка сперва пыталась проникнуть в квартиру номер один на третьем этаже. Утром, в начале девятого, она позвонила туда.

Хлопнуло стеклянное окошечко в двери. За решеткой показалось строгое худощавое лицо женщины. Тоже блондинки, но крашеной, лет, по крайней мере, сорока — пятидесяти.

— Что вам угодно?

— Будьте добры,— смутившись, начала девушка,— разрешите мне на несколько минут выйти к вам на балкон.

Женщина повела бровями. И они были накрашены — крашеные и редкие.

— Выйти на балкон?

— Видите ли, меня хотят сфотографировать... с улицы.— Она растерянно улыбнулась и, словно рассчитывая на убедительность такого довода, прибавила:— Сделать художественные фотографии.

— Художественные фотографии? — строго, отчетливо переспросила женщина за решеткой.

— Ну да, художественные фотографии. Здесь, на третьем этаже, очень эффектный балкон, и мы подумали...

— Словом, эффектная художественная фотография на нашем балконе?

Молоденькая блондинка преисполнилась надежды.

— Мои друзья ждут на улице. Если вы только разрешите... Я отниму у вас всего несколько минут...

Под защитой решетки женщина стала крайне насмешливой и высокомерной.

— Вот что, милая барышня, скажите своим друзьям, знаю я, с кем дело имею. Просят обычно впустить, сказки рассказывают, а там... словом, меня не проведешь.—

Она повысила голос.— Мой вам совет — убирайтесь отсюда.

И она подняла руку. В руке у нее колыхалась пыльная тряпка. Женщина взмахнула тряпкой, словно прогоняя моль из передней. Но стукнула по окошку.

Девушка подошла к другой двери, к квартире номер два. Помедлив немного, позвонила туда.

Напевающий девичий голос приблизился к двери.

Из-за кого-то сплошная тоска,
Мука — жизнь моя...

Дверь отворилась. И здесь занимались уборкой. На пороге стояла деревенская девчонка.

— Кто вам, простите, нужен?

Блондинка взглянула на табличку с фамилией.

— Господа Теглаш дома?

— Их нет, извольте знать. Господин инженер на службу ушел, барыня делает покупки на Крытом рынке. Угодно будет подождать?

Блондинка не пожелала ждать барыню.

— Мне хотелось бы выйти на несколько минут на балкон... Как вас зовут, миленькая?

Неожиданный вопрос удивил девчонку, однако она послушно ответила:

— Веронка.

— Понимаете, Веронка, дело в том, что два парня хотят сфотографировать меня на вашем балконе... мне бы выйти туда... Две минуты и все... Впустите меня в квартиру.

Она хотела пройти в прихожую, но девчонка преградила ей путь.

— Нельзя.

— Да ведь мне только на две минуты...

— Барыня знает вас?

— Нет.

— Значит, нельзя.

Она решительно выставила вперед руку, даже толкнула блондинку и захлопнула дверь. Уже издалека донесся ее голос:

Из-за кого-то сплошная тоска,
Мука — жизнь моя,
Кто-то, верно, не знает,
Что есть сердце и есть любовь.

Перед третьей дверью блондинка грустно вздохнула, но все же нажала на кнопку. Прозвенел звонок,— никакого результата. Другой, третий раз позвонила. Никакого результата. Она готова была уже уйти, когда за дверью послышалось шарканье туфель. Она решила подождать.

Бледное, округлое привлекательное лицо, два робких глаза разглядывали ее через решетку. Взаимное изучение длилось с четверть минуты. Потом заскрипел ключ, дверь открылась. В прихожей стояла высокая молодая женщина; слегка поеживаясь от холода, она куталась в бледно-зеленый халат, на босых ногах у нее были зеленые домашние туфельки, кожа еще хранила тепло постели, на полном лице виднелись следы от подушки,— женщины молча смотрели друг на друга.

Наконец блондинка вышла из оцепенения.

— Я цирковая артистка,— тихо и очень решительно проговорила она. И полезла в свою сумочку.— Вот мое удостоверение.— Она протянула его женщине.— Поглядите, пожалуйста, убедитесь. У меня есть очень хороший номер, мы исполняем его с двумя мальчиками. Полет ласточки. В последний момент меня ловят. И еще много разных трюков, очень хороший номер. Но нам до сих пор никак не удается заключить контракт. Обещают, все только обещают.

Зябнущая в халате женщина едва заметно шевельнулась.

Блондинка робко шагнула вперед. Проникла в прихожую.

— Прошу вас, очень прошу, выручите меня... При чем тут вы? Да ведь вы как раз и можете мне помочь. Нужна небольшая реклама... Мальчики знают фоторепортера, он сделает несколько хороших снимков. Обещает провернуть дело, про нас даже статью напечатают. Статью с фотографиями. Устрою, говорит, очень дешево, только нужен какой-нибудь трюк. Настоящий эффектный трюк, на который клюнут газеты.

Разволновавшись, она ухватилась за халат молодой женщины.

— Пожалуйста, не прогоняйте меня. Трюк есть. Хороший, эффектный трюк, газеты такое не упустят. Я прыгну отсюда, с балкона третьего этажа, а мальчики меня поймают. И фоторепортер здесь. Он сделает четыре фотографии. На двух первых я стою на балконе, на третьей я в воздухе, на четвертой внизу, на асфальте. Почему именно

с вашего балкона?.. Да ведь улица тут тихая такая, чистая и широкая. Прохожих редко встретишь, полицейского поблизости нет. Мы еще позавчера ее высмотрели. Прошу вас, очень прошу, разрешите.

Женщина в халате до сих пор стояла, будто немая. Молча смотрела на блондинку, словно бы не могла ответить, а возможно, и не все расслышала. Но вот она пошевельнулась, даже сказала что-то. У нее был бы приятный голос, но от курения он осип,— точно наждачной бумагой поранила горло.

— Ты не узнаешь меня? — спросила она хрипло.

— Разве мы знакомы? — даже испугалась блондинка.

Женщина кивнула.

— Встречались в обществе.

— Артистов цирка?

— Да.

— Простите...

— Кира из «Синего грота»,— протянула руку женщина.— Теперь вспомнила?

Блондинка кивнула. Но, почувствовав неуверенность в ее кивке, женщина насупилась. И опустила руку.

— Короче, хочешь прыгнуть с балкона?

— Если разрешишь...

— И вы уже пробовали?

— С балкона еще не пробовали.

— А откуда?

— С шеста.

— Улица как-никак дело другое. А беда не стрясется?

— Мальчики очень ловкие.

Женщина сбросила туфельки, босая подкралась к приоткрытой двери в комнату, заглянула туда, потом, ступая на цыпочках, неслышно вернулась обратно.

— Видишь ли... я занята.— Блондинка уже догадалась, в чем дело.— У меня тут один человек... Еще спит. Ты могла бы выйти на балкон так, чтобы не разбудить его? — Блондинка кивнула.— Тогда сними туфли.

Та повиновалась.

— Я и без туфель прыгну...

— Ну, иди.

В полутемной комнате можно было лишь догадаться, где спит гость,— и вот они уже на балконе, в свете весеннего утра.

На противоположном тротуаре стояли трое мужчин. Один, очень толстый, махал им. Женщина в халате по-

думала было, что он размахивает шляпой, но потом разглядела в его руке фотоаппарат. И перепугалась, даже отпрянула назад.

— Мне не хотелось бы попасть в кадр... Не сердись... Как тебя зовут?

Она задала этот вопрос шепотом, уже из комнаты.

— Ты же видела мое удостоверение,— обернулась блондинка.— Жофи, Жофи Хоффбауер.

— Если стрясется беда, мы не знакомы.— Она судорожно схватила гостью за руку.— Ты пришла, попросила впустить тебя в квартиру, и все. Мы не знакомы.

Девушка смотрела ввысь. Жидкий утренний свет был на диво резкий, или же глаза ее, привыкшие к зимней серости, стали так нелепо чувствительны? Вниз она не хотела даже взглянуть. Знала, что улица покажется ей призрачной. Где-то там, в призрачной глубине.

— Не бойся,— обернувшись, улыбнулась она.— Все будет хорошо.

Она, как кошка, вспрыгнула на перила балкона. Быстро обрела равновесие, выпрямилась легко, уверенно.

И тогда лишь глянула вниз.

Мальчики уже сошли с противоположного тротуара. Она кивнула. Они заняли свои места там, под балконом. Все в порядке. Толстый фоторепортер больше не размахивал аппаратом. Он смотрел на нее, примерялся.

Она стояла прямо, неподвижно, красиво. Услышала щелканье фотоаппарата внизу. Опять кивнула. Все в порядке. Первая фотография сделана. Ночью они решили снять на балконе еще один кадр: она стоит на перилах, чуть подавшись вперед. Кивнула в третий раз. Все в порядке. И точно выполнила намеченное ночью: встала на носочки, осторожно, чтобы не нарушить равновесие. Подняла обе руки. И явственно почувствовала: ей выпадет это счастье, прыжок с третьего этажа удастся. Сухо, рассудительно подала знак репортеру: чтобы снял ее сбоку. Толстяк послушно выкатился на середину улицы, пытаясь включить в кадр ее и весь фасад дома.

Девушка застыла на перилах, точно каменный ангел, целиком высеченный из песчаника. Костюм, однотонный, серый, усиливал это впечатление. Она надела его, забежав

под утро домой. Ночью, в кафе, на ней было трикотажное платье bois de rose[1].

— Для балкона нужен костюм. Это куда скромней,— распорядился толстяк.

Она не стала возражать.

По правде говоря, было жаль... Жаль потерянной ночи. Лучше бы выспаться; воспалены глаза, веки тяжелые, точно свинцовые.

А этот толстяк всю ночь болтал, хвастался, раздавал обещания, пил, противно расплескивал вино; два раза она выходила в туалет, он увязывался за ней, хватал ее за грудь, целовал лицо, лапал, что-то нашептывал, но Шаньи благоразумно следил за ними, тут же шел следом и приводил их обратно к столику.

Ночью, по сути дела, надо было выспаться, но они не доверяли друг другу. Боялись, что утром кто-нибудь не придет. И потому решили сидеть в кафе.

На рассвете фоторепортер заказал для всех кислые щи с колбасой. И тут-то вспомнил про суп из вороны.

Возбужденный, он жадно глотал, проливая, горячие щи — жирные капустные листья прилипли к лицу — и с полным ртом тараторил:

— Щи тоже неплохо, щи тоже неплохо, но вороний суп — вот это вещь! Острый вороний суп со сметаной!

Побледневшая девушка в сером костюме, стоя на перилах, склонившись над пропастью,— вздрогнула. Ее опять, как и на рассвете, чуть не вырвало, едва она вспомнила слова толстого фоторепортера.

— Но ворону нельзя ощипывать! — услышала она беспощадный голос, до сих пор звучавший у нее в ушах.— Надо сунуть ей под кожу велосипедный насос, а потом осторожно накачать черную дохлятину. Тогда вместе с перьями сойдет и кожа.

Тут она вскрикнула. Вскрикнула глупо, пошло, как чувствительная мещаночка.

— Живьем надувают ворону?

Толстяк привстал с места и, поклонившись, проговорил:

— С вашего любезного разрешения я сказал: дохлую.

Имре очень любезно пододвинул к ней рюмку коньяка.

— Чего ты задаешь идиотские вопросы?

Она выпила коньяк, хотя перед номером пить было нельзя.

---

[1] Розовое *(фр.)*.

Снова щелчок фотоаппарата. Второй снимок сделан. Донесся голос Имре, потом и Шаньи.

— Готово? — крикнула она им.

— Прыгай! — ответили снизу.

Мгновение, и она бросилась в пропасть.

Я все-таки вернулся в кафе. Пристыженный Николич последовал за мной.

Эта троица продолжала сидеть за столиком, я подошел к ним.

— Зачем вы играете со смертью? — негодуя, спросил я.

— Поймите же... Мы предпочли бы только играть...— тихо сказал один из мальчиков.

— А если бы вы погибли? — довольно грубо спросил я девушку.

— Антрепренер сказал, что может устроить нам ангажемент в Женеве, Неаполе,— вмешался другой мальчик.— Но хорошего номера мало. Нужна еще хорошая реклама с трюком.

— А если бы вы лежали сейчас на асфальте, прикрытая газетой? — снова обратился я к девушке.— Это что, тоже был бы лишь трюк?

Она побледнела.

— Не я придумала, что нужен трюк.

— Так кто же?

— Ты ведь слышал уже... Антрепренер! — пояснил Николич.

— А ты возражал?

— Я?

— Да, ты! Четыре сенсационные фотографии. Подпись: Николич. Ясное дело, для тебя это имеет смысл. Ну а для вас? — напустился я снова на девушку.

— Для меня тоже! — еще больше побледнев, ответила она.

— А лежать под газетой?

— Даже это!

— Вы понимаете, что вы говорите?

— Да.

Я взглянул на нее.

— Тогда почему вы не прыгнули так... Вы знаете, о чем я подумал.

— Нет.

— Так, чтобы потом уже не надо было бежать в ближайшую подворотню стряхивать с себя пыль.

— Чтобы меня прикрыли газетой, так, что ли?

— Вы сами, не я, играли со смертью.

— Я играла со смертью...— Глаза ее горели.— Ну да, играла!.. Ведь я же трусиха. Я хочу жить, потому что жить — прекрасно, но скажите, дают мне жить? Дают? — Теперь она кричала на меня.— Вы напишете статью?

— Нет.

— Почему?

— Потому что это безнравственно.

— То, что мы хотим жить, безнравственно?

— Безнравственно то, что вы так легко готовы были пожертвовать жизнью. И если вам угодно знать, эту безнравственную игру со смертью непозволительно описывать.

— Скажите, что мне было делать? Пробиваться локтями, пойти в услужение или лечь с мужчиной в постель — это, по-вашему, нравственней? Что именно вы не желаете писать о нас?

— Что вы уже сдались. Сдались перед газетой на асфальте.

— Неправда! Неправда!

Парни схватили ее за руку.

— Жофи, не кричи.

Мы молча смотрели друг на друга.

— Скажите, сколько вы весите? — помедлив, изменил я тон.

— Сорок пять килограммов.

— Когда вы приземлились на мостовую, в вас было не меньше трехсот. Знали вы об этом?

Она не ответила, расплакалась.

— Откуда ей знать? — шутливо подхватил Николич.— Она не изучала физики.

Я смерил его взглядом, он замолчал.

— Чего вы кричите? Ну чего вы кричите на меня? — продолжая плакать, спросила девушка.— Если хотите знать, приятного, в самом деле, было мало... Очутившись в воздухе, я почувствовала такое сильное давление, что перепугалась страшно. Никогда не думала, что падение длится так немыслимо долго. Я летела, летела, и был момент, когда показалось — мне конец. Услышала громкий звук, как от удара. И кровь увидела, кровь Шаньи. А подумала, что моя. На мгновение все потемнело вокруг. Но

потом я поняла, что всего лишь ладонями ударилась об асфальт. Поняла, потому что почувствовала боль.

У меня перехватило дыхание, так просто она рассказывала это.

— Правда, вы напишете статью? — Она умоляюще протянула мне распухшую поврежденную руку.

Я осторожно взял ее за руку.

— Мы сделаем иначе... Должны же мы заткнуть за пояс господина Николича.

— Меня? Почему именно меня? — петушился Николич.

— Да, тебя. С твоим вороньим супом и твоими трюками.

— Кто тот антрепренер? — спросил я мальчиков.

Они назвали фамилию.

— Заведующий театральным отделом нашей газеты пошлет ему рекомендательное письмо. Увидите, письмо подействует.

— Йеней порекомендует их? — присвистнул Николич.— Неплохо! В самом деле, неплохо! Глупая моя голова, как я раньше не сообразил!

Я написал только статью о римской колонне. Для них я раздобыл рекомендательное письмо. Но теперь подумал: все же надо о них написать. Об этой хватающей за душу безысходности.

Впрочем, вся история с Николичем, девушкой, балконом, прыжком вспомнилась мне, потому что на прошлой неделе у меня оказалось дело на той улице. Я ходил по ней, задрав голову, искал балкон. Авиабомба попала в дом, разрушила даже стены подвала. На месте дома грязный маленький садик купался в осеннем дожде. Длинные тонкие дождевые нити робкими параллельными линиями протянулись в легком тумане.

Рождество в Бельвароше

Утром начался снегопад. Валил белый декабрьский снег. Сперва появились робкие маленькие пушинки, потом они заплясали все быстрей и быстрей. Словно детская ручонка раскачивала большой колокол. И вместо звона с вышины падал снег. Дул ветер, перемешивая пушинки.

К середине дня два памятника на площади увенчались остроконечной белой шапкой. Им достался первый рождественский подарок.

Часа в три девушка в жеребковой шубке вошла в подъезд огромного богатого доходного дома; в нерешительности остановилась перед будкой швейцара.

— Где живут Гашпарди? — спросила она.

— Второй этаж, квартира номер три.

Швейцар встал; он был одет в темную форму, смахивающую на адмиральскую. Толстяк двухметрового роста, похожий на старую гнилую мачту, чья верхушка вечно теряется в морском тумане и тучах. Еще утром он выпил рождественского рома. Он вышел из стеклянной будки, которую обогревала адски завывавшая небольшая буржуйка. Подслеповатыми глазами посмотрел вслед девушке.

— Холодно! — крикнул он ей вдогонку.

Девушка уже поднималась по лестнице. Она засмеялась, точно услышав удачную шутку. Ее тонкие ножки в шелковых чулках и лакированных туфельках покрылись мурашками. Стало холодно, снегопад прекратился.

В десять минут четвертого она позвонила в квартиру на втором этаже. Горничная тотчас провела ее в маленькую гостиную.

Как раз в это время Генерал проснулся после дневного сна. Генералом прозвали его еще в молодости, потому что

из легиона находившихся у него под началом слов лишь несколько было неругательных.

Теперь уже глубокий старик, он с трудом поднялся с узкой походной кровати. Пока он спал, по уголкам его рта бежала слюна, и подушка под головой стала влажной. Он потянулся за правым шлепанцем, который во время сна свалился с ноги. С отрешенным мутным взглядом посидел несколько минут на краю постели. Наконец понял, что его донимало: мучительный позыв, необходимо было помочиться — и раздраженный пошел в уборную. Вернувшись в комнату, он провел рукой по подбородку. Морщинистая кожа была неколючая, мягкая,— он уже брился утром. От этого открытия настроение у него поднялось.

Стоя у окна, он смотрел на снежную зиму.

— Болван! — буркнул он себе под нос. Внезапно, как фехтовальщик, наносящий удар шпагой.

Прохожий с рождественскими покупками растянулся на свежем снегу. Молодой мужчина. В дряхлом разлагающемся теле Генерала взыграла волчья кровь: кинуться на того, кто упал.

Лишь близкие друзья называли его Генералом. С ним приходилось считаться — ведь он умел разить беспощадно. Два десятка лет ежедневно после полудня итальянский учитель фехтования тренировал его в зале, совершенствуя винтовые удары. От них трудно обороняться: они даже опасней ударов режущих.

— Так или не так?

Ему очень нравилось с простодушным видом задавать этот вопрос. Особенно женщинам. И он повторял его при каждом удобном случае: как концовку коротких историй, за игрой в карты, на скачках, после глубокомысленных поучений.

Долгие годы каждый вечер в фехтовальный зал привозили ему вечерний костюм. Там он переодевался.

Влияние он приобрел разными средствами. Благодаря полученному в молодости отцовскому имению, которым разумно управлял. Потом унаследовал от одной из своих тетушек два доходных дома. Служил он в Вене; носил военную форму: красные брюки, синюю уланку, кивер и лакированные сапоги. В таком наряде прогуливался утром в толпе женщин по городу, залитому весенним светом.

Он был Генерал, герой легенд. Легенды создавали члены клубов, официанты, извозчики, венские разносчики, грумы, ездовые, букмекеры, сводники. Он был высокомер-

ный и раздражительный. Очень тщеславный и злой. У него был свой конек: подкинуть новую идейку, блеснуть удачной фразой. Подобно стареющей актрисе, буквально из кожи вон лез... Отличаясь благоразумием, он берег себя. Никогда не торопился.

— Чем медленней, тем приятней. Так или не так?

То было самое знаменитое его изречение. И он в самом деле свято следовал этому принципу. Так думал и так жил.

Он посещал одни и те же рестораны, где считались с его привычками. Сразу же велел охладить тарелку. Ее клали в холодильник, где она становилась ледяной. «Горячее надо есть с холодной тарелки». Таков был закон. Испуганные официанты мчались к холодильнику. Только в знакомые рестораны мог он ходить — ведь в других его «закон» показался бы вздором. Дальше Вены он никуда не ездил.

— Я живу, как улитка, у меня два дома.

Этой остротой он тоже гордился.

Два улитковых дома: в Пеште и Вене.

Но вот уже несколько десятков лет он жил в своем третьем улитковом доме здесь, в Пеште, с гордостью взирая на две статуи на центральной площади. Он переехал в этот огромный дом, когда его еще только достраивали. «Важно, чтобы никто там не жил до меня. Так или не так?» Он снял в бельэтаже квартиру из пяти комнат; обставить ее поручил именитому художнику-декоратору. Тот долго покупал, заказывал мебель, вешал портьеры, старался изо всех сил. Наконец закончил работу. Приехал Генерал, и декоратор, с волнением ожидая приговора, провел его по всем пяти комнатам. Когда осмотр подошел к концу, Генерал, закурив сигарету, похлопал декоратора по плечу.

— Все превосходно, дорогой господин художник. Но мне не по вкусу.

Из одной комнаты он приказал выкинуть мебель. И водрузить туда застекленные шкафы, а в них выставить кубки, венки, медали, полученные на конских состязаниях и скачках. На стенах он развесил фотографии, изображающие рысаков и группы воспитанников военного училища. У окна поместил письменный стол, в углу узкую походную кровать. Появление железной кровати объяснил так:

— Недурно брать пример со своего императора.

Он имел в виду Франца-Иосифа. Императорскую кровать в Бурге.

А в других четырех комнатах все осталось так, как задумал художник-декоратор. Там ничего не тронули.

Вот что представлял из себя Генерал. Как рыба, он был весь в чешуе блистательных историй, состязаний, дуэлей, громких романов, холодных карточных боев. Между тем сам не заметил, как женился. Произвел на свет двух дочерей, но почти ничего не знал о них. И упорно сохранял свою независимость; в пяти комнатах жил один со своим лакеем. Квартира была полностью в его распоряжении. Изредка он навещал жену и дочерей на улице Галамб. За женой получил в приданое свиную ферму на юге страны. Одна из его дочерей вышла замуж за барона. Лишь когда женщины переехали жить к Генералу, стало очевидно, что он состарился. Это произошло лет десять назад. Железного человека постиг скверный конец: он вдруг согнулся, как складной перочинный нож.

В прошлом году умерла его жена. Последнее время она держала его в строгости, крепко спеленатым, как младенца. Но младенец этот родился с зубами. Подчас он кусался.

Теперь Генерал жил с двумя дочерьми.

— Бедный папочка, он, верно, скучает с нами,— говорила баронесса.

Обе дочери были в разводе, целыми днями пропадали в городе. Генерала держали дома разные болезни: плохое сердце, распухшие суставы, мучительные боли в ногах. И другие недуги, посерьезней. Череп стал у него удивительно маленький, как у ребенка.

— Дайте мне погремушку, что ли! — кричал он иногда своим дочерям.

Девушка в жеребковой шубке терпеливо ждала в маленькой гостиной. Через некоторое время туда заглянула баронесса. Остановившись в дверях, она окинула девушку внимательным взглядом.

— Почему вы сидите в шубе?

— Мне не предложили раздеться,— пожала плечами девушка. Потом в нерешительности встала.— Добрый вечер.

— Добрый вечер,— среди дня, в рано наступивших сумерках кивком головы приветствовала ее баронесса.— Вы получили платье, что я вам послала?

— Да,— ответила девушка.

— Снимите пальто,— распорядилась баронесса.

Она позвонила. Вошла горничная и, следуя молчаливому указанию баронессы, унесла жеребковую шубку. Баронесса щелкнула выключателем, теплый свет разлился по гостиной с табачно-коричневыми обоями.

— Покажитесь!

Девушка вышла на середину комнаты. Она стояла в шелковом платье под шестиствольной деревянной люстрой.

— Жаль, что чулки у вас запачкались. Почему вы не надели сапожки? Их что, нет у вас?

— Есть паршивые,— грубо ответила девушка.

— И сапожки я могла бы вам послать,— от такой неучтивости отпрянув назад, проговорила баронесса. Потом любезно, с теплотой в голосе прибавила:— Вы очень миленькая. Очень мне нравитесь. Спасибо, что пришли.

Девушка скривила рот и ничего не ответила.

Потом они обменялись еще несколькими фразами, и баронесса ушла. Девушка снова села в низкое кресло.

В полчетвертого Генерал случайно открыл дверь в маленькую гостиную. Там сидела девушка в черном платье. Сначала он отступил назад, припадая на одну ногу,— это кое-как удалось ему сделать, но гостья посмотрела на него, и взгляд ее заставил Генерала опять подойти к двери.

— Добрый вечер,— поздоровался он.— Вы кого-нибудь ждете?

— Анну,— неуверенно ответила девушка.

— Мою дочь? — В голосе Генерала прозвучала насмешка.— Баронесса, как видно, еще делает рождественские покупки. А возможно, уже раздает подарки.

Озаренный внезапной мыслью, он вошел в комнату.

— Мы можем подождать ее вместе.

— Вы тоже ждете Анну? — спросила девушка.

Второй раз это «Анна» прозвучало у нее уже увереннней.

Генерал сел подле нее.

— Обычно я не жду Анну. А теперь подожду за компанию с вами.

— Очень мило,— засмеялась она.

— Вы приятельница Анны? — осведомился Генерал.

— Да, приятельница,— слегка помявшись, сказала девушка.

Не долго думая, он протянул к ней руку, девушка испугалась. Но он лишь погладил ее по волосам.

— Красивые волосы. Очень красивые.

— Я мою их водой с лимоном,— смело засмеялась она.
Минут через десять Генерал спросил:
— Не перекусить ли нам чего-нибудь? Можем и выпить. Анна все равно не придет.
— Ой, не говорите так... А то я уйду.
— Но сначала поедим и выпьем.
— Что ж...— Она выпрямилась в низком кресле со спинкой.— Если вам так угодно...
Возбужденный Генерал заковылял к двери; вскоре горничная вкатила маленький раздвижной столик. На нем было холодное мясо, провансаль, холодные грибы, нарезанная кусочками рыба.
— Как вкусно! — захлопала в ладоши девушка.
Она дважды подложила себе на тарелку, икая от газированной воды.
— Человек взаправду точно скотина. Всего норовит ухватить побольше... Давайте выпьем.
Генерал уже много лет не слышал смеха чужой женщины. Ее голос, как чистый спирт, воспламенил его кровь. Он снова протянул руку и теперь схватил девушку за лодыжку. Крепко сжал ее ногу.
— Ой, боюсь щекотки!
— А коленки ваши тоже боятся? — словно ощупывая красивого жеребенка, со строгой деловитостью спросил Генерал.
Еще через пять минут он перешел на «ты».
— Ты датский дог! Молодой дог!
— Да что вы! — Глаза у девушки заблестели.— Это такая огромная уродливая псина? А покрасивей нельзя? Можете назвать меня фокстерьером или какой другой собачонкой поменьше, я не обижусь.
— Ну, тогда фокстерьер! Не возражаю. Хорошенький, с курчавой шерсткой. Ты права, у тебя курчавая шерстка,— с красной одеревенелой физиономией изрек Генерал.
Его пальцы скользнули девушке под мышку.
Но на этот раз она ударила его по руке.
— Вот вам за нескромность!
— Ну, а почему ты развелась с мужем? — чуть погодя спросил Генерал. Он гладил ее по лицу.— Расскажи-ка, пожалуйста. Ведь ты разошлась. Разошлась, не так ли? Все женщины расходятся. И мои дочери тоже...
— Из-за телефона,— отдуваясь, проговорила она.— Тебе, конечно, не понять. Но это правда, я не вру. Из-за телефона. Муж был такой ревнивый, что отключил его. Не

хотел, чтобы у нас был телефон. Чтоб я выходила на улицу. С кем-то разговаривала.

Генерал хлопнул девушку по бедру.

— Не лги! У тебя не было мужа. Ты же девушка.

— Я девушка, милый щеночек.— Она потеребила ему волосы.— Ты прав, я девушка.

Около половины пятого Генерал почувствовал приятное, легкое онемение в теле. Точно он парил в воздухе, но гири тянули его к земле.

— Спать хочу...— кротко пролепетал он.

— Спи же, спи. Нет ничего лучше, чем всхрапнуть часок под вечер.

Кислая физиономия Генерала сразу сделалась сладкой.

— Всхрапнуть? — спросил он с блаженной, счастливой улыбкой.— Так это у вас называется?

— Так, так. Только не болтай много.

Генерал положил голову девушке на колени и заснул. Минут пять она побаюкала его. Потом встала.

Она сделала свое дело.

Девушка в жеребковой шубке не стала ждать баронессу. В прихожей горничная передала ей конверт. Девушка тотчас вскрыла его и сосчитала деньги. Когда она уходила, горничная с презрением смотрела ей вслед.

Спустя некоторое время баронесса позвонила мужу по телефону.

— Благодарю вас, Лаци. Вы устроили все поистине превосходно... Славная была девушка. Не совсем чистоплотная, но вполне подходящая, как раз то, что нужно папе. Где вы ее подобрали? В «Красной лягушке»? Сводите как-нибудь меня в это заведение... Хорошо ли развлекался папа? Превосходно! Я заглянула к ним разок, но они меня и не заметили. А еще говорят, что я плохая дочь. Ну разве не чудесный подарок сделала я папе на рождество? Эстер, во всяком случае, я заткнула за пояс. Она опять подарила ему всего-навсего фирменные сигареты. Ну, Лаци, поздравляю вас с праздником. Не забудьте, завтра вы обедаете у нас.

Вечером снова начался снегопад. Гулкая белизна разлилась по городу. К рассвету синие и красные звезды замерцали на высоком зимнем небосводе.

1944

Томатный соус

Мужчина оторвал взгляд от меню.

— Ракового супа поедим?

— Ой, как вкусно! — улыбнулась женщина.

Она всегда так отвечала ему: «Ой, как вкусно!», «Ужасно хорошо!», «Как хочешь, мой светик!». Мужчина раздраженно смотрел на нее: и эту женщину он любит вот уже полгода? Впрочем, у нее красивые живые глаза, гибкие члены, тонкая молодая кожа. Превратить бы ее как-нибудь ночью в огромного неуклюжего теленка да еще полить пачулями. Лжет ее кожа, и лгут веселые хищные черные глаза; в них сквозит беспечность, они словно бы излучают свет, а где-то в глубине их гогочет гусыня. Напичкать ее надо, откормить, как голодную гусыню.

И раковый суп он предложил из злорадства: ну-ка ешь этот густой, тяжелый красный отвар со сливками, яйцом, маслом; и мясо там есть, выскребленное из раковых клешней, а может, и коньяк; черпай ложкой, жуй, глотай этот «вкусный супчик!».

Он уже любовался женщиной.

А она ела, ни о чем не подозревая.

Потом они заказали жареную утку и смесь разных салатов. Мужчина налил в бокалы красного вина.

— И пирожные будут! — подзадоривал он ее.

— Я лопну,— смеялась женщина.

Слова эти он, разумеется, тоже не оставил без внимания. Он смотрел, как красиво сверкали ее ровные белые зубы. И был горд, как фокусник после удачного трюка. Потом заказал черный кофе. И так как и сам немало съел и выпил, то преисполнился довольства. Глаза его радова-

ла белизна свежей скатерти; женщина щебетала не умолкая, а вокруг ели, смеялись, болтали люди; в битком набитом зале дрожал влажный воздух; мелькали женские лица, обнаженные руки, мужчины в черных костюмах, проворные официанты; и на него вдруг напало великодушие.

— Мне сегодня исполняется сорок лет,— соврал он. И преподнес это женщине, как подарок.

— Дорогой мой! — воскликнула она.— И только сейчас ты говоришь мне это? Как мило с твоей стороны, что ты решил сегодня поужинать со мной.

Этот модный ресторан когда-то был увеселительным заведением. Новые владельцы перестроили, отремонтировали старое, известное кабаре, но оставили ряд лож, снизу и сбоку льющийся свет; лица официантов при таком освещении казались гладкими, блестящими, и какая-то чернота или скорей синева проступала под кожей, словно всех их били по лицу и синяки еще не рассосались.

Мужчина откинулся назад на удобном мягком стуле. Посмотрел на ужинающих в ложах, потом на соседей.

Поблизости сидело трое мужчин, они тоже окинули его взглядом.

Он тут же отвел глаза, троица эта почему-то ему не понравилась. Один из них, с квадратным подбородком, в синем костюме, похож был на боксера. Тот, что сидел посередине, поглаживал свое конопатое лицо. Третий ехидно улыбался и, словно в унисон улыбке, кивал головой.

— Еще один черный кофе,— поймал спутник женщины пробегавшего мимо официанта.

— Сейчас пришлю целую бочку! — И официант помчался дальше.

Но подали им не черный кофе.

Официантка, разносящая хлеб, подошла к ним и поставила на столик белую тарелку с круглой румяной булочкой.

— Что это? — Мужчина дружелюбно поднял на нее глаза.— Булочка не нужна. Пусть принесут кофе.

Но официантки уже и след простыл.

Тут он заметил: на тарелке, рядом с булочкой, лежат визитные карточки. Три большие карточки. Он взял одну в руки и с удивлением прочел странно звучавшую фамилию. Внизу стояли два слова: «Съесть немедленно!»

Они были нацарапаны карандашом, слово «съесть» выделено и даже подчеркнуто.

— Что это? — склонилась к нему женщина.

Он поспешно придвинул к себе две другие визитные карточки, инстинктивно прикрыл их левой ладонью.

— Ничего.

Они смотрели в упор друг на друга; женщина засмеялась нарочито громко.

— Ладно, ладно, я не выведываю твоих тайн.

Потом мужчина все-таки взглянул на эти визитные карточки; на одной было написано: «Мы вас приперли к стене», на другой: «Иначе будет плохо!»

— Ты их знаешь? — Женщина смотрела на боксера в синем костюме.

— Я? — глупо увиливая от ответа, запинаясь, проговорил ее спутник.— Я?

И вдруг почувствовал, что его сейчас вырвет.

Трое мужчин, несомненно, были пьяные. Крепко, нагло, чудовищно пьяные. Тот, что недавно еще улыбался и кивал головой, теперь пристально, холодно смотрел ему в лицо. А боксер в синем костюме кивал. Только конопатый по-прежнему поглаживал себе физиономию; все трое уставились на него; боксер указательным пальцем ткнул в сторону булочки.

— Что им надо? — с трепетом спросила женщина.

Тут ослепительный свет затопил ресторан. Он полился сверху подобно ливню. Мужчине казалось — все уставились на них: и первый скрипач цыганского оркестра в углу, и дама с соседнего столика, и старший официант у двери. Женщина тоже прочитала визитные карточки, побледнела.

«А она порядочная! — взглянул на нее мужчина.— Как-никак порядочная, честная, солидная женщина». Он стал вдруг чувствительным и беззащитным, как мальчик; ощутил себя совсем маленьким; жалко, недоуменно посматривал по сторонам, за чью бы спину спрятаться? Зажмурить бы глаза, зарыться в перину, укрыться в мягких перьях.

Мечтая о перине, он остановил свой мигающий, туманный взгляд на конопатом. У того был небрежно повязан широкий черный шелковый галстук с косыми полосками. Одна из пуговиц на пиджаке блестела так, словно к костюму пришили осколок зеркала. Робкий взгляд не смягчил конопатого.

— Ну, так что же будет? — резко, решительно бросил конопатый, словно теннисный мяч просвистел в воздухе. Произнес он это громко, чуть ли не прокричал.

«Что же будет? — терзался мужчина.— Что же будет?»

Наконец он поднялся,— ну и пусть скандал! Готовый завыть, с надеждой огляделся по сторонам, потом взял румяную хрустящую булочку и сердито, но слабо, неуверенно бросил ее в троицу.

Они вскочили; с трех-четырех соседних столиков в недоумении поднялись посетители. Возле мужчины и его дамы уже стоял старший официант, другие официанты тоже сбежались туда. По залу пронесся шум, словно упала тарелка. В далеком углу какой-то старый господин с любопытством, вызывающе спросил:

— Что случилось?

— Видно, искупали кого-то,— ответила ему шумная, веселая компания.

Старый господин успокоился. В том углу происшествие тут же забыли.

Троица высокомерно поднялась с места. Уверенно прошла гуськом мимо цыган; конопатый возглавлял шествие. Младший кельнер распахнул перед ними дверь.

— Давай посидим,— задержала бросившего булку побледневшего мужчину его спутница.— Давай еще посидим.

С соседних столиков четверо-пятеро посетителей с любопытством воззрились на оробевшую пару; мужчина налил вина женщине, потом себе. Выпил и почувствовал: хоть руки и не дрожат, горло сжалось, сведено судорогой. К их столику подошел старик официант.

Постояв с минуту молча, он заговорил:

— Вы изволите знать тех трех господ?

— Нет,— хрипло ответил мужчина.

Высокий официант стоял такой унылый, поникший, точно его повесили на вешалку.

— Жалко... Я мог бы сказать...

— Что сказать? — агрессивно вскинул голову мужчина.

Старик сметал на тарелку крошки со скатерти.

— Вы в самом деле не изволите знать господина в синем костюме? Господина старшего лейтенанта в отставке... Ему пришлось распрощаться с солдатами после того, как он надавал одному парнишке оплеух. А потом прика-

зал его связать... Парень вскорости повесился. Вот так...— Он кончил сметать крошки и опять стоял без дела.— А конопатый? Вы, должно быть, слышали его фамилию. Собаки конопатого загребают все медали. На горе Геллерт у него большая дрессировочная школа.

— Мы не собираемся покупать собаку,— сдерживая волнение, сказала женщина.

Официант сохранял невозмутимость.

— Очень жаль, сударыня. Все влиятельные дамы покупают у него собак.— Подобно святому Франциску, беседовавшему с птицами, старик продолжал в задумчивости: — А молодой человек — его превосходительство господин К...

— Послушайте! — вскочил раздраженный мужчина.— Зачем вы это говорите? Какое мне дело до его превосходительства господина К., господина старшего лейтенанта и этого третьего... как бишь его фамилия?

— Вы изволили бросить в них булкой... Напрасно, осмелюсь заметить... Булку надо бы вам съесть...

Мужчина чуть ли не дрожал от негодования.

— Пусть не посылают мне булок!

— Прекрасно сказано, мой дорогой,— одобрила женщина.— Пусть не посылают нам булок.

— Что вы от меня хотите? — набросился мужчина на старика.— Зачем выгораживаете их передо мной?

— Они ждут вас, сударь, в гардеробе,— моргая пробормотал официант.— Послали меня сюда. Велели передать: пусть будет любезен к нам выйти.

— Нет! Нет! Не ходи! — тут же вскочила с места женщина.

— Всего лишь на минутку,— передал до конца поручение старик.

Мужчина испугался, в растерянности посмотрел по сторонам.

— Я хотел бы поговорить со старшим официантом.

— Пройдите в кухню,— просто сказал старший официант. Мужчина тупо уставился на него.— Удалитесь черным ходом. Избегнете драки и скандала.

Счастливый мужчина вздохнул с облегчением. Разумеется, черным ходом — какое простое и остроумное решение. Найден наконец разумный выход, удастся избежать скандала, перебранки, спора, а то и потасовки в гардеро-

бе; бой, начатый визитными карточками, прекратится, он преспокойно уйдет черным ходом.

В нерешительности он направился за своей спутницей. Но другой официант уже вел ее к нему. Мужчина с дамой спеша, спотыкаясь, спустились на четыре ступеньки, прошли короткий коридор, два лестничных пролета,— на углу он расплатился со старшим официантом,— вот наконец и кухня.

Наступила тишина.

Спасающийся бегством мужчина обернулся,— где женщина? Ее не было. И тут он увидел их. И сразу понял: старший официант и старик заманили его в ловушку. Оба они были в сговоре с этими негодяями. На середине кухни стояли трое мужчин: боксер в синем костюме, конопатый и кивающий головой. Они ожидали его. Женщину официанты куда-то увели.

— Нагнись! — как бы скомандовал конопатый.

Мужчина ощутил вдруг страшную усталость, стал кротким и покорным. Боксер в синем костюме и тот, кто кивал, решительно схватили его: один вцепился в плечо, другой в затылок. И окунули его головой в какую-то кисловатую, густую жижу. В ведре на полу остывал томатный соус. В это ведро его и окунули головой и даже дважды.

Они и не думали злиться. Были довольны и счастливы, жестоки и ретивы. Им всего лишь хотелось слегка поразмяться.

Когда мужчина после купанья выпрямился, томатный соус, как маска, скрывал его лицо; несколько тонких струек стекали по рубашке и пиджаку.

Конопатый почти дружелюбно взглянул на него.

— Это не кровь,— сказал он с теплотой в голосе.— Нечего бояться...

Мужчина и на улице продолжал вытирать лицо. Шляпа его затерялась где-то, пальто ему швырнули. Был теплый весенний вечер. Он стоял один в темном узком переулке.

1943

Приказ

Летом 1944 года ночью, в половине второго, в кабинете врача очень громко зазвонил телефон. От этого звука темная комната сразу приобрела центр тяжести. Аппарат стоял на низком столике возле окна; комната вдруг накренилась туда, как весы, когда на одну из чаш бросают гирю. Телефон все звонил, равнодушно, неумолимо, агрессивно. Мебель, которая, растворясь в густом мраке, раньше казалась бесплотной, теперь снова обрела свою первоначальную форму. Книжные шкафы, наклонившись вперед, напряженно прислушивались к резкому звонку; заблестели шестигранники люстры. Комната затаила дыхание; тревожное ночное ее сердцебиение замерло. Только телефон звонил все отчаянней, словно у него подскочило кровяное давление.

Доктор спал на диване. Он слышал первую атаку телефона, но усталый мозг оборонялся, и потому безжалостный звонок он вплел в свой сон. Ему снилось, что уже утро, противный рыжий почтальон стоит в дверях прихожей, он принес письмо, и глупая служанка развлечения ради, хихикая, нажимает на кнопку звонка. «Я выставлю этого почтальона, нилашиста, негодяя,— подумал он во сне, но только махнул рукой — он был страшно утомлен.— Завтра проберу его...» Потом он, юный гимназист, сидел в санях, его везли к тетушке на рождественские каникулы, на дугах у лошадей заливались колокольчики, он целиком завернулся в полог; стояла зима, но в меху ему было мягко, тепло...

Колокольчики все звенели,— голос их отливал металлическим блеском, как операционный нож. Он прорезал оба сновидения, вонзился в роговицу,— да, уже глаза его жег этот звук. Становился все мучительней, внятней.

Продолжая слабо сопротивляться и борясь с сонной

одурью, доктор стал наконец просыпаться. Звук постепенно испарился из его глаз; телефон трясся, словно его недавно прогнали из комнаты и с отчаяния в диком страхе он только что впрыгнул обратно через открытое окно.

— Черт подери! Кто этот болван?

Доктор выскользнул из-под легкого летнего одеяла, с раздражением подозревая, что кто-то ошибся номером. Но что поделаешь, надо подойти к столику, заткнуть глотку этому мерзавцу.

Он зажег свет, надел домашние туфли, потом схватил трубку, закричал:

— Алло! — И, не ожидая ответа, закричал еще громче: — Алло! Доктор Герендаи слушает!

Он надеялся, что трубку тотчас же положат.

Но не тут-то было.

— Почему вы так долго не подходите? — раздался знакомый голос.— Я вам звоню, вы обязаны немедленно подойти к телефону. Понятно?

Это был директор больницы, Дюла Вальдер. Его начальник.

В ушах доктора не отзвучал еще пронзительный телефонный звонок. Теперь неумолимый голос словно пересчитывал ребра, странно сжималась грудь.

— Здравствуй, Дюла,— дружески приветствовал он Вальдера.

— Вы проснулись? Окончательно проснулись?

Голос по-прежнему звучал агрессивно, грубо.

Доктор вынужден был заметить: директор уже второй раз обращается к нему на «вы». К чему бы это?

И тут услышал:

— Ну, разумеется... Лентяи, дрыхнут всю ночь напропалую!

— Я едва успел прилечь...— все еще сонный и растерянный, смущенно запинаясь, пробормотал он.— У нас недавно прекратилась воздушная тревога. Три часа в подвале просидели.— Поколебавшись, он прибавил: — Ты тоже?

Как он отреагирует на это «ты»?

— «Ты тоже»... «Ты тоже»... Сейчас не до частных разговоров! Записная книжка при вас?

Этот Дюла Вальдер на десять лет моложе его. Хилый, невзрачный, с водянистыми глазами навыкате. Еще недавно он был никому не известный тридцатилетний докторишка. Но вдруг дядя его, энергичный и нечистый на руку адвокат, заделался государственным секретарем. Быст-

рое его возвышение напоминало военную карьеру,— в этих Вальдерах точно работал авиационный мотор. Они жаждали власти,— любой ценой. Жаждали страстно и действовали без промедления. Вскоре государственный секретарь получил для своего племянника место директора больницы.

Герендаи помнит... Когда Дюла Вальдер, этот общипанный петух, появился в больнице, он на первых порах был мил и любезен, жал всем руки, охотно болтал. Так началось,— он словно обволакивал всех чем-то вязким, густым... А потом... Больницей Вальдер занимался мало, но постоянно суетился, устраивал какие-то дела — словом, работал. Организовал цикл лекций, основал общество врачей. Призывал медиков и пациентов к товарищескому сотрудничеству. «Я добиваюсь, чтобы к врачу ходили здоровые люди,— заявлял он.— Предупреждать и предупреждать — вот минимальное требование!» Был у него еще лозунг: «Давайте не болеть, будем здоровы!» Предупреждать и предупреждать — над этим много тогда смеялись.

Но в дверь уже стучалась война, наступили суровые времена, и потому смеялись с оглядкой — так с оглядкой курит сигарету гимназист: в любую минуту готов погасить ее в кулаке. «Тебя, дорогой Кальман, тоже предупредили!» — подшучивали над хирургом Хидашем, который до Вальдера исполнял обязанности директора, и все ждали, что именно он в конце концов возглавит больницу.

Вальдер скользил, цеплялся и сползал вниз, как паук при свете лампы; он, как паук, вечно ткал какие-то сети и плел паутину. Он обсуждал с коллегами задачи военной санитарии, а через полчаса уже болтал с истопником. Принимал в больнице начальников министерских отделов, а детей и жен государственных секретарей помещал в особые палаты,— во время бомбежек в больнице святой Агаты было куда безопасней, чем в подвале жилого дома.

Но чего ему вздумалось позвонить вдруг ночью, в половине второго? И что за оскорбительное «вы» по отношению к нему, Герендаи, обладателю аристократической фамилии? Несмотря на свою бесцеремонность, директор прежде обращался с ним почтительно. Правда, в присутствии посторонних любил фамильярно хлопнуть по спине, но тут же брал его под локоть, куда-то тащил по коридору, жал руку, что-то с жаром втолковывал, хотя что именно, Герендаи никогда не мог понять.

— Записная книжка при вас? — продолжал Валь-

дер.— Надеюсь, вам известно, что врачу нельзя расставаться со своей записной книжкой?

Раньше в трубке что-то бессмысленно и сердито трещало, а теперь голос зазвучал чисто и решительно.

— Запишите, господин доктор. Завтра в семь утра глазной кабинет... вы хорошо слышите? — чуть ли не по слогам диктовал Дюла Вальдер.— Итак, повторяю, завтра, в семь утра, я приказываю вам перевести глазной кабинет со второго этажа на первый.

Доктор Герендаи так оторопел, что не мог даже пошевельнуться; он опять не понял Вальдера. Не понял ни единого слова. И в оцепенении молчал. А тот, словно ему возражали, а он давал отпор, в бешенстве закричал:

— Куда, спрашиваете? Разумеется, на первый этаж в третью комнату! Вчера я освободил ее. Для вас освободил, туда и перебирайтесь.

В самом деле, вчера лабораторию перевели в подвал; медицинская сестра и помощник врача утром обсуждали это, но Герендаи не стал прислушиваться. Его нисколько не интересовало, что будет с лаборанткой. Впрочем, поговаривали, что Юлия Рехак — любовница Вальдера. «Лабораторию переселили из-за любовных дрязг,— с удовлетворением как бы между прочим подумал он вчера утром.— В таком случае, лучше и впрямь носа не совать».

Сейчас Герендаи остолбенел: и его переселяют? Он должен перевести глазной кабинет на первый этаж в третью комнату? И вдруг услышал, как кто-то заикается. Это был он сам, спросивший:

— Глазное отделение тоже?

— Вы слушаете меня, господин доктор? — запальчиво отозвался невидимый Вальдер.— Записываете мои слова? Не об отделении мы толкуем. Отделение остается на прежнем месте. Речь идет только о вашем кабинете!

Стоя возле телефона в ночной сорочке и домашних туфлях, расстроенный Герендаи стряхнул с себя сонливость.

— Оторвать амбулаторный кабинет от стационара?

— Оторвать? — Далекий голос прозвучал насмешливо.— Вы сказали, оторвать? Неужели не понятно? Идет война... Идет война! — взвизгнул Вальдер.— Ясно? Война. Континенты, страны отрываются друг от друга... А вас огорчает этакий пустяк? Любовь к комфорту, видите ли, эгоизм! Но я не могу считаться с чьими-то удобствами. Вам приказано переселиться! Понятно? Записали? Возражений не потерплю! Переселиться!

Выпрямившись, Герендаи окончательно проснулся и почувствовал прилив энергии.

— Дорогой Дюла, твое желание... не сердись на мою откровенность... ты сейчас дал указание... еще раз прошу, не сердись, но я должен сказать... твое желание почти абсурдно. Мы не можем оторвать амбулаторный кабинет от больничных палат. Да в этом и нет необходимости, потому что...

Тут он запнулся. До него долетел голос директора, мрачный, угрожающий, как распростертые орлиные крылья.

— Довольно! Хватит! Прошу не возражать! Я человек снисходительный и последний раз повторяю: завтра утром, господин доктор, вы переведете кабинет со второго этажа на первый. Запишите! Переселением займетесь вдвоем: вы и ваша жена.

— Моя жена? — У Герендаи пресеклось дыхание.

— Да! Вы и ваша жена!

— Но, Дюла...

— Это категорический приказ!

Доктор присвистнул.

— Моя жена, ты полагаешь?..

— Ваша жена,— лишь так можно обеспечить личную ответственность заведующего отделением. Идет война! До вас не дошло еще, видно, что идет война! Все люди ответственны! Итак, запишите! В семь часов вы явитесь в больницу, вы и ваша жена... Перенесете сообща все имущество! Сообща! Только при этом условии я могу быть спокоен. Совместная работа научит вас осторожно обращаться с инструментами.

— Но есть санитары...

— Нет ни санитаров, ни медицинских сестер, ни помощников врачей! Все на своих постах! Вы вдвоем займетесь переселением! Идет война, пора покончить с буржуазным комфортом, изоляцией! Я точно все рассчитал: за час вы справитесь, ваша жена уйдет, и вы начнете прием на первом этаже.— Вальдер с трудом сдерживал раздражение.— Нет, нет и нет! Не спорьте и никаких объяснений! Я признаю лишь ответственность заведующего отделением. Еще раз повторяю: вы за все в ответе. И не думайте возражать... Все возражения я рассматриваю как саботаж! Действуют законы военного времени; я соблюдаю эти законы и других заставлю соблюдать их! Ну, записали? Усвоили? Саботаж!..

Герендаи еще долго не выпускал из рук трубки; потом вспомнил, что Вальдер при слове «саботаж» разъединил телефон. Продолжая стоять в оцепенении, он наконец положил трубку. Нет, понять это невозможно! Непостижимо: в семь утра... его жена... саботаж...

Страшная какая-то история.

Он уставился в проем открытого окна. Ночь была совсем темная, воздух накаленный, грязный. Этой густой, тяжелой бурдой приходилось дышать. По проспекту Музеум неслись друг за дружкой две машины; колеса и тормоза издавали вдвое усиленный звук. Герендаи испугался: открыто окно. Разговор происходил у открытого окна.

Прислонившись к оконному косяку, он осторожно выглянул на улицу. Напротив высились стены Музейного парка, разбухшие в тишине каменные глыбы. Виден неосвещенный угол здания... Тьма, мрак, неподвижность. Всюду открыты окна, в комнатах спящие люди... Всюду, верно, уже спят, и он спал, пока не разбудил его этот проклятый телефонный звонок. Впрочем, ничего такого он не говорил... его слова превратно не истолкуешь.

Доктор посмотрел вниз, в самую глубину.

Улица была ровная, безлюдная.

Надо поговорить с женой...

Сначала он прошел в ванную, глянул на себя в зеркало, потом надел халат. Этот обшитый синей тесьмой балахон из сурового полотна, немного помятый, с пятнами высохшей мыльной пены от бритья, болтался на нем, как на вешалке. Взъерошив волосы, доктор вышел из ванной.

В квартире было четыре комнаты. Кристина спала в самой дальней; там, уединившись, проводила она почти все время. Она терпеть не могла его больных, кабинет, служивший одновременно приемной, но и через большую комнату, где ждали обычно пациенты, она шла, подавляя в себе отвращение, ничего не касаясь, точно мебель была заразная, чумная. Так бы, кажется, и развесила повсюду колокольчики. «Тут все заражено трахомой и покрыто язвами. Фу, почему ты стал окулистом?» — без конца твердила она.

Кристина спала.

Он постоял над спящей, нежно коснулся ее обнаженного плеча, тихо позвал:

— Кристина...

Она пошевельнулась, но глаз не открыла.

— Нет! — полусознательно, сердито проговорила она.

Доктор молчал. О чем она? Ведь ей же еще не известно, что в семь часов утра они должны быть в больнице.

Свет, бьющий с потолка,— он зажег его — настойчиво будил Кристину, но она продолжала сжимать веки.

— Перестаньте! Три часа в подвале, а теперь еще с вами... Извращение какое-то!

Только теперь он понял. О да, в ее искренности он не сомневается... Два чувства смешались в нем: возмущение и боль. Нет. Почему, собственно, нет? А если у него возникло бы желание именно сейчас, после звонка Вальдера? Но два чувства, как облака, уплывали, принимая новую форму: сожаление и неловкость.

«Бедненькая чистюля! — подумал он.— Это тебе не трахома. Тебя ждет нечто похуже трахомы!» А потом ему стало страшно: как сказать ей?

Он не прореагировал на беспричинный протест жены, все еще лежавшей с закрытыми глазами. Помедлив немного и не придумав ничего лучшего, он пододвинул к кровати кресло, тяжело опустился в него и чуть наклонился вперед, точно готовясь к длинному разговору.

— Вальдер сошел с ума,— пробормотал он возмущенно, сердито.

Кристина села в постели. Так делают физкультурные упражнения: напрягая все тело, выпрямив спину.

— Кто?

— Дюла Вальдер.

Она заговорила снова лишь спустя несколько минут; глаза ее между тем окончательно раскрылись, темные зрачки, красивые, как у кошки, расширились.

— И поэтому вы будите меня среди ночи? Откуда вы это взяли? Мысли о Вальдере мешают вам заснуть? Но я-то при чем?

— Дорогая моя...

Он смотрел на жену. И думал о том, что есть слова, которые, подобно веществам, обладают радиоактивностью. Чем так раздражена Кристина? Ничего еще не знает, а уже раздражена. Подозревает что-то, невидимый луч коснулся ее, жжет...

— Вальдер звонил по телефону,— начал он.

— Сейчас?

— Да, сейчас. Мы только что кончили говорить.

— Который час?

— Без четверти два.

— Но ведь звонить нельзя еще.

В самом деле, после воздушного налета целый час запрещалось пользоваться телефоном. Но то был какой-то странный налет, несколько самолетов покружили над городом, не сбросив ни одной бомбы.

— Разговор был служебный. Служебные разрешают.

— Служебный? Среди ночи?

— Я говорю вам, Вальдер сошел с ума. Он требует, чтобы я завтра перевел глазной кабинет на первый этаж... на первый этаж в третью комнату.

— Ну и что? Переведите!

— Неужели вы не понимаете? В самом деле не понимаете? Нельзя же амбулаторию оторвать от стационара!

— Тогда скажите ему: нельзя. И кабинет останется на прежнем месте.

— Но не могу же я не считаться с тем, что его дядя... его дядя — государственный секретарь. Все же надо как-то подумать...

— Что вам до его дяди? — Наклонившись вперед, Кристина дернула прикрывавшее ее одеяло. Видно стало, что волосы ее слегка растрепались, и по этим растрепанным волосам пробегали рыжеватые искорки негодования.— Экая невидаль, государственный секретарь... И они двуногие, и племянники их люди как люди. Уверяю вас, когда они появились на свет, позвоночник у них был не тверже, чем у будущего врача окулиста.

Несмотря на смущение, доктор чувствовал приятное, сосудорасширяющее действие своего превосходства и осведомленности. Ну, конечно, «экая невидаль, государственный секретарь». Героиня исполняет арию гордыни, высокомерия. Начинается спектакль... Отец Кристины был начальником министерского отдела, дед с отцовской стороны — высокопоставленный государственный служащий, с материнской — военный, обедневший австрийский барон. Его хотят проучить, как котенка, которого без конца тычут носом в крохотную лужицу на паркете... Но Герендаи смирился с аристократической, сановной спесью жены; какое красивое у нее еще тело, какая она высокая, стройная, какая изящная линия спины, бедер, рук; даже пальцы на ногах длинные! Кристина не выглядела юной, не была гибкой, как тростинка, но высокомерие делало ее, тридцатипятилетнюю женщину, выше ростом, моложе...

Вдруг он почувствовал укол в сердце: неужели его жене придется завтра утром перетаскивать из глазного кабинета таблицы и инструменты? Нет, нет, требование Вальдера — крайняя, недопустимая наглость! Но что нашло на этого негодяя? И это обращение на «вы»!

— По какому праву этот субъект среди ночи отдает вам приказания? — услышал вдруг доктор голос жены.

— До сих пор такого не бывало,— ответил он.

Во взгляде Кристины проскользнуло любопытство, этакий прощупывающий лучик.

— Он и в самом деле вызвал вас? Вы меня не дурачите?

Доктор сразу стал беспомощным и смиренным.

— Я не шучу, дорогая. И сам не знаю, что на него нашло. Ведь он еще потребовал...

— Что именно?

— Чтобы вы помогли мне...

Выговорил наконец. Очень тихо.

— Я? — все еще не понимала Кристина.

— Да.— Герендаи запнулся, испарина покрыла его лоб.— Он хотел, чтобы мы вдвоем... только мы вдвоем... Чтобы мы перенесли все вниз.— Голос его сразу зазвучал громче, слова точно закачались в воздухе.— Извращение... да, вы правильно и метко заметили... извращение, и ничего больше.

— Неужто мне идти в больницу?

— Да.

— Перетаскивать вниз... Что там стоит у вас? То огромное зубоврачебное кресло?

— Не зубоврачебное... Офтальмологическое кресло для исследования больных.

— Застекленные шкафы, столики... И все это переносить мне вниз?

Спазма свела ему горло.

— Фриц проклятый,— пробормотал он.— Не пойму его, никак не пойму...

— Неужели мне мыть пол?

— Не преувеличивайте, Кристина!

— Что вы ему ответили?

— Вальдер уже давно бесится... К нему не подступишься. Вчера он так отчитал Хидаша...

— Что вы ответили Вальдеру? — закричала жена, и ему показалось, что поблизости прогремел выстрел.— Скажите немедленно, что вы ему ответили!

Герендаи пришлось встать с кресла.

— Я ничего не мог ответить. Говорил только он. Я дал ему выговориться. Немецкая свинья! И дядя его немецкая гадина! Мерзкая свинья! Но скоро им придет конец! Скоро они сгинут! И тогда...

— Короче, вы промолчали.

— Я не промолчал. Но уклонился...

Кристина сбросила с себя одеяло, до бедер обнажились ее красивые, стройные белые ноги. Она вскочила с кровати. И стояла, похожая на фаянсовую статуэтку, только что вынутую из печи. Ее дыхание, тело сразу стали горячими. Каждый изгиб дышал жаром и пламенем. В теле ее словно расплавилась страсть. К ней страшно было прикоснуться.

Но муж прикоснулся к ней.

— Орлица моя...

В последние мгновения жестокой, цепкой, задыхающейся в муке любви родились эти ласковые слова; в те минуты они были пряные, обагренные кровью. А сейчас прозвучали как-то приторно, жалко, неуклюже.

Кристина накинула на себя длинный зеленый халат, от подбородка до лодыжек закуталась в облегающую тело легкую материю. Стала призрачно тонкой, как незажженная большая церковная свеча.

— Вы трус,— с отвращением проговорила она.

— Не оскорбляйте меня.

Он глубоко вздохнул, побледнел еще больше.

— Вы червяк! Гадина! Жаба! Глист!

На него нашло помрачение, которое он знал по мгновеньям любви, когда чувствовал унижение, счастье и муку.

— Вашу жену хотят использовать как прислугу, и вы не возражаете? Вместе со мной собираетесь мыть пол, перетаскивать вещи?

— Вовсе не мыть пол...— прервал ее мертвенно-бледный доктор.

— Вы молчите, когда вашей женой командуют, как вздумается? Кто ваша жена? Прачка? Служанка? И когда я должна явиться? Ночью? Может быть, господин директор желает со мной поразвлечься? Отвечайте! Хоть мне отвечайте!

Муж попятился — перед ним вытянулся готовый к нападению удав.

— Не ночью... В семь утра... И мы вдвоем... мы одни... Больше никого там не будет.

— В семь утра! — воскликнула жена.— Почему в семь? Почему не сейчас, немедленно? Почему?

Распахнув полы халата, она показала свою обнаженную грудь, живот.

— В таком вот виде!

— Кристина... Кристина...— пролепетал Герендаи и, спотыкаясь, пошел к ней, словно взгляд змеи звал его в свои сжимающие объятия.

— Вы бы не стали протестовать, если бы меня топтали, оскорбляли. Вы преспокойно пожертвовали бы мной, только бы вы... ваша работа... честь... карьера... только бы это не пострадало. Отвечайте! Я требую от вас ответа!.. Вы пошли бы на то, чтобы я отдалась ему? — Она схватила мужа за руку.— Правда пошли бы? — И вдруг, покачнувшись, упала без чувств.

Муж тотчас подхватил ее. Тело было такое горячее, точно его держали над огнем. Кристина не плакала, она дрожала, то и дело вздрагивая. Муж обнял ее, робко поцеловал. Потом вдруг обнял крепче. Стал целовать ее бесчувственное лицо.

— Ты... ты!..

Глаза приоткрылись. Какая-то искорка вспыхнула во взгляде, зеленая и коричневая. Жгущий его огонь, в который он погрузился счастливый...

Через полчаса доктор сидел на краю дивана. Кристина, вытянувшись в струнку, до подбородка закрытая, лежала в слабом желтом свете торшера.

Сжимая руку жены, Герендаи медленно, обдуманно говорил:

— Знать бы только, что за всем этим кроется. Ведь негодяй Вальдер что-то скрывает... Таит что-то, как бог свят! Я так и не понял, почему он называл меня на «вы». Он... меня... Скажи он мне такое в глаза, я тут же дал бы ему по морде! Избил бы нахала. Но зачем ему все это? Ты понимаешь?

Кристина молчала. Теперь лицо ее скрывала маска простодушия.

— И как я могу перевести кабинет? — продолжал размышлять доктор.— А потом что же — на первом этаже осматривать больных, а на втором лечить... чепуха какая-то! И перетаскивать имущество — мне вместе с то-

бой... Ни с кем другим, только с тобой! Только ты и я... Мы вдвоем! Не санитары, не медицинские сестры... ему нужны мы с тобой. Личная ответственность заведующего отделением и тому подобные глупости... Что может за этим крыться? Ты находишь какое-нибудь объяснение?

Он еще раньше принес из другой комнаты коробку сигарет, а теперь закурил; не торопясь, пускал струйки дыма.

— Подожди, подожди-ка... Я, кажется, догадываюсь... Ему хотелось оскорбить меня! Чтоб я взорвался. Он только и ждал, что я взорвусь. И на «вы» называл. И это переселение затеял. Дьявольская мысль заставить тебя перетаскивать периметр, стерилизатор, шкафы. Он полагал, что я буду протестовать. Наглая гадина! Идет война, кричал он... изоляция... Кто не подчиняется, тот саботирует. Раз пять повторил, что это саботаж. Думал, попадусь на удочку. И тоже буду кричать. Не командуйте, мол, моей женой. Но старик ошибся! Жестоко ошибся! Именно этим он и выдал себя, разговорами о войне, угрозами...— Он выпрямился.— Теперь-то уж я знаю, чего он добивается. Понял, что он замышляет. Но нет, дудки, не выйдет!

Герендаи опять подсел к жене, склонился над ее лицом. Сигарету загасил в пепельнице.

— Он хочет, чтобы меня призвали на военную службу,— перешел он на шепот.— Сейчас как раз пришло время продлевать освобождение, и он надеялся вычеркнуть меня из списка. Найти предлог, повод для отмены освобождения. Если бы я заявил, что не стану переводить кабинет, что ты не прислуга в больнице Святой Агаты... да, скажи я это, представляю, с каким торжеством набросился бы он на меня: «Ах так, господин доктор, не желаете признавать законы военного времени? Уклоняетесь? Саботируете? Не допускаете к общественной работе свою жену? Так вы злостный нарушитель. Вам место на фронте!» Да, так бы он кричал. Но Вальдер просчитался! Жестоко просчитался! Напрасно он ждал, что я буду протестовать. Я молчал, разумеется. Всегда надо прежде оценить ситуацию... Ты слушаешь? — наклонился он к жене.

— Да,— тихо ответила она.

Доктор удовлетворенно потянулся.

— Мы, конечно, придем завтра утром в больницу. Придем еще до семи. Увидишь, то кресло не такое уж тяжелое... А остальное — детские игрушки. Несколько ящи-

ков с линзами, таблицы. Эта мерзкая гадина, вероятно, будет подглядывать за нами. Может проверить нас в любое время... Что ж, мы будем таскать, будем работать! — Он склонился к самому лицу жены.— Ну, ты не отказываешься, моя дорогая?

— Нет,— крепко сжав ему руку, тихо ответила она.

Четверть седьмого они принялись за дело, четверть девятого кончили. Потом Кристина пошла домой.

В одиннадцать часов взволнованный доктор позвонил ей по телефону.

— Кристина, это ты? Представь себе...— кричал он в трубку.— Представь себе, Вальдер сошел с ума!

Тут в возбуждении он так сильно дернул шнур, что телефон разъединился. Он снова стал лихорадочно набирать номер, набрал один, два, пять раз, пока не услышал наконец длинные гудки. Кристина подняла трубку.

— Дорогая Кристина, ты хорошо меня слышишь? Короче, Вальдер сошел с ума! — Он стремительно повернулся, чуть не опрокинув аппарат.— Представляешь, он впрямь сошел с ума! Вчера ночью звонил мне уже сумасшедший. Рехнулся от бомбежек, помешался от страха. Трус! Трусливая гадина! Гадина! — Слова эти сами навертывались ему на язык.— Жаба! Глист! Боялся, как бы бомба не расплющила ему череп... Как мы узнали? Да очень просто... Четверть девятого его еще не было в больнице, ты же знаешь. Около десяти он явился. Принес с собой маленький топорик, размахивал им. Но это еще никому не бросилось в глаза. Потом он стал ходить по всем отделениям, колотить в двери. Топорик маленький, щепу таким колют... Потом принялся диктовать какое-то письмо своей секретарше; после каждого слова ударял топориком по столу, где стоит пишущая машинка. Наконец секретарша с криком выбежала из комнаты. Он за ней... В дверях стоял санитар. Вальдер замахнулся на него топориком. Харангозо — это фамилия санитара — бросился на Вальдера. «Убирайся к чертовой бабушке!» — заорал Харангозо. Но не успел он как следует тряхануть Вальдера, как тот повалился в коридоре. Стал дергаться, стучаться головой об каменный пол... Потом его увезла «скорая помощь».— Ликуя, торжествующе он кричал:— Фери Хидаш будет директором, а я, наверно, его заместителем! Дорогая Кристина! — бесконечно счастливый кричал он.— Я буду заместителем директора!

Трудная весна

Той трудной, взбудораженной весной пятьдесят седьмого Агнеш позвонила у дверей нашей квартиры; было пять вечера; девушка плакала.

— Нам больше не выдержать.

Их шатало от холода, сквозняков, десятидневных упорных бдений. От того, что по ночам приходилось бодрствовать и испуганно вскакивать, заслыша чужие шаги: вдруг именно сейчас кому-то вздумается к ним ворваться; минутная неосторожность — и комнату захватят другие. Ведь эту так называемую комнату пока что замыкали лишь кирпичные, неоштукатуренные стены, окно было заткнуто старым матрацем, а дверь заменял приколоченный гвоздями тряпичный половик с прибитой поперек него доской.

Вот уже десятые сутки Агнеш и Ванда жили в недостроенном доме на проспекте Виллани, заняв комнату с неоштукатуренными стенами. Ванда услыхала как-то у себя в учреждении, что на проспекте Виллани строится дом; одна из ее приятельниц ездила на работу 61-м трамваем, она-то и сказала, что там уже кроют крышу. К тому времени, как Агнеш и Ванда вселились туда, три секции дома были уже заняты жильцами; все же сестрам удалось отыскать пустующую однокомнатную квартиру с ванной и крохотной кухонькой, но, правда, во втором корпусе и на пятом этаже. Агнеш осталась караулить жилье, Ванда же с грехом пополам перетащила с улицы Кнежич матрацы и одеяла. Ей пришлось не раз обернуться, чтобы перевезти самое необходимое: бидон для воды, свечи, коечто из косметики, немного консервов, хлеб, чай с ромом в термосе, два лимона к нему. Весь их скарб был припорошен известковой пылью, но все же окончательно переселиться из полуразвалин своего бывшего дома они не ре-

шались. Ванде исполнился двадцать один год, она работала техническим редактором в управлении по строительству мостов; девятнадцатилетняя Агнеш в прошлом году не прошла по конкурсу в институт садоводства, и с тех пор витала между небом и землей, не привязанная ни к какому определенному месту, точно растение с воздушными корнями.

Распорядок жизни у сестер теперь был строго определенный: пока Ванда работала в своем строительном управлении, Агнеш сторожила квартиру на проспекте Виллани. К половине пятого Ванда возвращалась с работы, и тогда Агнеш шла закупать продукты, а потом заходила на улицу Кнежич, в свою старую квартиру; сквозь пробоины в потолке и стенах в комнату захлестывал дождь. Агнеш заглядывала к соседям, старалась примелькаться в доме, а иной раз ночевала там — даже эту превращенную в руины комнату приходилось оберегать. Но обычно Агнеш норовила поскорее вернуться на проспект Виллани, и они несли ночную вахту на пару с сестрой.

— Дольше нам не выдержать! — сказала Агнеш, едва переступив порог.

Она без сил опустилась на скамеечку, ничего не видя и не чувствуя; рука ее безвольно разжалась, и зеленая плетеная сетка с продуктами скользнула на пол, к ее ногам.

Только цинга или же постоянный страх способны так разрушающе воздействовать на человека: дерзкое, юное лицо превратилось в бледную, с оттенком плесени маску, посиневшие губы вспухли, кожу испещрили темные точки угрей, ноги отекли.

Десятые сутки подряд сестры почти не спали, мало и кое-как ели, не мылись и все десять суток изнывали от страха и жили надеждой,— нет смысла вдаваться в подробности, чего стоили им эти дежурства.

— Вам необходимо отогреться и помыться. Сегодня поспите у нас. А на проспекте Виллани этой ночью дежурить буду я.

Ветер продувал нещадно и зло. Я сошел с трамвая на ближайшей к дому остановке; чуть ли не вплотную к трамвайной линии подступали штабели кирпича и горы песка, за которыми прятались ящики с известкой; по раскисшей глине, в мартовскую слякоть и грязь, мне с трудом удалось добраться до второго корпуса новостройки.

— Вам в квартиру Кнаппов? — окликнула меня какая-то женщина у входа в неосвещенный подъезд.

— Нет, к Ивани.
— Какой этаж?
— Пятый.
— Там перегородки между квартирами еще не поставлены.
— Уже поставлены,— ответил я.
— А-а, тогда, значит, на шестом еще нету.
Женщина посторонилась, давая мне пройти, а потом крикнула вслед:
— Осторожнее там! Лестница пока без перил.
Я поблагодарил за предостережение и, при свете жужжащего карманного фонарика, то тускнеющем, то более ярком, стал подниматься наверх. Путь был не из легких. Лестничную площадку перегородил ящик с известкой, я кое-как обошел его. По ступенькам, на длину лестничного марша, валялись доски от разобранных строительных лесов.
Но на втором этаже чувствовался порядок. Даже пол здесь был подметен. Двери сколочены из фанерных щитов, и на каждой из них по темно-коричневому надписи мелом: «Пал Бузгора», «Семья Мушкатов». Я посветил фонариком и на соседние двери: «Квартира Палковичей», «Карой Гамала», «Трикотажная мастерская Рац».
Сквозь щели фанерных щитов — отблеск свечей.
Из трикотажной мастерской доносились голоса:
— Я не спорю, конечно, у этой соплячки есть за что подержаться... Представляете, заказала себе итальянскую кофту, подавай ей самый модный фасон... Жакет из австралийской шерсти... Каково?!
Воздух на лестнице был пронизан холодом — тяжелым, промозглым; дуло изо всех щелей. Пульсирующий, слабый луч фонарика повел меня дальше на третий этаж. Здесь тоже кое-где навесили наспех сколоченные фанерные двери, но по большей части дверные проемы были завешены половиками или простынями. И за каждой занавеской — свет, голоса.
На четвертом этаже меня ждала более неприглядная картина: здесь в беспорядке теснились помосты, ведра, валялись мастерки, деревянные терки штукатуров; только теперь я заметил, что до сих пор лестничная клетка была оштукатурена, здесь же, с четвертого этажа, начинался участок отделочных работ, а за ним простиралась зона неоштукатуренного быта — пятый и шестой этажи. Здесь тоже повсюду горели свечи, за каждым дверным проемом вздрагивали слабые огоньки, точно на кладби-

ще. И люди — согбенные их фигуры — тоже походили на молящихся у могил.

В такой же позе я застал и Ванду.

Отослав ее к нам домой, я сел, закурил сигарету и стал прислушиваться к обступившей меня тишине. Тишина здесь стояла абсолютная и пугающая. Примерно через четверть часа половик на двери колыхнулся, и вошел молодой — лет тридцати — мужчина.

— Вы сменили Агнеш?

— Ванду,— ответил я.

— Ах да, конечно, Ванду. Я и забыл, что Агнешка сегодня дежурит на улице Кнежич.

— Сегодня они обе ночуют у нас дома. А я дежурю вместо них.

— И правильно делаете, совершенно правильно. Квартиру на миг нельзя оставлять без присмотра. Я однажды оставил, ну и поплатился за это. Впервые я попал сюда еще в феврале, и тогда мне посчастливилось, отличную квартиру занял: на втором этаже, две комнаты, холл. А чем кончилось? Всего-то на денек отлучились мы, и все — пиши пропало! Кому-то здесь надо быть неотлучно. Дверей, сами видите,— нет, эти фанерные листы смех, а не двери. Да и какой от них прок, от дверей, будь они здесь хотя бы и настоящие, все равно их взламывают сплошь и рядом. Простите, я не представился...

Мужчина назвал свое имя.

Оказалось, он — инженер-сварщик. Несколько лет обивал пороги, просил дать квартиру — все впустую. Вот и решил занять самовольно.

На прощание он добавил:

— Я на пятом этаже, в шестой квартире...— Инженер сказал это без тени улыбки.— Шестая квартира на пятом этаже будет моей, если хватит выдержки. Ну, и если не выставят меня отсюда. Запомните, вдруг что понадобится...

Молодой инженер ушел, я закурил новую сигарету. По всему дому сверху донизу гуляли сквозняки. Ноги закоченели, надо было надеть ботинки потеплее.

Я отправился было на рекогносцировку, но ушел не дальше соседней квартиры. Дверной проем там даже не был занавешен, в глубине комнаты на узле с вещами настороженно застыла какая-то фигурка. Комната тонула в густом и промерзлом сумраке, который не под силу было рассеять слабому свету коптилки. Молодая девуш-

ка, обитательница этой квартиры, была укутана в толстое зимнее пальто синего цвета; голова девушки, в несколько раз обмотанная теплым шерстяным платком, должно быть, унаследованным от бабки, казалась непомерно распухшим, тяжелым шаром.

Именно так и оказалось: этот платок прислала из деревни бабушка — узнал я из первых же слов. Девушка снимает в Пеште угол, потому и попала сюда, на пятый этаж недостроенного дома.

— Трудно приходится... На заводе грампластинок я зарабатываю девятьсот форинтов, из них четыреста плачу за комнату. А жить ведь тоже на что-то надо.

Говорила она медленно, боязливо, через силу. И потихоньку пятилась назад; видно было, что ее так и подмывает убежать прочь.

Нехотя выдавливая из себя скупые фразы, девушка продолжала свой рассказ:

— Мать у меня тоже в Пеште, но для меня дорога туда отрезана.

— Почему?

— У нее новый муж.

— Ну и что с того?

Лишь по взгляду ее я понял: этот новый муж матери пытался соблазнить ее, а может, соблазнил, вот мать и выгнала ее из дому.

— Вы и сейчас работаете? — спросил я.

— Да, конечно.

— А как же вам удалось сохранить за собой эту комнату, если вы ходите на работу?

— Я взяла отпуск.

— И сколько дней вы сидите здесь неотлучно?

— Одиннадцатые сутки.

— А сколько осталось до конца отпуска?

— Четыре дня.

— А потом?

— Не уйду отсюда, пока не навесят двери.

Последнюю фразу девушка сказала твердо, как отрубила.

С площадки я еще обернулся к ней:

— Как вас зовут?

— Анна. Анна Футо.

— Если что понадобится, Анна, скажите...

Я невольно повторил фразу, которой закончился наш разговор с инженером. Девушка не ответила.

Шестой этаж представлял собою сплошное, огромных размеров, неразгороженное помещение. Здесь успели возвести лишь капитальные стены, внутренние перегородки пока отсутствовали. Однако три оконных проема символизировали три будущих квартиры, а три горящих свечи — три раздельных хозяйства. У каждого из трех окон застыла одинокая женская фигура.

Я поздоровался, стоявшая у среднего окна женщина обернулась:

— Пусть меня хоть сбрасывают вниз, все равно я отсюда не уйду, понятно? Не уйду, и все!

Этот выкрик явно предназначался мне. Женщина ничего не спрашивала; да ее вовсе и не интересовало, кто я и с чем пришел. Ей важно было сказать свое: избавиться от нее удастся, разве что выбросив из окна.

Минутами позже с таким же точно ощущением я смотрел из комнаты Агнеш и Ванды на ночной город. Ветер перестал бесноваться, и я вытащил втиснутый в оконный проем матрац; в мартовском темном небе, подрагивая, сверкали голодные, алчные звезды.

И вот, среди этих стылых стен, куда вмуровано было столько бурных страстей, отчаяния, надежд и страха, в этом странном до неправдоподобия доме, в непроглядном мраке, с неимоверной яркостью вспыхнули огни другого вечера — очень далекого: рождественского вечера 1944 года.

Как берегли и холили в детстве их обеих, Агнеш и Ванду!

Весь декабрь сорок четвертого я провалялся в больнице с застарелым, глубоко засевшим воспалением легких. Там-то и свел меня случай с Агнеш; девочке было тогда пять лет; в соседней палате исследовали, изучали непостижимую болезнь Агнеш — резкие, неожиданные скачки ее температуры. Больница постепенно заполнялась до отказа; все больше вполне здоровых мужчин и женщин просачивалось за больничные стены и оседало там с помощью денег или знакомств, нижайших просьб или угроз, по телефонным звонкам и распоряжениям свыше. Прочное девятиэтажное здание с непробиваемым бомбоубежищем, запасом провианта на несколько месяцев казалось поистине землей обетованной.

Агнеш — тоже по протекции — предоставили отдельную палату, чуть большую, чем вагонное купе, и все же туда умудрились втиснуть еще одну койку — для здоровой, румянощекой Ванды, а затем и кресло-кровать, в

котором спала Буба, мать девочек, очаровательная молодая женщина. Это было незабываемо чудесное вселение! В палате тотчас же обосновались и две белые мыши с глазами-смородинками. Мышки сновали по бессильно раскинутым рукам тихо лежавшей Агнеш, кувыркались на разложенных поверх одеяла образках. У ножки кровати каменела в столетней своей неподвижности черепаха. На радиаторе отопления пристроили птичью клетку без жердочек, на полу клетки, нахохлившись, дремала очень старая канарейка; стоило кому-либо взглянуть на нее, как пичуга начинала взъерошивать перья, словно ее надували воздухом, а затем незаметно сжималась, после чего аттракцион повторялся сначала. Мишки и куклы помещались на кроватке маленькой Агнеш лишь тесно, вплотную прижавшись друг к другу; все остальное пространство заполнили чемоданы, коробки, судки для горячей пищи и банки с компотами; на самом большом чемодане стоял семиламповый приемник.

Вся семья платила за питание с больничной кухни, даже за мышек была внесена особая плата. Но Агнеш, метавшаяся в жару, не ела ничего, кроме белых больничных булочек. Каждый предлагал ей свою порцию, и, конечно, отец, который в ту пору находился «на излечении» в ларингологическом отделении. Глаза красавицы матери день ото дня горели все тревожнее и лихорадочнее. Буба давала все новые и новые зароки, самоотречение стало ее целью: она отказалась от пудры, помады и сигарет; непричесанная, ненакрашенная и все же обворожительная, она и сама была готова превратиться в вожделенную для больного ребенка булочку.

Агнеш весь декабрь пластом пролежала в горячке. Врачи не знали, что с ней делать, и потому все, сколько их было,— терапевт, ларинголог, рентгенолог, хирург — мучили ее с помощью своей аппаратуры. Даже выдернули девочке зуб, а под конец вообще отказались врачевать ее.

Однако Агнеш выжила. А ее молодую мать никотиновый голод и отказ от косметики довели до состояния экзальтации. Буба поклялась, что своими обетами и зароками вымолит Агнеш жизнь. Каждодневные жертвы и отречения не были ей в тягость — напротив, она терзала себя тем, что самопожертвование ее столь ничтожно. В самом деле, страховка за жизнь вносилась не сполна; весьма трудно было выглядеть неряшливой и неопрятной

в новехоньких, из чистого шелка чулках. Ситуация безвыходная, что оставалось делать? Кончиками ножниц для рукоделия она легонько проводила по чулку, чтобы обтягивающий ногу шелк был хотя бы рваный. И вот чудо свершилось: за несколько часов до рождества, утром двадцать четвертого декабря Агнеш пробудилась к жизни.

Как раз в тот день, поборов воспаление легких, я зашел проведать семью, и вот при мне Агнеш открыла возбужденно блестевшие глазки и, широко улыбаясь щербатым ртом, попросила у матери ручные часики. Буба отвернулась, судорожно всхлипнула и, тотчас сорвав с запястья золотые часы, втиснула их в детскую ладошку. К полудню Агнеш уже капризничала вовсю, а на обед потребовала жареной картошки.

Конечно же, девочке ни в чем не было отказа: через полчаса картошку в спешном порядке доставили с диетической кухни.

Маленькую Агнеш нежили и лелеяли, но она оставалась на диво хрупким ребенком, страшно было дохнуть на нее, казалось, нежное это существо тотчас же рассыплется в прах. По конституции своей девочка была деликатной и хрупкой, подобно пеплу от древесного угля. Однако легкий пепел не так-то просто развеять. От дуновения или от резкого порыва ветра он лишь ярче вспыхивает, дольше тлеет скрытый в нем жар. Так и необычайная хрупкость девочки была обманчивой: на бледном, кротком ее лице горели глубокие жгучие черные глаза, затененные невероятно длинными темными ресницами.

К вечеру в палате уже стояла елка. Орудийная канонада сотрясала стены, но в теплой комнате было уютно, восемь этажей прочной кладки создавали видимость безопасности; домашний, мирный аромат хвои сливался с приторным запахом талого воска; и тут Буба чуть заметно подкрасила губы и нацепила серьги, наспех пытаясь придать себе праздничный вид. Агнеш — подобно тонкой, очень тоненькой елочной свечке — вспыхивала и ликовала; выздоравливающая, только что выкупанная, обложенная со всех сторон подушками, укутанная одеялом, сидела она в постели, и щеки ее пылали жаром; но это был жар вновь обретенного, набирающего силу здоровья.

Я стоял у них в палате, обволакиваемый теплом и запахом хвои, и думал: даже восемь этажей не могут защитить эту вызывающе прекрасную идиллию.

А сейчас, стоя с сигаретой у окна истерзанного, на-

сквозь промерзшего дома на проспекте Виллани, я знал: очаровательную, молодую Бубу, вновь взявшуюся за свою косметику, несколько дней спустя сразит насмерть шальной осколок, а через два года и чересчур расчетливый папаша бросит девочек на произвол судьбы («Бабушка пока что присмотрит за ними, а я скоро заберу к себе их обеих!») и вместе с новой подругой жизни уплывет за океан в погоне за новым счастьем.

Сегодня вечером Агнеш выкупалась и теперь, наверно, уже спит. Ванда тоже успела принять ванну и тоже спит. Агнеш от невзгод жизни по-прежнему защищает давний ярлык: «больной ребенок»,— волшебные чары пепла, готового разлететься от малейшего дуновения; Ванду же хранит ее неприкрытое, цветущее здоровье.

Но что это, похоже, кого-то ударили?

На лестничной площадке вроде бы кто-то плачет.

— Проваливай отсюда! — послышался грубый мужской голос.

Я отодвигаю в сторону занавеску: на лестнице плачет какая-то девушка. Поднимаю свечу повыше — да это моя соседка, девушка в черном платке.

— А-а, так ты не уходишь? — Какой-то мужчина с узким лицом и узкими щелочками глаз снова ударяет девушку.— Хотела занять мою комнату, стерва! Да я из тебя отбивную сделаю!

В первый момент я решаю: наверное, это отчим выследил девушку. И молчу, не желая вмешиваться в семейные распри.

— Неправда! — всхлипывает девушка.— Это вы хотите отнять мою комнату. За что вы меня так?..

И действительно, за что? Грустный и наивный вопрос. У девушки из носа идет кровь, должно быть, кулак угодил в лицо, едва виднеющееся из-под огромного деревенского платка.

И тут я понимаю, что никакой это не отчим, а всего лишь новоявленный претендент на квартиру. Будущий жилец второго корпуса, сильный и коварный хищник. Должно быть, еще днем прошелся по всем этажам и высмотрел наименее защищенную комнату, чтобы ночью ее захватить.

— Эй, приятель, полегче! — Я ставлю свечу на козлы.— За что вы ударили эту девушку?

— Не лезь не в свое дело! — Незнакомец придвинулся ко мне.— Откуда ты выискался?

— Я здесь живу.

— Ну и вали отсюда! Я тоже здесь живу.

— Вам только хотелось бы жить здесь, но комната принадлежит этой девушке.

Мужчина к тому времени очутился рядом со свечой; внезапно резким взмахом руки он столкнул свечу вниз, в глубину, но я успел заметить, что он замахнулся для удара.

Кулак не задел меня.

Где-то совсем рядом я слышал его неровное дыхание.

Темнота поглотила нас лишь на несколько мгновений. Затем сразу с трех сторон показались, вздрагивая и мерцая, огоньки свечей. Подоспели люди и снизу, с четвертого и даже с третьего этажа. Пришел и тот инженер, из шестой квартиры. Рядом с ним встали и три женщины, из трех квартир на шестом этаже.

— Выходит, вы хотели отнять угол у этой несчастной девушки?

— Она, бедная, одиннадцать суток караулит свое жилье!

— Убирайтесь-ка отсюда подобру-поздорову!

Кольцо сжималось все плотнее. Мужчина с узким лицом и глазами-щелочками огрызался, кричал, с пеной у рта доказывал свое, но его оттеснили сначала на ступеньки, а через минуту-другую дружно вытолкали вон из подъезда.

Кто-то вытирал влажным носовым платком лицо девушки, при этом черный платок сполз у нее с головы, и оказалось, что волосы у нее тоже черные, как смоль. Да и глаза очень красивые и такие же угольно-черные, под стать волосам.

Лицо девушки горело от удара. Вокруг нее собралось человек десять, а может, и все двадцать.

Еще не остывшие от праведного гнева, взбудораженные, мы смотрели друг на друга — с каким-то смущением и нежностью. Скоро начнет светать. Кому из нас удастся закрепиться здесь, в доме, под защитой фанерных листов и половиков-занавесок вместо двери, сутки за сутками ночуя на чемоданах, узлах, матрацах? Кто будет тем счастливчиком? Пожалуй, никто.

Но сейчас мы все сообща проводили девушку в ее комнату.

1962

Меж водоворотов

В пустом провинциальном кафе я подозвал официанта. Попросил подать черешни; он принес. Это был старый человек, с виду неглупый, сдержанный. Рыхлый, как перезрелая груша, и немного хромой.

— Вы знаете Михая Котроци? — спросил я его.

Он посмотрел на меня, подумал немного.

— Котроци? К нам такой не ходит.— Потом обратился к девушке, варившей кофе: — Иса, ты его не знаешь?

Девушка стригла ногти; на минуту она подняла глаза:

— Котроци? Не слыхала про такого.

— Но мы, сударь, всего лет пять здесь работаем,— как бы извиняясь, сказал старый официант.— Спросите у кого-нибудь еще.

Зачем мне кого-то спрашивать, подумал я. Пойду к Котроци. Ведь ради него я приехал в Н.

В то время — шел четвертый год войны — нашей военной подготовкой занимались, в сущности, лишь трое людей. Муштровал нас — ряды вздвой, направо — налево, строевым шагом и тому подобное — большей частью капрал с двумя звездочками; обращаться с оружием учил фельдфебель; все это кое-как, нехотя проверял молодой лейтенант, толстопузый, с мучнисто-белой физиономией; он изредка появлялся у нас, встав перед построенным взводом, выдергивал кого-нибудь из строя, мучил, вертел туда-сюда, вопросами допекал беднягу, издевался до тех пор, пока у жертвы от страха и унижения не лезли глаза на лоб, и только потом заталкивал его обратно в строй. Повторяю, шел четвертый год войны. Командиры наши были халтурщики, истуканы. К тому же они трусили. А потому торопились.

Их можно было подкармливать и подпаивать. И нужно было, найдя для этого подходящий момент, ну и тех лишь, кто чином ниже лейтенанта. Сам же лейтенант интересовался театральными билетами, кроме того, вольноопределяющимся дозволялось развлекать его забавными анекдотами.

Жили мы припеваючи: казарма была битком набита, и нам разрешалось ночевать дома. Но карьеристы с нетерпением ждали тактических учений: они просто жаждали бегать, ползать, бросаться на землю и тут же вскакивать, плюхаться в лужи, прятаться в ямы. Война тогда стала уже прескверной действительностью. Хочешь выкарабкаться живым? Учись выкарабкиваться.

Это происходило в Пеште, в одной из комендатур.

Мы провели целый месяц, то болтаясь без дела, то потея, надрываясь, а, случалось, чуть ли не чернея от усталости,— и тут, в конце четвертой недели, пришел приказ: мне следует немедленно явиться в полковую канцелярию. Товарищи пугали меня, рассказывая всякие ужасные истории: начальники мои ничего сказать не могли, и я с трепетом отправился к неизвестным важным птицам. Оказалось, однако, что судьба моя с этого дня внезапно круто изменилась, и отнюдь не к худшему. В полковой канцелярии мне сухо и кратко сообщили: решено использовать меня по специальности, зарегистированной в карточке,— я писатель и стану писарем.

Вскоре я очутился в огромной комнате; лишь в одной ее стене было два окна, а в глубине горел свет. Вдоль стен точно по команде «смирно» выстроились пузатые сейфы с большими дверцами; посередине стояли четыре письменных стола, а за пятым, напротив нас, сидел пожилой фельдфебель, старший по канцелярии, распоряжавшийся четырьмя солдатами-писарями. Писари прилежно строчили, как выяснилось вскоре, призывные повестки. Работа была очень срочная, группу даже пополнили двумя новичками, одним из них оказался я.

Кто получал такую повестку, знает: это простейшее уведомление. На одной стороне: куда и когда надо явиться, на другой — адрес. Написать это — вот и вся моя работа.

Данные мы брали с белых картонных карточек. Карточки хранились в открытых длинных ящиках. Ящики ждали своей очереди во мраке сейфов.

Все здесь было просто, ясно. Карточки великолепно облегчали нам жизнь: они знали, кто где живет, когда родился, какую носит фамилию, и не забывали также о самом главном: годен ли человек к военной службе, проходил ли медицинское освидетельствование. К чему больше знать о людях, об их сообществе? В ящиках следовали друг за другом в строгом порядке, как на карте или в округе, села, уезды, комитаты и даже несколько городов.

Работа определялась возрастом призывников. Особенно ее объем: ведь четыре возраста — это вдвое больше, чем два. А в ту осень надо было отобрать из ящиков карточки сразу четырех возрастов. Поэтому, сидя за столом, приходилось не только писать адреса, но и отбирать карточки. Повестки следовало складывать отдельно, в определенном порядке.

А что делал меж тем фельдфебель? Он не только распределял работу и наблюдал за ее ходом, но и «подбирал колосья». Пояснить это? Как после жатвы собирают оставшиеся на стерне колосья и стебли, так он просматривал после нас карточки — не пропущен ли какой-нибудь призывник?

Выручить кого-то, облагодетельствовать, спасти случайно попавшегося знакомого или незнакомого человека было совершенно невозможно. Здесь «подбирали все колосья». Вскоре уже шесть рабочих столов стояло в комнате, семь со столом фельдфебеля; мы снимали большой урожай.

О чем думали во время работы остальные писари? Верно, о том же, о чем и я. А я ни на минуту не мог отделаться от мысли, что за каждым именем, адресом и карточкой стоит человек, который через два дня расстанется с прежней жизнью, простится с отцом, матерью, женой, возлюбленной, сыном, братом, сестрой, друзьями — у кого кто есть — и встанет на другую стезю, пойдет по другому пути, в другом направлении. Вернется ли обратно тот, кого мы отправили в дорогу? Кто знает? Но куда он попадет, все знали.

Были симпатичные и несимпатичные фамилии. Ни одна не оставляла равнодушным. Порой я задумывался: кто это может быть, что за человек? Все призывники были молодые мужчины, до тридцати лет. В нашем ведении находился очень большой округ, но Будапешт к нему не относился; я никогда не встречал знакомые имена.

Исходя из двух данных, фамилии и профессии, я мог

вписывать воображаемые жизни в колыхавшуюся передо мной струйку дыма от сигареты. Меня поражало, сколько прозвищ породила венгерская действительность. Прежде всего бросалась в глаза уйма издевательских: Глухач, Кровач, Тараториш, Скулич, Кукурекаш, Грудасташ, более грубых: Смрадач, Пукач, Блохаш, Башибузук, Дерьмич, Какиш и совсем грубых, но их я не стану возвращать из забвения. Фамилии явно утратили уже свою первоначальную суть, давно не выражают того, что выражали прежде,— шпилька подпускается уже не по адресу.

Куда больше, чем имена, говорили о людях их занятия в повседневной жизни: крестьянин, учитель музыки, столяр, механик, рабочий, портной и опять крестьянин, крестьянин, маляр, цимбалист, официант, пекарь, шорник, корзинщик — эти слова вносили струю жизни в едва освещенную, но зато выкрашенную в ослепительно белый цвет комнату. Было отчего разыграться воображению.

Оно разыгрывалось и утомлялось.

Около тридцати — сорока секунд выделено было на одного человека, на одну фамилию.

Еще в первый день я понял, почему карточки хранят в сейфах: затеряйся хоть одна из них, и кто-то сможет преспокойно жить дальше, а здесь о нем позабудут. Он ускользнет от щупальцев Большого порядка, выпадет из поля зрения.

Были ли копии карточек? Не знаю. Когда я спросил у нашего фельдфебеля, он только загадочно улыбнулся. Думаю, и он не знал. Возможно, копии карточек, реестры существовали, но хранились в другом месте, недоступном для нас, не здесь, где раздавались призывные сигналы.

И хотя я учитывал это, искуситель словно нашептывал мне: «Укради карточку! Ту, к примеру, или эту, учителя музыки, крестьянина, механика. Чего ты ждешь? Почему у тебя дрожат руки? Не бойся. Никто не увидит!»

Но в том-то и дело, что за мной наблюдали со всех сторон. Напротив сидел фельдфебель, который только для вида перекладывал на столе бумаги, а сам смотрел на нас, по полчаса, бывало, не сводил с тебя немигающих своих плутоватых лисьих глазок. Следили за мной и остальные писари, склонившись над своими карточками — впереди, позади и тот, кто рядом,— откуда знать, кто из них до-

носчик и выдаст меня по доброй воле при первом удобном случае? Все следили друг за дружкой.

Уже на второй день я подумал, не выкрасть ли карточку, но не решился. На третий разработал план: я вынимаю карточку из ящика и, словно пытаясь разобрать трудную фамилию, наклонившись, читаю ее по слогам, при этом не кладу карточку на стол, а осторожно придвигаю ее к себе и засовываю левой рукой во внутренний правый карман куртки. Я чуть ли не десять раз проделывал этот опыт, но лишь до половины. В последний момент замечал обычно, что кто-то за мной подглядывает.

Только на четвертый день мне повезло.

«Михай Котроци» прочел я на одной из карточек. И ниже: «ювелир». Ювелирное дело представлялось мне занятием, связанным с искусством. Это тонкая работа, красивые вещи, благородные металлы. Один врач, профессор, в свободное время занимался ювелирным делом. Я ходил к нему; он показывал мне свою мастерскую, я смотрел с завистью. А потом не раз давал себе обещание поиграть когда-нибудь в эту прекрасную игру.

А ну, выну-ка я сейчас этого ювелира Котроци из ящика! Я не проявил никакой осмотрительности, даже не поглядел по сторонам, просто взял и сунул карточку себе в карман.

Воцарилась мертвая тишина. Точно воском, ватой или самим тяжелым молчанием заткнул я уши — какое-то время ничего не было слышно. Да со мной никто и не заговаривал. Понемногу я пришел в себя.

— Дай бог тебе здоровья, Котроци,— сказал я вечером у себя дома и выложил на стол, накрытый к ужину, белую карточку. Налил в бокал вина, выпил.— После войны я найду тебя, и мы будем друг с другом на «ты».

Я собирался составить коллекцию выкраденных карточек, но не смог. На следующий день пожилой фельдфебель с плутоватыми глазками перевел меня на другую работу. Сначала я подумал: а не заметил ли он что-нибудь подозрительное и только ли меня назначает на другую работу, но потом услышал и увидел, что прочих тоже. Накануне, как выяснилось, мы кончили писать большую партию повесток и теперь надо было расставить карточки в новых ящиках. И с этим мы справились. Через неделю нас откомандировали из канцелярии на учебный плац.

Через семь недель я демобилизовался.

Я уже давно и думать забыл о Михае Котроци, когда через несколько лет нашел в глубине ящика белую карточку. И сразу все припомнилось: выстроившиеся точно по команде «смирно» сейфы, семь письменных столов, масса карточек — все, даже зарок, что после войны мы с Михаем Котроци будем на «ты».

Я смотрел на карточку: вот его адрес, городок Пештского комитата, название улицы, номер дома. Жив ли он? Выкарабкался ли? И кто он в самом деле? Ювелир, это мне известно. Но кого действительно я спас? Надеюсь, порядочного человека. Я улыбнулся: почему бы нет, ведь он ювелир. А в цех ювелиров в давние времена мастеров отбирали строго. Даже стихи Дёрдя Фелвинци[1] нашел я в книге «Хранилище старых венгерских поэтов»; он писал об ювелирах в стихотворении «Соперничество в ювелирном искусстве»:

Таково ювелирное дело,
Что всем прочим ремеслам
Нелегко его превзойти...

И так далее. Хорошо. Так было в давние времена. А теперь? Надо, однако, отыскать Котроци.

Я уже не давал себе обещания в свободное время заняться ювелирным делом, но отыскать Михая Котроци дал.

Вскоре один мой приятель собрался поехать по делу в нужном мне направлении, и я подсел к нему в машину. И вылез в городе Н. на главной площади, а он отправился дальше. Мы условились, что в семь вечера он за мной заедет.

И вот я в городе Н.

В кармане у меня карточка, в том самом кармане, куда я сунул ее несколько лет назад. Я уже направился было на улицу, где жил Котроци, но сперва заглянул в кафе — там никто его не знал. Ни официант, ни девушка, варившая кофе.

Городок Н. расположен на равнине, он похож на большое село, вернее, это просто деревня; чуть ли не единственная его улица, улица Кошута, не переменила названия. Пока я шел к дому Котроци — ведь на моей карточке

---

[1] Дёрдь Фелвинци — венгерский писатель конца XVII— начала XVIII века (умер в 1716 году), который сочинял стихи по заказу различных цехов и отдельных лиц.

стоял и номер дома,— я вдруг поймал себя на том, что думаю образно. Я застану сейчас молодую женщину в чистой уютной кухоньке, она подает обед, за накрытым столом сидят двое детишек — девочке лет пять, мальчику еще нет трех. Мальчика посадили на высокий стул, и он уже с нетерпением ждет, чтобы его накормили, но мать увещевает сына: положи ложку на стол, надо дождаться отца. И на коричневатом фоне вырисовывается тень мужчины; он уже отложил инструменты, вымыл руки; судя по тени, это высокий человек, лица его я пока не вижу.

Я насмешливо щелкнул себя по лбу: да, да, Шарден писал этакие красивые, умиротворяющие идиллии в коричневатых тонах и еще более идиллические натюрморты: большие хрустящие свежие булки, огромную гусиную печенку; в пузатую бутылку кто-то наливает вино; мастер с очками на носу, у него три слабости: яблоки, лук и трубка. Почему я вспомнил Шардена? Ведь несколько дней назад я спорил о нем с моим другом художником, и во время спора выяснилось, что я не люблю Шардена.

Нет! Я не помещу моего Котроци в мир шарденовского искусства. Вот только двое детей... с ними трудней расстаться. Эта девочка и сидящий на высоком стуле мальчик родились после той истории, собственно говоря, мне обязаны они тем, что живут на свете: не выкради я тогда карточку, их отец, наверно, не вернулся бы с русских снежных полей, жена напрасно ждала бы его, дети не родились бы.

Подберем лучше венгерскую сценку; вот, например, картина Синеи Мерше[1] «Сушка белья», она лучше, светлей, правдивей, гораздо свежей. Во дворе у Котроци цветет яблоневое дерево, на протянутой веревке сохнет белье; синие, желтые, красные цветовые пятна и среди них склоненная молодая женщина; в корзине, стоящей на земле, еще много выстиранного белья, которое надо развесить; девочка в красном платочке играет возле корзины, и на хлопочущую женщину и девочку благодушно смотрит, расставив ноги, молодой мужчина; лица его, к сожалению, мне не видно, он стоит спиной. Ну, повернись же ко мне, Котроци! Дай посмотреть, какой ты, что из себя представляешь.

---

[1] Пал Синеи Мерше (1845—1920) — известный венгерский художник.

«А почему тебе не приходит в голову Меднянски? [1] — подтрунивал я над самим собой.— А вдруг твой Котроци отъявленный пьяница, негодяй? Бросил уже ювелирное дело и стал жалким грузчиком. Почему бы и нет?»

Тут мне пришлось прекратить игру — я стоял перед домом Котроци. Одна его половина напоминала избу, другая была построена наподобие виллы. Пройдя небольшой палисадник, я очутился перед верандой; постучал раз, еще раз и еще раз. Никто не отозвался.

Не везет мне. Никого, видно, нет дома.

Я решил уже наведаться к соседям, когда в глубине двора показалась женщина. Она была еще молодая, но довольно изнуренная. Родила, верно, не меньше четырех-пяти детей и половину до истории с карточкой. Поверх длинного темно-синего фартука в горошек было повязано полотенце,— похоже, она стирала где-то за домом в прачечной и оттуда услыхала мой стук.

— Кто вам нужен? — спросила она.

Какой тусклый голос! Словно стираный-перестираный с мылом и щелочью. Нет, не Шарден рисовал эту женщину, и не Синеи Мерше. И на заднем плане не было никакого благополучия в коричневых тонах, в льющемся на нас свете не сверкали яркие синие, пурпурные краски... Кто мне нужен? Он.

— Михай Котроци.

Женщина устремила на меня такой же недоуменный взгляд, как официант в кафе. Долго смотрела, только потом спросила:

— Котроци?

Мне пришлось повторить фамилию, которую про себя я твердил без конца, но вслух произнес лишь сегодня и лишь во второй раз.

— Да, он, Михай Котроци.

Женщина смотрела на меня пристально, не сводя глаз.

— Вы знали его?

— Нет.

— Тогда зачем он вам нужен?

С чего начать?

— Я хотел бы рассказать ему кое-что...— Тут я запнулся.— Ему, пожалуй, будет интересно. Да и вам, верно, тоже.

---

[1] Меднянски Ласло (1852—1919) — венгерский художник.

Но не могу же я прямо тут, перед верандой, навязываться ей со своей историей? Быть может, она и не жена ему вовсе — надо хотя бы спросить.

Но она опередила меня:

— Это невозможно.

— Что невозможно?

— Рассказать ему.

— Почему?

— Он погиб.

Все поплыло у меня перед глазами: сад, дом, женщина.

— Вы тоже были на Украине? — услышал я откуда-то издалека ее голос.

— Нет.

— Тогда где вы узнали его фамилию?

— Я видел карточку. Странная фамилия, она запомнилась мне.

Но ее интересовала карточка, а не фамилия.

— Какую карточку?

— С его данными.

— Вы держали ее в руках?

— Да, она попала мне в руки.

— И вы послали ему повестку,— после короткого молчания проговорила она. И чуть погодя повторила:— Послали ему повестку.

Она не спрашивала, а утверждала бесцветным своим голосом. И в нем уже не чувствовалось боли, не звучало обвинение, угроза; фраза эта лишена была содержания, потому что в ней так же, как на воображаемых полотнах Шардена, Синеи Мерше и Меднянски, отсутствовало лицо Михая Котроци.

— Послали,— повторила она опять.

— Не я! — возразил я.

— И вы тоже.

— В самом деле, я не посылал.

— Тогда что же вы там делали?

Я полез в карман, достал карточку.

— Смотрите, вот его карточка. Я выкрал ее, чтобы ему не послали повестки. И теперь приехал познакомиться с ним. Он действительно погиб?

Она даже не взглянула на карточку. Возможно, не поняла, что это такое.

— Да, погиб.

— Пошел добровольцем?

— Нет, получил повестку.

— Не понимаю... Вот его карточка; никто не мог написать ему повестку.

— И все-таки он получил ее.

— Откуда?

— Не знаю. Его отправили на Украину, и там он погиб.

Я в растерянности стоял перед женщиной, превратившейся в деревянную статую.

— Вы можете припомнить, когда он ее получил?

Ей не пришлось припоминать — она знала.

Весной сорок второго года.

Опять все поплыло у меня перед глазами.

Весной! А осенью сорок второго я выкрал этот белый листок. Через полгода после того, как кто-то успел точно переписать с карточки фамилию, адрес Михая Котроци и еще прибавил на повестке, когда и куда он должен явиться.

Тут женщина протянула мне руку.

— Надь — моя фамилия.

Она прощалась со мной, ее ждало корыто.

Но я не сразу выпустил изъеденную щелочью руку.

— Разве я говорю не с жёной Михая Котроци?

— Теперь Михай Надь мой муж.

— Вы вышли замуж? — спросил я с некоторой обидой.

— В сорок шестом году.

Она повернулась ко мне спиной — ей больше не о чем было спрашивать — и пошла обратно, за дом.

Еще пять часов предстояло провести мне в Н. Но и пяти минут с лихвой хватило, чтобы разгадать нелепую, злую эту загадку: в полковой канцелярии кто-то по небрежности оставил карточку призванного среди карточек призывников, и именно этот кусочек картона, один из тысячи, я и выкрал.

А может быть, мой предшественник по злой воле, намеренно оставил призванных среди призывников: если людям повезло и они вернулись домой, пусть призовут их второй и третий раз — чем скорей, тем лучше. Это удалось проделать, когда спал «подбирающий колосья» фельдфебель.

Неужели там оставили лишь Котроци? Его одного? Да нет, верно, были и другие, и немало.

Кто знает?

Меж кипучих водоворотов течет наша жизнь.

ПОВЕСТИ

Hamisjátékosok, 1947.
Történet a szeremröl és a halálról, 1956.

МЕРТВАЯ

Мужчина ощупью спустился с пятого этажа. Он не нашел кнопку выключателя в подъезде, не знал, где кончаются ступеньки и начинаются лестничные площадки: ему доводилось бывать в этом доме раза два-три.

Добравшись до первого этажа, он повернул к выходу во двор; где-то здесь, в углу справа, как он предполагал, должна быть привратницкая.

Мужчина постучал; выждал какое-то время, ночь была по-осеннему прохладной. Тишина вокруг стояла такая, словно он очутился в глубине лунного кратера. Он постучал еще раз. Дом спал, спали все этажи, сами стены будто истончились, стали хрупкими и едва держали тишину, казалось, квартиры вымерли, точно опустелые мышиные норы. Он посмотрел вверх. Еще полчаса, и начнет светать.

Ночь расплывалась вокруг грязноватой, темно-серой жижей.

Покрытая коричневой краской дверь наконец отворилась. В дверном проеме показалась неимоверно толстая женщина в светло-зеленом махровом халате; лицо привратницы, оплывшее, равнодушное, сейчас еще больше опухло со сна. Живот у нее выпячивался огромной бочкой, седые патлы торчали в беспорядке, ноги были всунуты в теплые, высокие домашние туфли с пряжками. В этот момент сверху — оттуда, где находилась квартира Виолы,— долетел какой-то странный, тонкий звук. «Точно мышиный писк»,— подумал мужчина и посмотрел наверх. Привратница тоже взглянула туда. На короткий миг послышались аккорды рояля и грудной смех. И снова все поглотила тишина.

— Доброе утро! — разжал губы Дёрдь.— Мне хотелось бы, чтобы вы прошли со мной.

На лице толстухи отразилось нескрываемое отвращение.

— Что, опять напакостили в парадном? Ведь я заявила позавчера, что больше подтирать не намерена! Сами набезобразничали, сами и убирайте!

Толстуха повернулась к нему спиной и направилась было к себе в привратницкую.

Мужчина понял, что у Виолы и позавчера были гости. Другая компания, наверное, еще более шумная.

— Подождите!..— поспешно окликнул он привратницу.— Мне кажется, случилось несчастье. Прошу вас, идемте со мной.

— И не подумаю! — резкий, точно удар хлыста, ответ смешался с просачивающимися из кухни запахами пищи.— Знаю я эти несчастья: небось опять кто-нибудь перебрал... Телефон у вас есть, так что звоните сами!

Но дверь она все же не захлопнула.

Мужчина едва сдержал улыбку.

— Где здесь выход к вентиляционному колодцу?

— Колодцу? Какому еще колодцу? — У привратницы не только глаза, но даже голос словно округлился от удивления.

— Я имею в виду тот колодец, куда выходят окна ванных комнат! — пояснил Дёрдь.

Привратница снова подалась ближе к двери. Две ступеньки вели во двор, вымощенный желтыми плитами. Женщина остановилась рядом с Дёрдем.

— Ах, этот... Их даже два...— ответила она неуверенно. Не без подозрения разглядывала она своего собеседника, мужчина явно был ей незнаком. Нет, этому человеку ей ни разу не приходилось открывать ночью парадную дверь. И она ни разу не видела, чтобы он поднимался туда, на пятый этаж.— Их два...— повторила она.— А зачем они вам понадобились?

— Мне нужно взглянуть, куда выходит окно ванной Сюч.

Толстуха привратница не двинулась с места.

— Там я держу корзину с мусором.

— Покажите, прошу вас.

В конце концов ему удалось уговорить женщину. По темной лестнице, поминутно спотыкаясь, они спустились в подвал.

— Осторожней, пожалуйста, свет не горит. Здесь никогда не бывает света!..— Женщина ткнула пальцем куда-то вверх.— На прошлой неделе кто-то опять вывинтил лампочку!.. А зачем все-таки вы повели меня сюда? Или, может, что упало сверху?

И, не дождавшись ответа, тихо, по-свойски спросила:

— Ценное что-нибудь?

На этот раз в голосе ее звучало сочувствие, тон был простодушный и бесхитростный.

Дёрдь зажег спичку. Они стояли перед узкой и высокой железной дверью, в замке торчал ключ, блестящий и отполированный от частого пользования.

— Вот он, этот колодец! — Привратница взялась за ручку двери.— Только мусор с вечера еще не убран...

Мужчина отбросил сгоревшую до ногтей спичку. Темнота тотчас же навалилась на них, как мягкая пуховая перина, и душила своей тяжестью.

— Надо бы хоть свечку захватить...— В голосе привратницы проскользнула нотка раскаяния.

Дёрдь почувствовал, как тревога его растет.

— Боюсь, что действительно случилось несчастье.

Когда вспыхнула вторая спичка, дверь была уже распахнута настежь; на цементном полу узкой шахты, и правда, выстроились в ряд три корзины, доверху набитые мусором, а возле корзин лежала молодая женщина, одетая в тонкое шерстяное платье. Голова ее была неестественно пригнута к плечу, белокурые волосы почти не растрепались, их лишь чуть припорошило известкой; но лицо целиком погрузилось в пепел, в гниющие остатки зелени и раздавленную яичную скорлупу.

— Господи Иисусе! — отпрянула привратница стремительно, точно налитая кровью толстая блоха.— Господи, матерь божия!

— Подойдите сюда! — прикрикнул на нее мужчина.— Подойдите, попробуем поднять ее!

— Господи помилуй! — Она снова попятилась.

Мужчина наклонился вперед, вгляделся, догоравшая спичка обжигала ему пальцы; да, сомнений быть не могло: рядом с мусорными корзинами лежала Виола.

— Не сердитесь на меня,— услышал он за спиной плаксивый голос привратницы,— только боюсь я их... Не могу смотреть в лицо покойникам, даже на мать-покойницу не решалась взглянуть...

— Какая покойница? С чего вы взяли, что она умерла? — воскликнул Дёрдь, резко обернувшись к привратнице.

Но эта гора плоти в ужасе пятилась к двери, она безошибочно, точно собака, чуяла смерть.

— До руки покойника дотронешься — сухотка нападет!.. Вы уж не извольте на меня сердиться, но не могу я и шагу ступить ближе...

Женщина умолкла, они стояли в кромешной тьме. Темнота придала привратнице смелости и неожиданно обострила ее подозрительность.

— А как, собственно, это случилось? — вдруг резко спросила она.

Мужчина со страхом вглядывался туда, где в темном провале угадывалось лежащее тело молодой женщины. Вот уж четверть часа он был почти уверен, что случилось непоправимое.

— К чему тут расспросы? Вы же сами все видели... — тотчас отозвался он.

Ответ привратницы грянул, как револьверный выстрел.

— Это я-то? Я ничего не видела!.. Я знать ничего не знаю... Вы сами меня сюда привели — вот и все, что мне известно. И пожалуйста, не впутывайте меня в эту историю... Не вздумайте на меня ссылаться!..

Тон ее сделался еще резче:

— Я сразу поняла, что дело нечисто, когда вы стали спрашивать про вентиляционный колодец... Кому это взбредет на ум ни с того, ни с сего искать среди ночи вентиляционный колодец? Чего бы это ради, скажите на милость?

— Хватит причитать! — раздраженно одернул ее мужчина.— Неужели вам не понятно, что она нечаянно выпала из окна?

— Это из ванной-то комнаты? Да там оконце крохотное, узкое — почти что щель!

— Наверное, голова закружилась, вот она и упала... Но я почти уверен, она еще жива! Подойдите сюда, давайте поднимем ее...

Они препирались, не видя друг друга, стоя в плотной, промозглой темноте.

— Скажете тоже, «поднимем»! Да я не притронусь к ней, хоть убейте!.. И окошко там до того узенькое, что в него и ребенку-то не протиснуться!

В этом привратница была права. Оконце в ванной и в самом деле было узким и вдобавок очень высоко от пола! Эти детали он тоже отметил про себя, когда, разыскивая Виолу, заглянул в ванную. Оконце он нашел открытым; но тому, кто захотел бы взобраться на подоконник, сперва пришлось бы встать на стул... И стул стоял там как раз под открытым окном... Именно он, этот стул, четверть часа назад, в шумно веселящейся квартире, хозяйка которой вдруг исчезла, показался ему дурным предзнаменованием, заронил в нем самые мрачные предчувствия. Почему Виола оставила гостей? И зачем понадобилось ей влезать на высокий подоконник в ванной комнате, к маленькому, слепому оконцу, открывающемуся в пропыленную бездну вентиляционного колодца?

— Голова у нее болела, захотелось подышать свежим воздухом! — подбросил он привратнице простейшее объяснение.

— Это над кучей-то мусора? Другого окна не нашлось, чтобы подышать свежим воздухом?

Теперь в голосе ее звучала издевка, но вопрос был поставлен вполне логично. Они пустились в нелепейшую, мелочную перепалку.

— А почему, спрашивается, вы держите в вентиляционном колодце гнилые картофельные очистки?

— Где хочу, там и держу.

— Так, значит, где хотите, там и держите!.. Так вот, ступайте-ка в полицию и сообщите о случившемся.

— Куда я должна пойти? — Голос привратницы звучал высокомерно, каждое слово было отчеканено.

— В ближайшее же отделение полиции. А уж оттуда придут, кому следует...

На несколько мгновений воцарилось молчание.

— Так, значит, уж оттуда придут, кому следует!..— не без ехидства повторила привратница.

Через минуту-другую мужчина и в самом деле услышал, как с треском захлопнулась входная дверь парадного. Отчетливо донесся противный скрежет поворачиваемого в замке ключа. «Заперла подъезд, чтобы никто из нас не мог сбежать»,— подумал мужчина со слабой улыбкой. Но тут же вернулась мысль о Виоле. Он снова чиркнул спичкой.

Вспыхнул желтый огонек; в неровно растекшейся луже лежало неподвижное тело молодой женщины — невероятный, несмотря на всю свою физическую реаль-

ность, факт. Мужчина склонился над телом, пристально вглядепся в хрупкие шейные позвонки: шея женщины была неестественно вывернута, как у сломанной куклы. На левом виске подсыхала красная полоска. Он тронул ногу у щиколотки — нога женщины тоже походила на кукольную: холодная и на ощупь будто фарфоровая. Мужчина поднял зажженную спичку повыше, отступил на два шага назад и стоял, отказываясь верить в несомненную реальность случившегося. И это — Виола? Это застывшее тело, эти губы, сомкнутые, скованные немотой, и тонкие запястья поникших рук, это раздавленное человеческое существо, уткнувшееся в мусор, в яичную скорлупу,— неужели когда-то, годы назад, в невероятно далекие времена эта женщина была его женой? Здесь, перед ним, лежит тело, над которым он — с первого момента их знакомства — лишь проделывал эксперименты? Тело, которое он в коварном стремлении познать его тайны, возвел в ранг человека и женщины. Бесстрастное и лживое тело, когда-то доставлявшее ему наслаждение. Эта непробиваемая оболочка, за которой столь надежно были укрыты себялюбие и эгоцентрическое самолюбование? Это тело он обнимал когда-то? Брал на руки, поднимал, держал против света, чтобы лучше вглядеться в лживое переплетение костей, тканей, сосудов? Неужели это то самое тело? Неужели когда-то он обладал им? Это — Виола? Они развелись несколько лет назад и с тех пор почти не встречались. В душе его от тех встреч осталась лишь оскомина, напоминающая вкус горького миндаля. Чуть затхлый привкус, приторный, как марципан.

Спичка неожиданно ярко вспыхнула. И этой мгновенной вспышки хватило: будто ударили, страхом и жалостью защемило сердце.

То, что он увидел, было поразительно и невероятно. Виола лежала на животе, уткнувшись лицом в пепел и разбитую яичную скорлупу. На вонючем асфальте вентиляционного колодца она лежала точно в такой же позе, как тогда, на Капри, среди зелени пальм в маленькой гостиничке под названием «Сирена», в предрассветный час, на третью ночь их супружеской жизни...

ФАЛЬШЬ

По дороге от Рима к Неаполю вагонное купе все больше наполнялось светом и стойким запахом сена. Пронзительным, желтым солнечным светом — обильным потоком струился он в прогалины между весенними тучами. Стлался по коридору вагона, точно ковровая дорожка, скапливался в радиаторах отопления, излучая нещадный жар.

Запах сена исходил от молодой, пышнотелой дамы; сеном пахли ее духи, аромат был крепкий, вызывающий головную боль. Молодая итальянка, сдержанная и высокомерная, читала какой-то любовный роман в аляповатой обложке.

— Взгляни на эту капуанскую Венеру,— тихо сказал Дёрдь.— Должно быть, ее куриный умишко сотворен из чистого мрамора.

Виола вскинула брови.

— В этих краях женщин извлекают из земли при раскопках или же похищают из Национального музея. Все еще болит голова?

Виола и этот его вопрос не удостоила ответом.

Дама, источающая запах сена, путешествовала с собакой — то был молодой песик рыжей масти, с крупной породистой головой. Собака подремывала, послушно лежа у ног хозяйки, грустная, как запродавший себя человек.

— Смотри, львенок! — Скучающий Дёрдь, тронул локтем свою молодую жену.— Клянусь честью, это не собака, а львенок! Дама путешествует, точь-в-точь как Муссолини.

Виола, которая жаловалась на головную боль и по этой причине отмалчивалась добрых полчаса,— неожиданно заговорила:

— Это не львенок, а чау-чау! Я знаю, у моей тети был щенок точно такой породы...

В ответе ее прозвучали нотки высокомерного презрения. Богатая тетушка, имение в семьсот хольдов, замок, куда летом съезжается множество гостей! Намек на влиятельную родственницу — здесь, в неаполитанском direttissimo [1],— точас свел на нет шутку со львенком. К тому же в тоне Виолы сквозило не столько высокомерие, сколько оскорбительное желание просветить невежду супруга.

---

[1] Курьерский поезд *(ит.)*.

У Дёрдя вмиг испортилось настроение. Он вышел из купе, закурил сигарету и, стоя в коридоре, разглядывал дорожную компанию: итальянку, собаку, Виолу.

«Непорочна и глупа,— с оттенком грусти подумал он о той, которая уже двое суток была его женою.— Все еще непорочна и по-прежнему глупа». Затем попытался спорить с самим собою: нет, она не глупа, просто как женщина еще не развита, не опытно ее тело. И мысль его, завершив логический ход, привела его к утешению: перед ним стоит прекрасная, нелегкая задача, достойная мужчины! В чем же суть этой задачи? Бросить в огонь это непокорное тело, раздуть скрытый в нем жар, выжечь из него шлак.

В купе он вернулся чуть ли не в радужном настроении. Так закончилась их размолвка в поезде.

Но история со щенком чау-чау имела свое продолжение: тот коварный обед в Неаполе и его последствия во время морского путешествия на пароходике, везущем их на Капри. С его стороны это была дерзкая, по-мальчишечьи злая месть, но Виола даже и не поняла этого.

Тот незабываемый обед!

Они прибыли в Неаполь около полудня, а в половине четвертого отходил пароход на Капри. У них оставалось несколько свободных часов.

— Может, поднимемся на Вомеро?

— Нет.

— Тогда побродим по улочкам?

Снова решительное: «Нет...»

— Хочешь отлежаться в гостинице? Мы можем отправиться на Капри и завтра...

— Нет!..

В конце концов они облюбовали себе местечко на террасе прибрежного ресторана по соседству с Castello dell' Ovo [1], построенным на скале, выдающейся в море. Здесь и решено было пообедать.

Дёрдю пришла мысль подшутить над Виолой за чревоугодие,— наклонность, тщательно ею скрываемая.

— Здесь великолепно готовят фаршированные помидоры! — начал Дёрдь, когда официант подкатил к ним стеклянный столик, уставленный закусками.

Виола была не против полакомиться.

---

[1] Замок Яйца *(ит.)* — средневековый замок в Неаполе, прозванный так за свою яйцеобразную форму.

— А это ветчина с яйцами!

Когда очередь дошла до третьего блюда, он воскликнул:

— О, вот это тебе придется по вкусу! Соус а-ля Капри.

Официант одобрительно кивнул.

— А грибов ты разве не хочешь попробовать?

Официант с молниеносной быстротой раскладывал яства. Порции рыбы, овощи в оливковом масле, голубиное мясо, приготовленное по какому-то хитроумному рецепту. Виола, надутая и молчаливая, как идол, безропотно позволила навалить себе на тарелку целую гору закусок. Тушеную луковицу под густым золотистым соусом. Кусочки краба, диковинные рыбные закуски, палочки спаржи, всевозможные ягоды! У официанта с лица не сходила улыбка.

После закусок они ели фаршированную индейку. Виоле, правда, теперь хотелось только фруктов в вине, но Дёрдь не давал ей пощады: заказал миндальный, обильно сдобренный сливками торт по-неаполитански.

В половине четвертого, когда они всходили на пароходик, Виола двигалась, как неповоротливый, непомерно раздутый воздушный шар. Она походила на грузную, жаждущую рухнуть на землю, искушенную в грехах Венеру. Не пригубив ни глотка алкоголя, она все же была пьяна.

Пассажиров собралось много, местных и иностранцев; палуба быстро заполнялась людьми. Дёрдю и Виоле удалось занять двухместную скамью на корме парохода. Пока пароходик шел гаванью, выступающий далеко в море каменный мол защищал его от качки, Виола оживленно болтала, отпуская замечания все тем же самоуверенно-напыщенным тоном.

— Казалось бы, избитая истина, а все же как верно: море здесь действительно синее. Точно огромная ванна, полная синьки! Жаль, но тем не менее это прекрасно!...

И к легкой иронии ее тона примешалась даже капля грусти.

Но море оказалось не синим и отнюдь не безобидным. Спокойно и равномерно накатывались волны на берег, к серым от пыли пальмам Villa Comunale[1]. На серо-зеленой поверхности моря искристо-белые гребешки пены сверка-

---

[1] Городской парк *(ит.)*.

ли и бурлили шипучей углекислотой. Пароходик чинно выплывал из залива в открытое море.

— Будто сон! — сказала Виола.— Все это как сон...— повторила она.

Но едва суденышко миновало защитный мол, как притаившиеся за маяком злые стихии вырвались из своего укрытия и обрушились на пароходик кошмарами дурного сна. Палуба заскользила вдруг под ногами и встала вертикально, а небо сползло вниз и заглянуло в лица путешественников. Какое-то время пароходик качало из стороны в сторону, а потом он внезапно провалился в пропасть. Глазом эта пропасть была неуловима, но ощущение было такое, будто пароходик рухнул в бездонную глубь.

— Что это? — спросила Виола, изменившись в лице.

— Прибой! — ответил Дёрдь, бросив взгляд на жену.

Палубу точно окатило вдруг какой-то маслянистой желчью: ясно было, что на ноги лучше не вставать. Обе стихии — вода и воздух — сделались грозными и беспощадными. И лишь далекий берег, облачко над Везувием и знойные отблески на верхушках пальм оставались попрежнему приторно красивы, неподвижны и нелепы.

Через пять минут у Виолы началась рвота.

Теперь уже волны нещадно колотили судно. И не давали ему уклониться от ударов все полтора часа путешествия.

Страдания ближних ожесточают нас.

— Обед!..— напомнил тогда Дёрдь.

Виола, без кровинки в лице, отчужденно взглянула на мужа.

— Слишком уж ты налегла на еду!..— усмехнулся Дёрдь.

Поначалу Виола не позволяла провожать себя по палубе к борту. Она сама подходила к краю палубы, после чего, опустошенная и разбитая, брела обратно. Горло саднило, оно сделалось жестким, и пульс болезненно бился где-то у шеи. Остальным пассажирам было пока что весело и Дёрдю тоже! «Обед! — мысленно обращался он к Виоле.— Незачем было столько в себя впихивать! Всю эту пропасть грибов в жирном соусе, спаржу и рыбу, утопающую в масле, и все эти подливки и приправы! Да и львенок! — безжалостно добавил он.— Незачем было шутку сводить к назойливым поучениям. Глупышка! Я люблю тебя! Неужели ты до сих пор ничего не уразумела? Это ведь расплата за неумение понимать шутки, за надменную

чопорность. Ну отчего ты словно бы неживая, лишенная нервов? Твоя известковая белизна, подобно яичной скорлупе, сковывает тебя панцирем. Отбрось же высокомерие! Научись снисходить до мелких дурачеств, предаваться минутным радостям! Когда я шучу, не будь такой холодно-трезвой, научись пьянеть от сознания того, что я тебя люблю! А от твоих шуток у меня на душе полегчает! Мы должны научиться чувствовать одинаково! Но ты ведешь себя как педантичная гувернантка. Сама ходишь по струнке и поучаешь других. За что же я люблю тебя? За то, что ты молода. А очень ли люблю тебя? Вот этого я пока не знаю. Ты — точно зреющий каштан на дереве. И люблю я твою зеленую оболочку!»

Он сжал руку жены. Виола снова вскочила, неуверенными шагами заспешила к борту. Дёрдь остался сидеть на скамейке. Он смотрел на плечи жены и не без удивления отметил, что юные плечи округлы и чуть пухловаты.

«Эх ты, глупышка! — продолжал он мысленный разговор с Виолой.— Сейчас ты унижена, и унизило тебя то «синее» море, которым ты восторгалась без меры. Наказало за тайное пристрастие к банальностям. Это же прописная истина: перед морским путешествием нельзя наедаться до отвала. Даже если оно короткое. Учти: я буду перевоспитывать тебя! Молодость строга и категорична, это старики сентиментальны и склонны к прощению. Я не прощаю, не спущу ни малейшего твоего промаха,— запомни. Во что превратился бы наш мир, если бы птенцам прощали, что они не умеют летать? А летать нужно легко, красиво и безупречно — только так и никак иначе! Ты же косолапа, неповоротлива и не вздумай отрицать! Вот и сейчас — неуклюже свесилась через перила. Взгляни вон на ту итальяночку; каким перламутром сверкают в улыбке ее зубы! Она умеет ценить шутку, даже сейчас смеется! А ведь ей так же несладко, как тебе! Учись!»

Дёрдь чувствовал, что он пьян. За обедом он, по сути, один осушил целую бутылку фалернского. Вино было отменное, не напрасно античные поэты Рима слагали оды в честь этого тускловато-красного напитка. «Ведь это наше свадебное путешествие! — текли его мысли далее.— А у тебя от боли раскалывается голова. В поезде же, после Флоренции, разболелся мочевой пузырь. Ты капризничала, кривлялась, тебя не интересовали ни Вомеро, ни старинные неаполитанские улочки. Вот я и подстроил так, чтобы тебе действительно стало не по себе. Напичкал коварной

antipast[1] в оливковом масле, а ты знай поглощала рыбку за рыбкой, поскольку недостатком аппетита не страдаешь. Ты в состоянии уничтожить фантастическое количество вкусной снеди, моя дорогая, только не хочешь в этом признаться! Плечи твои выдают тебя: они пухлы и округлы, потому что ты наловчилась лакомиться украдкой! Ты хитра, как котенок. Но котята забавны, легки, к тому же котенок, если уронить его, всегда упруго падает на лапки. Ты же судорожно хватаешься за перила, и палуба уходит у тебя из-под ног. Потерпи, сейчас я помогу тебе добраться до скамейки!»

В этот момент Дёрдю сделалось дурно. До борта примерно пять широких шагов, прикинул он. Однако шагов пришлось сделать не меньше полутора десятков, пока он не ухватился за поручни бок о бок с Виолой. Когда дурнота отхлынула, он оторвал взгляд от сумятицы волн и увидел лицо Виолы — застывшую маску.

— Ну, как тебе нравится это дивное синее море? — громко спросил он и рассмеялся. Виола не ответила. Возможно, она даже не заметила, что муж сидит рядом.

— Идем, я провожу тебя к скамье.

Виола не шелохнулась.

— Не смотри на море, оно может ответить тебе взглядом! — менторским тоном посоветовал он.

В это мгновение гигантская волна отхлынула из-под суденышка, и они провалились на несколько метров в бездну; желудок у Дёрдя вдруг подкатил к горлу. Но он не в силах был отделаться от захватившей его мысли.

— Знаешь, что было бы в твоем характере? — снова заговорил он.— Поправить меня... Я, мол, неточно процитировал Ницше; взглядом отвечает водоворот, а не море.

За этот выпад ему пришлось поплатиться. На лбу в мгновение ока выступили крупные капли пота, а сердце мучительно сжалось, как у новичка на взлете трапеции. Теперь он не в состоянии был определить, где кончается палуба и начинается море. Едва успевала мелькнуть мысль, что вот сейчас они погрузятся в воду, как пароходик уже взмывал на головокружительную высоту, балансируя на сером, грязном гребне. До сих пор пейзаж был пронизан солнечным светом, отблесками тех кинжально-острых слепящих лучей, которые утром в поезде с безудержной шаловливостью плясали вокруг них. Но теперь

---

[1] Закуски *(ит.)*.

свет померк и даже самый воздух сделался серым, моросил дождь, мелкий и частый, как нитяная сетка.

— Высокая волна! Очень высокая! — покровительственно заметил, обращаясь к Дёрдю, один из матросов.

Дождь не принес прохлады, он был скорее теплым. И теплая влажная атмосфера лишь обостряла приступы морской болезни. Постепенно все пассажиры перекочевали к бортовым поручням. Дёрдя привела в чувство гротескная сцена. Девушка-итальянка кокетничала с двумя парнями — оливково-смуглыми брюнетами. Все трое наподобие банановой грозди цеплялись за свисающий сверху кожаный поручень. Время от времени то девушка, то кто-либо из молодых людей с гримасой извинения выпускали из рук кожаный поручень и бросались к борту. И тотчас же возвращались на место — свежие, как ни в чем ни бывало. Веселое настроение этой компании не нарушалось.

— Еще сорок минут, и мы причалим в Marina piccola, — оповестил всех стройный, тоненький мальчик, одетый в униформу; в небольших стаканчиках он обносил пассажиров подкрепляющими горьковатыми напитками. Дёрдь осушил стаканчик, Виолу же эти «сорок минут» потрясли, утратив самообладание, она поплелась обратно к скамье.

И вот они опять сидели рядом, мужчина все еще ощущал воздействие фалернского.

— Ну отчего ты не родилась богиней! — воскликнул он, обернувшись к женщине.

Ответа он и не дожидался.

— Ты чувствуешь, как бушует под нами Тирренское море? Это море — колыбель юных богинь, оно любит только юных. Нам пристало бы плыть в жемчужной раковине, а не на этом утлом, хлипком суденышке. Представь себе, мы сидим в радужно-сверкающей раковине, твоя грудь и бедра украшены драгоценностями, оправленными в золото. И одно твое появление, один вид твоего обнаженного тела тотчас укротил бы вожделеющую к тебе морскую стихию, твои свободно ниспадающие волосы заставили бы стать послушными эти волны, отдающие запахом гнили. Ну отчего ты не родилась богиней?

Дала ли ему тогда Виола пощечину?

Нет; она лишь зажала ему рот тыльной стороной ладони. Оттолкнула, не желая слушать его тирады. Ее опять замутило, и она поднялась со скамьи.

Дёрдь продолжал монолог наедине с собой:

— «Это как сон»...— сказала ты о море. Да, море действительно похоже на сон, на грезы, оно величественно и дышит мощью. А знаешь ли ты, чем прекрасны взлелеянные морем богини? Впрочем, откуда тебе знать!.. Прекрасны тем, что им свойственно было превращаться в людей. Порой они отбрасывали прочь свои набедренные повязки и лоскутки, прикрывающие грудь, и предавались любви. С сыновьями Нептуна или же с дерзкими пастухами. В этом секрет их вечной молодости и бессмертия. Да, богини дерзали стать женщинами! Они не боялись страданий, страстей! И потому любое деяние их шло от души, было правдивым и исполненным силы. Они знали обман, воровство и измену. Но их плоть, их кожа и кости состояли из благороднейшего материала. Страшно подумать, какой гадостью приходится питаться нежной и прекрасной коже. Но ты не чурайся ничего человеческого! Амброзия — не более чем жалкая ложь! Амброзией питается лишь уродливая, серая, бескровная оболочка — в тщетной надежде похорошеть. Будь дерзкой, любимая! Пусть объятия твои будут крепкими, а поцелуи подобны укусу. Только перестань грызть, не уподобляйся мыши, нет судьбы более жалкой: ютиться в вонючей норе, быстро, бесшумно красться в потемках. О, прошу тебя, не лги, никогда не унижайся до лжи! Не старайся жалить мелочными укусами. Не страшись утонуть в пучине. Взгляни хотя бы вон на ту итальяночку: как смех преображает и красит ее! Нужно смело принимать все, что нам отпущено! Жить с открытой душой. Ну, а если ты лжива по самой своей природе? Так признай ее, свою лживость, и тогда, возможно, ты станешь богиней лжи. Лишь у скверных поэтов, у жеманных и мелких лжецов нет своего бога. У них есть только мышиный запах, он выдает их низменную суть.

Позади остались две трети пути. Дёрдь откинулся на скамейке, обвел взглядом палубу.

На носу пароходика долговязый парень и девушка со свободно распущенными волосами стояли коленями на скамье. В этой части судна, кроме них, никого не было: здесь палуба проваливалась и вздымалась не меньше, чем на высоту двухэтажного дома. Парень обнимал девушку за плечи, ветер свистел, и молодым людям приходилось кричать во весь голос, чтобы слышать друг друга. К тому времени укачало уже всех пассажиров, и только эти двое не замечали ничего вокруг. Парень и девушка громко сме-

ялись и перекрикивались, казалось, они опираются локтями не о перила, а о самый ветер, о встающие дыбом волны. Дёрдь уловил отдельные английские слова. Обрывки крайне бессодержательного и невинного разговора молодых людей.

«Чем не шулера? Выходят из игры без всяческих потерь,— думал Дёрдь.— Это море бороздили еще их деды и прадеды. Потому у них, должно быть, в крови привычка к этой коварной волне».

Дёрдь прикрыл глаза и теперь еще острее ощутил ядовитую зависть к молодым людям. Быть может, эта всепоглощающая зависть сумеет подавить снова подкатывающую к горлу тошноту. Минуты спустя, когда он, несколько оправившись, открыл глаза, Виола опять сидела рядом. И тут Дёрдю суждено было пережить момент величайшего страха. Он вмиг отрезвел.

Как понять эту таинственную схожесть, это родство человеческой плоти с раскисшей грязью? Лицо Виолы, серое, помятое, подобно было размягченной глине. Никогда еще он не видел ее лица так близко, вплотную, и никогда не выглядело оно столь же чудовищно неправдоподобно. Что случилось с этой молодой плотью? Он схватил руку женщины, и рука была точно такой же — жидкая, податливая глина. Он смотрел на нее, и дыхание у него перехватило. Он хотел обнять это тело, которое вдруг на глазах стало разлагаться, как неживое, и почувствовал, что рука его инстинктивно отдернулась назад. Казалось, от одного лишь прикосновения распадется непрочная оболочка мышечных тканей.

В нем пробудился панический ужас, испытанный однажды в детстве: страх перед аморфностью глины! При доме — в провинции, где он рос, был громадный фруктовый сад. В саду, среди густой высокой травы, струился ручей, а за кустами малины высился холм желтой глины. Эта глина — возможно, оттого, что ее обегал ручеек, постоянно была влажной и липкой на ощупь. Его двоюродный брат, который был старше его, любил там играть, возводил из глины крепости и рыл туннели. А Дёрдь даже и кусты малины всегда обходил стороной и для игр облюбовал себе другое место, выше по течению; в холодной серо-голубой воде он сооружал водяные мельницы. Но однажды Лаци толкнул его, и Дёрдь упал головою в глину. Маской облепила лицо отвратительная жижа, набилась в нос; судорожно глотая воздух, Дёрдь задыхался.

И вот сейчас рядом с ним сидела Виола, женщина, точно вылепленная из грязи и глины. Как долго длилось это кошмарное наваждение? Может быть, считанные секунды.

Неожиданно для самого себя Дёрдь резко встряхнул женщину.

— Оставь меня! — простонала Виола.

Молодая женщина выглядела сейчас ужасно, вялое, бескостное тело из глины — на пьяно качающемся суденышке и в наплывающем с Капри аромате апельсинов.

— Какой ужас! — мужчина тряс Виолу за плечи. Словно пытался стряхнуть кошмарное видение.

— Оставь меня! — повторила женщина, всхлипывая от отчаяния и муки.

— Виола! — все громче восклицал мужчина.

Потом и это наваждение отпустило.

Юноша-англичанин и высокая девушка с растрепавшимися на ветру волосами, весело улыбались им. На палубе опять появился тот жалостливый матрос.

— Всего четверть часа! — возвестил он заветные слова, освобождающие от колдовских чар.

И тут Виола поднялась, огляделась по сторонам, она выглядела совершенно отрезвевшей.

— Давай вернемся обратно!

Трезвость этого серо-стального взгляда пугала: она никак не вязалась с жалобным, притворно детским голоском: «Давай вернемся обратно!» И тотчас же следом: «Я не хочу на Капри», «Неужели ты не понимаешь? Мне противен этот Капри», «Да, мне все опротивело», «Скажи, чтоб пароход повернул обратно!». Так может капризничать четырехлетний ребенок — с опухшим от слез лицом, с покрасневшими веками, так же бессмысленно и настырно скуля и домогаясь невозможного,— когда уже и болеть перестало ушибленное колено или набитый лакомствами желудок, который минутой раньше действительно болел и причинял страдания. Откуда взялся этот неестественный тон капризного ребенка, которым Виола сейчас бросила вызов всему миру и ему, Дёрдю? Отпустила морская болезнь и измученное, униженное тело испытало облегчение, помолодело вдруг? Нет, Дёрдь не обольщался; в этой женщине, в этом теле из податливой глины молодых сил недостало бы даже для нежной улыбки, для застенчивого и ласкового касания руки. Все, что в ней есть, это одна только желчь — ядовитая, все затопляющая; исторгаемая бунтующей пе-

чепью, она проникает в желудок, разливается по всему ее телу, эта густая жидкость хлещет, струится, и клетки жадно впитывают ее!

Он решил избрать роль притворно заботливой няньки. Успокаивал жену, гладил ее холодные руки, плотно смежив веки, чтобы не видеть маски кривляющегося шута.

— Ну, посуди сама, не станет ведь пароход поворачивать обратно! И разве ты могла бы вынести еще раз эти ужасные полтора часа?

Дёрдь пытался взывать к ее разуму. Но возобладавший в ней капризный ребенок упрямо продолжал стоять на своем.

— А я хочу вернуться обратно!

— Конечно же, мы вернемся, если ты того желаешь. Но пароход с Капри отправится только завтра утром.

— Видеть не желаю этот Капри!

— Капри — такая же твердая земля, как и Неаполь. Там можно спокойно стоять и ходить, почва не колышется под ногами. Еще несколько минут, и ты сама убедишься в этом.

— Ненавижу, ненавижу!

— За ночь ты отдохнешь, а утром проснешься на дивном острове.

— Это жестоко с твоей стороны везти меня туда. Ты должен был знать, что я не вынесу морского путешествия!

Он попытался оправдаться, беспомощно и неловко:

— Но, но ты же хотела!

Голос из-под густо размалеванной маски почти срывался на визг:

— Почему ты не предостерег меня?

Дёрдь обессиленно откинулся на спинку скамьи: волна тошноты снова клубками подступала к горлу. Он поборол очередной позыв. По сути Виола была права: он действительно проявил слабость, уступив ее небесно-голубым, приторно-сладким планам — свадебное путешествие по Италии, медовый месяц на сказочном острове, на Капри. С этим планом он примирился не без внутреннего сопротивления, так же, как и с пастельно-голубыми, отороченными белыми кружевами платьями Виолы. Все лицемерие Виолы, наигранность ее чувств отразились в этом плане. Человек с бахвальством и рисовкой поглощает спиртное, а затем, в какой-то миг между двумя глотками крепкого напитка, вдруг возжелает сливок,— столь же надуманным было и это путешествие. Капри, а вблизи — Помпеи, по-

гребенные под пеплом влюбленные в объятиях друг друга — и чуть слышный шепот: «Тебе не хотелось бы так же умереть со мною?» Почему же он сразу не разбил в пух и прах эти сливочные планы? А теперь ему не оставалось ничего другого, кроме как продолжать играть роль заботливого пестуна.

— Я заказал комнату с балконом. Завтра утром спящую я вынесу тебя на балкон. И там ты проснешься.

Он нежно погладил ей руку:

— «Villa Siréne» — так называется наша гостиница. Да по сути, и не гостиница, а небольшая вилла. Ты сама убедишься, что это тихое, уединенное местечко. Мы будем предоставлены сами себе. И ты станешь сиреной и околдуешь меня.

Дёрдю самому хотелось верить, что все так и будет.

— И кожа твоя станет иной, она сразу же пропитается апельсиновым ароматом,— в нашу первую ночь на Капри я приникну к ней губами, и покажется мне, что кровь под нежной кожей — не солоновата, а сладка, как лучшие апельсины юга!

Виола постепенно успокаивалась. Безмолвная, недвижная, она полулежала, откинувшись на спинку скамьи. Лицо ее опять сделалось мертвенно-бледным. «Точно жук — только прикидывается неживой»,— подумал Дёрдь.

Минут через десять пароходик пришвартовался в гавани.

К тому времени незаметно подкрались сумерки; по-южному быстро темнело. Остров и море обволакивал туман, вдоль берега цепочкою замерцали фонари, холодно и враждебно блестели капли дождя.

Море утихло, пароходик плавно вошел в Marina Grande, а не в Marina piccola: юный официант оказался неудачным прорицателем. Дёрдь и Виола были измученные и оцепенелые, как лунатики. Они пришли в себя, когда чьи-то теплые ладони бережно подняли их с палубы, затем мягко, по воздуху, опустили снова в темноту; но теперь море они ощущали у самых ног. Они сидели в лодке. А чуть погодя почувствовали, что стоят на твердой земле.

Остров напоминал оперные декорации, мрачные и темные. Маленькая площадь на переднем плане воспроизводила атмосферу средневековья: к причалу прибыл корабль заговорщиков, темные силуэты мужчин и женщин вмиг исчезли, растворились во мраке. И все же служитель «Сирены» безошибочно определил своих гостей, в момент

отыскались и их чемоданы; Дёрдь и Виола, не успев опомниться, взмыли куда-то ввысь. Фуникулер, как огромный ловкий зверь, мягко и бережно подхватил их обоих — они оказались последними — и поднял на верхнюю площадку, двигаясь осторожной, беззвучной кошачьей поступью. Трос ни разу не скрипнул, плывущая по воздуху в кромешной тьме кабина остановилась без малейшего толчка; они вышли из-под навеса фуникулерной станции.

На верхней площадке Дёрдь поймал себя на том, что час назад он солгал, сказав: остров стоит недвижимо и земля под ногами там не шелохнется. Крохотная площадка дрогнула, а когда он взглянул на приземистую колокольню, она накренилась прямо на глазах. Последняя, коварная волна настигла их и скрылась под каменный настил площадки. Виола всем телом повисла на руках мужа. Дёрдь тоже испытывал головокружение, боль в висках пульсировала нестерпимо, как бы стремясь вырваться наружу.

Наконец-то!..

Через узкую темную улочку они попали в напоенный запахами дождя сад, под ногами хрустел мелкий гравий, вот несколько ступенек, они взошли на круглую террасу — и наконец очутились в уютном холле, где ждали их свет и покойные кресла; Виола тотчас же опустилась в одно из кресел, откинулась и закрыла глаза.

— Синьора нездорова? — встретил их сочувственным вопросом портье, облаченный в форму.

— Море!..— односложно ответил Дёрдь.

Он недовольно осмотрелся: холл был заполнен людьми — холеные, гладкие физиономии мужчин и женщин в темных туалетах. До слуха его донеслась приглушенная музыка. Он решительно взял жену под руку, помог ей подняться с кресла, чувствуя на себе десятки насмешливых, оценивающих взглядов.

Наконец они очутились у себя в номере. Но в этот момент оба вновь ощутили едва уловимую вибрацию; как на пароходе во время качки. Дёрдь ухватился за спинку резного стула и осторожно опустился на сиденье.

Они уснули.

Сон длился, должно быть, минуты две, не долее. Проснулись они в просторной комнате с красными стенами, в каждой стене, со всех четырех сторон, можно было увидеть широкую, величественную дверь. В комнате стоял рояль и повсюду было понаставлено множество цветов

и растений в кадках. Столь же бессмысленным казалось множество расставленных тут и там стульев. Пол можно было назвать красивым с его чередованием красных и белых каменных плиток, на белом фоне резко выделялись красноватые пальмы. Странно, что в первый момент, войдя в комнату, они не заметили всего этого великолепия.

У рояля восседала седовласая, пожилая дама, именно в этот момент она с силой ударила по клавишам.

Инструмент отозвался мощным гулом, в дверях справа поспешно возник портье.

— Scusi... scusi tanto[1]...

Склонившись к даме, он принялся торопливо что-то нашептывать ей. Дама, опустив руки на колени, смотрела на Дёрдя с Виолой; портье продолжал свои объяснения. Наконец дама кивнула, встала и удалилась через дверь слева.

Теперь портье повернулся к ним. Показал на рояль, развел руками, потом на ведущие в комнату четыре двери, на пальмы — и снова развел руками, затем, подхватив два стула, решительно и сердито загородил ими ближайшую дверь. Таким же способом он забаррикадировал дверь напротив гостей: за дверью была небольшая терраса, а в глубине виднелась холодная, отливающая металлическим блеском гладь моря. Теперь портье что-то говорил им, такой же скороговоркой, как минутою раньше — музицирующей даме. Они напряженно вслушивались, пытаясь понять, о чем идет речь.

Позднее они все же поняли. Портье объяснял, что «Villa Siréne» переполнена. На сегодняшнюю ночь их больше негде разместить, кроме как в музыкальном салоне. Телеграмма — как же, как же, телеграмму в гостинице получили, но комната, к сожалению, не освободилась; предполагалось, что сегодня многие из постояльцев отбудут, однако они задержались. Но завтра им будет предоставлен отдельный номер; впрочем, музыкальный салон и просторнее, и удобнее, чем сами номера, здесь они смогут отлично отдохнуть с дороги и выспаться! И терраса здесь есть с видом на море! Портье снова развел руками...

В этот момент в комнату вошел человек, который встречал их на пристани, сейчас он нес три невысокие складные ширмы. Одну за другой он поочередно установ-

[1] Прошу прощения *(ит.)*.

вил их перед дверями, каждая ширма закрывала высоченную дверь лишь на треть, но ручки двери скрылись. Попутно выяснилось, что ни одна из дверей не запирается.

— Кому придет в голову запирать музыкальный салон! — удивленно воскликнул портье.

А ключи от двери утеряны. Впрочем, может, они не пропали, просто их не могут найти.

— И сюда может войти каждый, кому заблагорассудится? — поинтересовался Дёрдь.

Портье широко улыбнулся:

— О нет, нет, синьор! Никто, ни одна живая душа не станет беспокоить молодоженов!..

И портье ободряюще подмигнул им:

— Всем в гостинице уже известно, что у вас свадебное путешествие! Scusi... scusi tanto... Пришлось сказать остальным гостям!..

Дёрдь с горечью рассмеялся.

Портье отвесил поклон, точно заправский фокусник. Попросил извинения и уже от двери, поверх невысокой ширмы еще раз сунул голову к ним в комнату: ужин им, разумеется, сервируют здесь, в музыкальном салоне!

— У нас превосходные закуски, восхитительная фаршированная рыба, вкуснейшие сладости и знаменитое фирменное красное вино — «Villa Siréne»!

— Не нужно нам никакого ужина!.. — с отвращением воскликнула Виола.

Она расплакалась, ее снова затошнило. Дёрдь никак не мог найти кнопку звонка. Виола плакала и изрыгала рвоту на красные плиты пола. Она долго не желала успокоиться.

...Около полуночи Дёрдь пристроился на террасе; едва уловимый ветерок доносил соленый запах моря и пленительные ароматы весенней ночи. В вышине зажглись звезды, воздух заметно потеплел. Неведомые деревья, цветы, кустарники наполняли своим ароматом южную ночь, незнакомые звуки, точно легкие воздушные пузырьки, взлетали кверху.

Пережитые страдания остались позади.

— Перестань быть такой чопорной! Ну, пожалуйста, развеселись, рассмейся! — настойчиво молил он Виолу, когда портье удалился и они наконец остались одни.

Виола обратила к нему разобиженное, опухшее от слез лицо.

— По-моему, это бесподобно очаровательная шутка! И здесь нас встречают теми же самыми трюками, какими пичкали в Неаполе! Вспомни хотя бы фаршированную индейку! Сколько труда нам стоило от нее избавиться! А здесь нас, оказывается, поджидает ее родственница: фаршированная рыба! Неужели ты не улавливаешь комизма ситуации? Ну а один этот музыкальный салон чего стоит! Дама у рояля! И не забавно ли, что к нам в комнату могут войти с трех сторон! Нет, я ошибся, не с трех, а со всех четырех сторон! Заметь, ведь с террасы тоже можно попасть сюда! На террасу ведет лестница из сада. На рассвете, к примеру, с Анакапри отправится ослик с поклажей и, протрусив часа полтора, как ни в чем не бывало забежит на террасу: проведать нас. Ну, прошу тебя, Виола, смейся вместе со мной. Распрямись, расслабься, иногда приятно посмеяться и над самим собой! Ведь ничего страшного не случилось. Ну, скажи, ради бога, что с тобой? Море — причина твоих страданий? Да, море — сильное и равнодушное, на то оно и море! А Неаполь криклив, как бездарный актер, на то он и Неаполь! Это и есть в нем самое забавное и приятное. Грубоватая приветливость всегда лучше, нежели приторная слащавость! Разве у тебя никогда не кружилась голова, тебе никогда не доводилось, споткнувшись, растянуться на земле? А уж это ли не смешно! Но, трагедия в чистом виде — это скучнейший жанр, убийственно скучный! Ну, пожалуйста, встряхнись! Мы одни, мы с тобой вдвоем, в чужом краю. Так пусть же опьянит тебя эта свобода, она слаще фалернского, эта беспредельно счастливая и безмятежная независимость! Только взгляни, ну разве они не прелестны, эти игрушечные ширмы! Юные и целомудренные стражи нашей с тобой любви! Я готов выполнить все твои желания. Хочешь, пойдем погуляем? Или удерем отсюда? Мы вольны бежать на все четыре стороны!

Исчерпав свое красноречие, он умолк на несколько мгновений.

— У тебя все еще болит голова? Разреши, я поглажу!

Виола не разрешила. Она лежала без движения, замерев, как статуя.

И теперь, после всего пережитого, Дёрдь в одиночестве сидел на террасе, охваченный чувством давно знакомого страха. Окружающий мир вдруг лишается порядка, теряет смысл! И тогда самый верный наш приятель и молочный брат — это абсурд. Помнится, в гимназические годы, как-

то вечером он вернулся в школу: забыл в парте свою новую авторучку. Здание было погружено в темноту, и ему пришлось ощупью пробираться на третий этаж, чтобы попасть в свой класс. Поначалу ему не встретилось ни одной живой души, и он крался в потемках, точно вор. Зато наверху в коридоре горел свет, коридор примыкал к чертежному залу, а рядом помещалась квартира учителя черчения. Там, должно быть, собрались гости, и, судя по всему, большая компания; учитель черчения был художником и часто принимал у себя гостей. Дёрдь как можно быстрее пересек освещенную часть коридора; попадись он кому-нибудь на глаза, нелепо было бы объяснять, зачем он здесь. Он проскользнул в класс, в темноте отыскал свою парту; да, ручка оказалась на месте. Какое счастье, что никто из ребят ее не заметил и уборщицы, видно, проглядели тоже. Сунув ручку в карман, он двинулся было к выходу, когда услышал в коридоре чьи-то голоса и звуки приближающихся шагов. Дёрдь узнал голос учителя, тот шел не один, по всей вероятности, с какой-то женщиной. Они остановились у порога, вот и ручка двери повернулась — что же делать? Что говорить, если его застанут одного в темном классе? Глупейшая ситуация, попробуй тут объясни. Поверят ли, что он действительно забыл здесь авторучку? И, движимый инстинктивным порывом, он совершил еще большую глупость: поспешно нырнул под парту. Почти в то же мгновение вспыхнул свет, и двое вошли в класс.

— Это ваша кафедра? — спросила женщина.

— Да! — голос учителя звучал непривычно хрипло.— Хотите посидеть на моем месте?

В следующую же минуту свет снова выключили, и в полнейшей темноте слышно было, как те двое целуются.

— Нет, о нет! — задыхаясь, шептала женщина.

Дёрдь сжался в клубок под партой; в висках мучительно пульсировало, сердце стучало, как бешеное; по шелесту одежды и характеру звуков можно было недвусмысленно догадаться, что эти двое заняты интимным делом. Наверное, вспышка страсти длилась не более двух минут, затем учитель и его гостья вышли из класса. Мальчик в полуобморочном состоянии сидел на полу под партой, долгое время не решаясь даже шелохнуться. Наконец он осмелился выйти в коридор; но как пересечь полосу света перед чертежным залом? Уж на сей раз его определенно заметят. И тогда он стал пробираться в противоположную

сторону: тут коридор упирался в стеклянную дверь, ручка двери легко подалась. Дальше дорога ему была известна: он попадал в боковой коридор, а оттуда — на балюстраду актового зала. Затея была безумная, тем не менее он, ни минуты не колеблясь, перемахнул через барьер — в том месте, где одна из колонн поддерживала балюстраду,— и заскользил вниз по гладкой круглой колонне из искусственного мрамора, точно это был всего лишь гимнастический шест, разве что толще обычного. Он довольно сильно шлепнулся об пол, по пальцам и ступням ног забегали тысячи жалящих муравьев. Но зато теперь Дёрдь находился этажом ниже. Мальчик так же ощупью пробрался по лабиринту коридоров, разбил оконное стекло и выпрыгнул в темноту двора. Окно служителя светилось совсем рядом, но шума никто не услышал. Сломя голову промчался он по двору, по улице, прибежал домой, а ему все еще не верилось, что он спасен. Тянулись недели и месяцы, а панический ужас не отпускал его, заставлял сердце колотиться, как бешеное; ужас, который он испытал в той западне в темном классе, на балюстраде актового зала, скользя по холодной гладкой колонне. Весь ужас пережитого дошел до его сознания лишь впоследствии, а в те минуты он не раздумывал и не колебался; ему ничего не стоило размозжить голову, сорвись он с колонны, но он не остановился ни на миг, повинуясь лишь инстинктивному велению: «Скорее прочь отсюда!»

Насыщенные солью испарения моря смешались со стойким запахом апельсинов со стороны Монте Соляро. Мужчина в изнеможении лежал на террасе, затопленной густыми и пряными ароматами южных растений. И тот свой прежний страх он как будто заново пережил во сне, а не воспроизвел его в памяти. Ну, разве это не сон; находиться бок о бок с какой-то чужой женщиной в этом нелепом салоне, куда с четырех сторон открываются двери. Неожиданно для самого себя он поднялся и вошел в комнату.

Там, на застеленной узкой кушетке, спала Виола. Она пролежала весь вечер, самой позой своей выражая страдания измученного тела; лежала и стонала. Но теперь Виола спала. Она лежала на животе, обняв подушку, и глубоко зарылась в нее головой.

Виола лежала, вытянувшись в свободной позе, лица ее не было видно. Дёрдь долгое время смотрел на нее, и вдруг его осенила мысль: тело, сама поза выдают Виолу.

Страдающее от боли тело скрючивается, принимает позу новорожденного, словно оно одержимо стремлением вновь уйти в материнское лоно. Но тело этой женщины было вытянуто, как упругая струна, а это значит: она лгала, низко и подло.

ЛАСОЧКА

В чем же лгала Виола? Тогда ночью, на Капри, вне сомнения, она играла роль больной. А в иных случаях — изображала радость, любовь или гнев; все эти чувства она не умела передать с душевной прямотой; ее скрипичная игра, пение были проникнуты фальшью, ее молодость, ангельская кротость были не более, чем обман; даже бег ее был ненатуральным, даже сон. Она спала, как спят кролики.

Есть такие сосуды с узким горлышком, куда ничего не вольешь; так и Виола не в силах была ничем заполнить свое существо. Чувства и страсти попросту не вмещались в ней, не находили для себя органов восприятия.

Сколько раз наблюдал он за Виолой: вот она сидит в ванной комнате перед чудовищно огромным зеркалом и скучающе, без всякого интереса умащивает себя разными кремами. Не умела, не могла она, даже мельчайшими порциями бессильна была вкусить многообразие окружающего мира, только ковырялась пальцами в богатейших оттенках восприятий, и ей хватало самой малости, что оставалась на указательном пальце. Малую толику ощущений она, как кремы и румяна, наносила на кожу. И все наносное вмиг высыхало на ней, становилось не более чем маской. Ни в поцелуях ее, ни в испытываемой ею боли никогда нельзя было почувствовать глубины — хотя бы на миллиметр.

— Виола! — позвал он, всматриваясь в темноту.

Дёрдь хотел зажечь спичку, чтобы еще раз увидеть лицо, такое до мелочей знакомое, эту лишенную нервов, ужасающе спокойную маску. Он чиркнул спичкой по коробку, но пропитанную миазмами тишину колодца и зыбко колышущуюся паутину не смог разорвать внезапно вспыхнувший язычок пламени. Головка спички обломилась. Дёрдь остался стоять в глухой темноте.

— Виола! — окликнул он еще раз.

Тело не шелохнулось.

«Какое же лицо соответствовало этому много раз про-

износимому имени?» — задумался мужчина. Лицо это нельзя было назвать некрасивым. Оно выглядело так, будто на него постоянно падал лунный свет. И выражение таинственности нередко нисходило на него: садовая птаха на тонкой ветке. Но птаха мгновенно вспархивала — очарование длилось недолго. Лоб был высоким и открытым. Но истинная суть этого лица определялась невидимой глазу материей, его составляющей. Понадобились годы совместной жизни и долгая серия экспериментов, чтобы установить со всей достоверностью: лицо это, под довольно привлекательной кожицей-оболочкой — из грушевой айвы. Попробуй на вкус, и ты ощутишь жгуче-терпкие, сухие растительные волокна. Остистые и колючие. Они забивают рот, и ты давишься ими.

Мужчина дважды вслух произнес ее имя, но тело Виолы оставалось безмолвным. Возможно, она и не поняла, что обращаются к ней... Возможно, в последние годы она отзывалась совсем на другое имя. Да и имен у нее, помнится, было четыре.

Первое письмо, которое Дёрдь получил от Виолы, было подписано: Ио. Всего несколько строк на бледно-сиреневой бумаге:

«Я — не та, за кого вы меня принимаете. У меня ничего общего с той отвратительной компанией. Я оказалась там случайно, так же, как и вы. В обществе я не нуждаюсь. Подолгу брожу в Будайских горах одна. Дикая мята и полевые цветы — вот мои подруги. Если пожелаете, мы могли бы как-нибудь побродить вместе».

«Дикая мята...» — Взгляд его задержался на этих словах. «Ах ты, заносчивая, глупая пичужка! — подумал он.— Эти запястья и колени, несформировавшиеся, как у подростка, юная кожа, волосы, жесты; да, пожалуй, имеет смысл заняться твоим развитием, вылепить из тебя человека».

Три дня спустя они сошли на верхней станции подвесной дороги, пересекли площадку для игры в гольф и улеглись на поросшем травой склоне горы, над глубоким ущельем.

— Что это за имя — Ио? — строго спросил Дёрдь.

Он покойно лежал на спине, курил сигарету и созерцал мирные предзакатные облака.

— Дайте и мне тоже! — протянула руку Виола.

Мужчина молча протянул ей оранжевую пачку сигарет и спички.

— Мне нравится, что вы курите эти ароматные сигареты...— сказала девушка.— И еще мне нравится, что у вас нет безвкусного громоздкого серебряного портсигара. Они такие тяжелые, как пресс-папье. Когда сигареты в пачке, оно, может быть, и небрежно, но как-то изящнее.

Девушка неумело затянулась и продолжала нахваливать его:

— И хорошо, что вы не держите зажигалки. С зажигалками вечно возятся, как с игрушкой. Спички оригинальнее, консервативнее.

— А вам больше нравятся консервативные мужчины? — повернулся к ней Дёрдь.

Теперь и девушка пыталась улечься навзничь, с неумелым кокетством.

— Да! — смело ответила она, лежа на траве.

— Будто настолько уж глупы современные щеголи! Или они, по-вашему, жадны, навязчивы сверх меры и неловки?

— Я совсем их не знаю.

— Ну, конечно, ведь ближайшая ваша подруга — дикая мята.

Юное лицо от обиды сделалось замкнутым и постарело.

— Вы насмехаетесь надо мною?

Мужчина примирительно взял девушку за руку, легко пожал ее кисть, и обида незаметно растаяла в этом пожатии. Долгое время оба молчали.

Затем Дёрдь отбросил сигарету.

— Вы так и не ответили мне, кто эта Ио?

— Иола.

— А это еще что за чудо?

— Последняя любовь Геракла.

Ну, конечно же, она нахваталась высокой античной премудрости! Дёрдь познакомился с Виолой у Шебешфи, молодого приват-доцента. Как-то ему пришла мысль навестить этого известного переводчика Эсхила, и совершенно неожиданно для себя он застал в саду у Шебешфи целую группу раскрасневшихся от возбуждения молодых людей: случайно возникший кружок самообразования. Это и была та самая «отвратительная компания» — Шебешфи и его юные друзья со своими юными женами. Со времени того визита прошло десять дней.

— Значит, это Шебешфи перекрестил вас на древнегреческий лад?

— Нет, это мое собственное имя.

В голосе девушки теперь появились тягучие и поучающие нотки:

— Виола — это древнегреческое имя. Но античные греки произносили по-иному: Иола. И по-гречески оно означало то же самое: фиалка. Древние греки очень любили этот цветок. И ту женщину, последнюю любовь Геракла, тоже звали Иола.

Дёрдь решил слегка поддразнить ее.

— И что вам известно о ней?

Девушка сохраняла невозмутимую серьезность.

— Именно к ней приревновала Геракла Деянира и послала ему плащ, пропитанный кровью кентавра.

— И вы не боитесь такого наследия?

— Нет, не боюсь.

Она даже не улыбнулась.

Таковы были истоки легенды об Иоле: поверхностная образованность, избыток самоуверенности и самодовольство. Духовное родство с дикой мятой.

— Ах, маленькая, несмышленая кокетка! — Дёрдь склонился к самому лицу лежащей в траве девушки.— Шебешфи не удосужился просветить вас, что Ио и любимая Геракла Иола — отнюдь не тождественны? Ио, позвольте вам заметить, была юной дамой более аристократического происхождения и возлюбленной самого Зевса. Ревнивца Зевса! Ну, так падет на нас гнев владыки Олимпа!..

И он крепко приник к губам девушки. Губы ее слегка кровоточили после этого поцелуя.

Но был и еще один источник происхождения этого имени — Иола. Подлинное имя Виолы, ошеломившее Дёрдя, он услышал за первым семейным обедом.

«Йолан»,— обратилась к ней мать.

«Йолан» — называли ее и братья, Антал и Рудольф. Близнецы-братья были на десять лет старше ее. Отец же вообще был лишен возможности называть ее по имени. Отца Виолы эти трое уничтожили, погребли заживо. Состоял при семье некий человек, которого все они звали «папашей».

Мужчина был пожилой и строгий, невысокого роста и худощавый; лицо его отливало неестественной желтизной,

и сама кожа казалась шершавой, точно кожура лимона. Он был аптекарем. Какое-то время он жил среди них, круто правил домашними, а потом умер. Они регулярно наведывались к нему на могилу; каждые две недели носили цветы, а в день поминовения усопших — венок. К братьям Виолы перешло ведение дел в аптеке «папаши». А когда Виоле исполнилось восемнадцать, братья открыли ей тайну: папаша Альберт приходился им приемным отцом. Родной же отец почти сразу после рождения Виолы подло бросил семью, развелся с женой. Мать Виолы в скором времени снова вышла замуж за невзрачного аптекаря.

Когда Виола попыталась было отыскать в доме хоть какую-то память о своем отце, то не нашла ни единого следа: ни письма, ни фотографии, ни цепочки от часов или трости. Всякая память о нем была вытравлена. Ей сочли нужным сказать лишь, что его нет в живых. Впоследствии она узнала: могила отца находится на кладбище одного провинциального городка.

Поначалу Виола была потрясена этим открытием. Но постепенно осознала: ничто их и не связывает с тем, родным, отцом. И на том успокоилась.

Все люди в этой семье были строгие, справедливые, дисциплинированные. Сыновья с пониманием относились к матери. А мать создала теплый, уютный очаг для своих детей.

— Зовите меня матушкой Эмми! — приветливо и добросердечно попросила она Дёрдя тогда же, за первым семейным обедом.

Матушка Эмми была пухлая, сентиментальная и приторно-слащавая, как подкрашенный постный сахар. И вместе с тем живая и настороженная. Она перекатывалась с места на место с легкостью мяча — как будто бы без помощи ног и без малейших усилий.

«Белочка!» — ласково называли ее дети.

Но, как известно, для стремительных прыжков белке необходимы твердые, крепкие мускулы. И под кожей, присыпанной рисовой пудрой, в приторной сладости постного сахара действительно крылась и пульсировала немалая мускульная сила.

У обоих близнецов были белольняные волосы и красноватые глаза, как у всех альбиносов. Оба носили очки с сильными выпуклыми линзами и постоянно щурились. Припухшие верхние веки их были толщиной с гусиное

перо. Один из братьев был совершенно белокожий, другой же отличался на редкость странной пятнисто-белой кожей, как будто его в младенчестве обрызгали гашеной известью.

Размеренность и порядок в этой семье жили глубокой и холодной жизнью, как горное озеро; но на самый этот порядок был наброшен покров из вязаных кружев мещанства и слащавой обходительности. И все слова и поступки членов семьи как бы взвешивались на чутких чашах невидимых аптекарских весов. Вдове и ее детям не вскружила голову власть, данная фармакологией: ежедневная работа с ядами, с губительными силами, с веществами, снимающими судороги или дарующими облегчение. Напротив — яды приучили их к точности и пунктуальности, заставили ценить каждый миллиграмм. И в этой семье Виолу звали «Йолан».

Из Йолан сотворила себе повзрослевшая Виола звучное, как дворянская грамота, имя: Виоланта, Виола — цветок фиалки.

С какою силой, с какой непреклонностью произносили домашние ее подлинное имя! В кругу семьи, между собою они говорили по-немецки и с немецким ударением, на свой лад смачно повторяли: Йолан. Обитай она до девятнадцатилетнего возраста в какой-нибудь другой едкой среде, скажем, по шею в чернилах, даже чернила не могли бы пропитать ее существо глубже, чем это имя. Но она жила, погруженная не в чернила, а в светло-голубую синьку. Потому что имя это в семье всегда звучало любовно и ласково, как нежное поглаживание:

— Йолан...

Виола, Иола — все это были литературные фантазии, милые причуды, вполне безобидный бунт, вызывающий разве что улыбку. О существовании Иолы в семье, естественно, и не подозревали, а услышав, просто не поняли бы. Трехлетняя Йолан упала однажды на лестнице и скатилась вниз по ступенькам их дома в Буде. Йолан — школьница — неизменно была отличницей. Йолан, взрослую девушку, после экзаменов на аттестат зрелости тетка из Кулачпусты возила с собой в Венецию. Сколько раз за годы своих экспериментов Дёрдь чувствовал: Виола неизменно оставалась прежнею Йолан. С трогательной верностью — Йолан.

Понапрасну потеряла она невинность, еще будучи юной девушкой. Понапрасну развелась с ним, своим му-

жем, и переехала в отдельную квартиру. А после того понапрасну меняла мужчин, одного за другим. Как понапрасну пала до воровства, понапрасну пила, понапрасну играла на скрипке — оставалась она при этом все тою же Йолан.

Верность этому имени красными пятнами проступала у нее на щеках, когда кто-либо из гостей на вечеринке в их квартире опрокидывал бокал с вином или ронял на ковер пепел с сигареты. (После их развода она прославилась в кругу знакомых своей способностью даже в состоянии сильного опьянения двигаться безошибочно, как лунатик, наводя порядок в доме: в самый разгар шумных, разудалых попоек, когда компания рассаживалась на полу, она вставала, молча, недовольно нахмурив лоб, приносила из кухни совок и метелку и аккуратно сметала все, что успевали разбросать на полу, будь то опрокинутые бокалы или дамские носовые платки, и, слегка пошатываясь, с совком и метелкой выходила на кухню.) От Йолан была в ней эта неистребимая любовь к порядку: туфли ее неизменно выстраивались носок к носку в обувном шкафчике; нарядное цветное белье громоздилось уныло-ровными башнями; место для стола, шкафа или стула точно бы незримо размечено было ею мелом на паркетном полу, у нее даже через пять лет стул стоял на том же самом месте, скованные железной дисциплиной все вещи становились холодными и бездушными. Йолан с педантичностью преподавателя арифметики четко знала, что из сада на открытую террасу их дома ведут девять ступенек. Йолан не могла сорвать с куста цветущую ветку, не умела дарить цветы. Йолан любила читать книги, набранные колючим готическим шрифтом. У Йолан были чуть косолапые ноги, что мешало ей обрести свободу и легкость движения — бегать, порхать, парить; коварная тяжесть имени всегда давила ее книзу. Йолан страдала хроническим насморком, с детских лет и до самой своей смерти она поминутно шмыгала носом — и старалась скрыть это. У Йолан было воспаление желчных протоков, она пила с десяток различных целебных настоек, и с лица ее не сходило обиженное, даже страдальческое выражение; от несварения желудка лицо ее постоянно было хмурым.

«Так, значит, тебя зовут Йолан?» — изумленно воскликнул Дёрдь, когда на том семейном обеде впервые услышал это имя.

Ее третье имя? — Ласка.

Так ее дразнили, и при одном упоминании этого прозвища у нее всегда воспалялись желчные протоки.

Она получила его вскоре после их развода, возникновению этого прозвища предшествовала краткая история.

Незадолго перед тем Виола переселилась на улицу Кадьло, в однокомнатную квартиру.

Праздновалось новоселье. Хозяйка знакомила гостей с квартирой, показывала им облицованную кафелем ванную комнату, со сверкающей встроенной ванной. Провела гостей на небольшой, выступающий вперед балкончик.

— Это мост влюбленных,— сказала она.— И с неуклюжим кокетством добавила: — Ну, кто не побоится пойти со мной?

В комнате на стене висела небольшая картина Гулачи [1]. Это был подлинник.

— Каким чудом к тебе попала эта картина?

— Мне ее подарили.

Иногда у нее бывали такие секреты.

— Знаете что? В моей квартире водятся ласки,— чуть позднее объявила она.— Прелестные, умные ласочки. Смотрите, вот тут щель!..

Но развеселившиеся гости не слушали ее.

Тогда она — слегка подвыпив — начала настаивать:

— Не мыши! Ласочки. А вот здесь они прячутся, ныряют в мышиную норку.— Она подхватила на руки свою кошку.— Не верите? Вот посмотрите, и киска моя боится их. Не у каждого в доме водятся ласки.

Тут на нее обрушилась со своим ехидством Пири Манёки:

— О да, Виола, ты у нас такая утонченная и элегантная, что у тебя могут водиться только ласки и уж никак не мыши! Ласки в мышиной норе. Ты у нас просто волшебница!

А маленький горбун Пишта Шоки не менее язвительно добавил:

— Виола, да ты и сама — ласка! Ты доподлинный шедевр великого Леонардо: молодая дама с лаской.

Виола разобиделась, нахмурилась, потом вмиг сделалась кроткой, простой и милой; все понапрасну — кличка Ласка утвердилась за ней. Через какие-то полгода даже малыши лепетали при встрече с нею:

---

[1] Гулачи Лайош (1882—1932) — венгерский художник.

— Тетя Ласка!..

Кличка неизменно порождала глупые и грубые шутки. Ее норовили ущипнуть, коснуться ненароком и при этом неизменно добавляли:

— Нежная кожа! Как у Ласочки...

Стоило ей ответить кому-то резко, и тотчас же следовала реплика:

— Огрызаешься, Ласка? Кусаешься?

Шебешфи как-то добавил новую долю информации:

— Вам известно, что ласки по ночам добывают себе пропитание?

Сообщение было встречено взрывом восторга:

— Такое полезно знать на всякий случай!..

В энциклопедии вычитали, что ласка пьет кровь своей жертвы.

— Ты пьешь кровь? Ах ты, бестия этакая, да тебя истребить надо!

К рассвету вся компания выстраивалась вокруг нее и хором скандировала:

— Ис-тре-бить! Ис-тре-бить!

Этот поток плоских шуток нелегко было вынести, сохраняя высокомерное, благородное, слегка обиженное, полупрезрительное и в то же время всепрощающее выражение лица, почти улыбку; но у нее было столько масок, что даже эти шутки ей удавалось побеждать.

И в этом тоже была она, Виола.

Для Дёрдя она всегда оставалась Виолой.

Но которое же из ее имен и обличий было маской, а какое истинной сутью?

Как трудно определить это сейчас: здесь, в темноте.

ШЕБЕШФИ И КОМПАНИЯ

Одна из вечеринок у Шебешфи.

Пожалуй, не столько впечатления о реальных событиях, сколько нечеткая и случайная серия сценок, зафиксированных как бы на стометровой узкопленочной ленте, творении кинолюбителя. Нас приглашает кто-то из друзей, мы попадаем в довольно пеструю и многочисленную компанию, передвигают стулья, настраивают киноаппаратуру, вскоре гаснет свет, и проектор отбрасывает прощупывающий пучок лучей на серебристый экран, приложенный к противоположной стене. И возникают ли-

ца — по большей части незнакомые — и ситуации до омерзения знакомые: вот соседка слева прыгает головой вниз в глубокий бассейн, вот сосед справа скользит на лыжах по Будайским горам, вот кто-то незнакомый несется вниз по Дунаю на байдарке.

И тот вечер по содержанию, динамичности и характеру был схож с любительским фильмом. Сцены неожиданно обрывались, а действующие лица постоянно, именно в тот момент, когда могли бы взволновать по-настоящему, выпадали из узкого кадра. Сценки беспорядочно мелькали, без вступления и завершения; но все же было в них некое единство, почти обезоруживающая откровенная неприкрытость содержания.

Вначале на экране появился Шебешфи, ухмыляясь безо всякой причины. Эта ухмылка, свежая, как молодой салат, возникла мгновенно и все же казалась застылой на юном, ангельски прекрасном лице. По годам Шебешфи был самым молодым приват-доцентом на философском факультете. Локти и колени его были угловаты и негибки. Конечности, то бессильно поникшие, то трескуче суетливые, казалось, состояли из дранки, связанной бумажным шпагатом; и хлипкая бечевка эта поминутно грозила оборваться. Увлекательно и вдохновенно переводил он трагедии великих греков: Эсхила и Софокла. Третьего из великих трагиков — Эврипида — он презирал. Его постоянно можно было видеть слоняющимся по центру города в обществе молодых женщин или по укромным, точно бы созданным для свиданий тропкам вдоль склона горы Сечени; с потрепанным томиком устаревшего Турнье или новейшего, академического издания Маскре[1] под мышкой он восторженно декламировал только что переведенные им строки.

Дёрдь знал его два года. Впервые случай свел их в суде, где Шебешфи, стараясь не дать делу огласки, отбивался от уплаты алиментов; вот тогда-то он и обратился за советом к Дёрдю.

А вот, за спиною Шебешфи, показался и сад, взбегающий на пригорок, залитый летним солнцем; неухоженный молодой кустарник, домишко, снятый за недорогую плату, в окружении сливовых и грушевых деревьев, корни и плоды которых как будто источены были метрическим

---

[1] Турнье Эдуард (1831—1898), Маскре Поль (1862—1937) — французские филологи, эллинисты.

ритмом трагедий; травяная лужайка, птицы, опадающий дикий каштан, покосившийся забор — все эти декорации словно сошли сюда со страниц стихов. Калитки в саду у Шебешфи не было, и накренившийся забор зиял дырой, разверстой и беззащитной. Молодые философы, преподаватели, начинающие поэты, попавши волею случая в эти края, забредали сюда «на пять минут», а вместо того застревали на пять часов.

Но в тот день у хозяина собрались лишь приглашенные; Шебешфи, возлежа на траве под деревьями, читал гостям свой новый перевод «Филоктета» Софокла. Тогда Дёрдь впервые попал в этот дом.

Мелькали лица, разнообразнейшие и чудаковатые типы: молодой торговец зоомагазина (у него было лицо филина) и его еще более молодая жена (эта непрестанно вылавливала муравьев у себя под летним платьем, так что как минимум две руки шарили у нее по телу, касались бедра или блуждали по спине: одна рука — ее собственная, другая — кого-нибудь из присутствующих мужчин); затем в кадре возник какой-то преподаватель (тоже молодой) с кислой физиономией: этот демонстрировал свою зубную боль и шутиху-жену; на том же экране можно было узреть и восходящую звезду поэзии, этакую венгерскую разновидность Кокто,— стройного, благонравного юношу-брюнета бок о бок со сливочной небесно-голубой Гретхен и, наконец, толстого пожилого забияку актера. (Фальстаф в клубной постановке и могильщик из «Гамлета» в новом спектакле Национального театра.) Актер явно имел виды на ужин и в этой своей надежде на стакан фрёча и вожделенный ломоть ветчины был готов пойти на любые жертвы. Только с хозяйкой дома в тот раз Дёрдю не представилось возможности познакомиться; жена Шебешфи была больна и находилась в санатории, на противоположном берегу реки.

Так выглядели действующие лица, dramatis personae — все примерно одного возраста, мужчины — лет этак двадцати восьми, юные женщины, которым едва исполнилось двадцать, ну и актер, старый приятель, наставник, который изображает из себя молодого, играя эту роль в дешевой, крикливой манере. Все они — из одного района Буды и с одной улицы, мужчины, еще когда они бегали в коротких штанишках, поклялись в вечной дружбе, затем вместе изнывали от скуки в стенах одной духовной гимназии, в одной футбольной команде гоняли

мяч, украдкой тратили карманные деньги на сигареты, вместе бегали к Дунаю, сообща искали любовных утех,— да и теперь по сути оставались подростками и братьями.

Стоит им собраться вместе, как тут же начинаются забавы. А сегодня им предстоит еще слушать «Филоктета».

— Приветствую тебя, о гордость отчизны, наш обожаемый профессор!

С такой репликой появляется на сцене торговец зоомагазина и дает здоровенного тычка «профессору».

— Ах ты, зверь! — взрывается от боли хозяин дома.— Скотина, я ведь могу дать сдачи!

Перед домом широкая, поросшая травой лужайка; у края лужайки — пустующая детская коляска младшей дочери Шебешфи, восемнадцатимесячной Нервы.

Пока супруга Шебешфи поправляет здоровье в санатории, малышка находится на попечении бабушки.

Любимая игрушка полуторагодовалой девочки, находящейся сейчас в отлучке,— это пипетка; отец научил Нерву набирать в пипетку чернила и исподтишка пачкать одежду пекущихся о ней взрослых. Нерва проделывает эту процедуру с неимоверным тщанием, особое предпочтение отдавая зеленым и ярко-синим чернилам.

Низенькую детскую коляску выкатывают на середину травяного газона; о переводе «Филоктета» пока что ни единого упоминания; члены развеселой компании отмечают свою встречу тем, что друг за другом перепрыгивают через обляпанный чернилами экипаж Нервы. Сперва прыгают с разбега, потом с места. Даже до муравьев Лианы (жены торговца зоомагазина) в этот момент никому нет дела.

— Попробуем прыгать спиной к коляске и с разбега! — осеняет вдруг Шебешфи.

В конце концов Корп, преподаватель с кислой физиономией, не выдерживает темпа: не рассчитав прыжка, он, задыхаясь, падает в детскую коляску. Одно из колес тут же отваливается.

— Недотепа! — дружно скандирует вся компания.

Коляску оттаскивают в сторону.

Но запал не иссяк, мужчины по-прежнему желают резвиться. Поначалу они затевают суматошную чехарду, потом перемахивают через кусты. Затем неожиданно вспыхивает потасовка, участники ее не унимаются до тех пор, пока все не валятся в колючие кусты спиреи — жи-

вую изгородь. Конец дурачеству кладет треск разрываемой ткани. Порван костюм на венгерском Кокто.

— Даешь греческую! — кричит торговец зоомагазина.

Дёрдь уверен, что наконец-то очередь дошла и до «Филоктета». Не тут-то было, просто он не знает их жаргона. Выясняется, что так сокращенно у них именуется классическая борьба в греко-римском стиле. Но этот номер программы ненастоящий, он задуман с иной целью: едва успев появиться, поэт, ничего не подозревая, пожаловался, будто в правом предплечье у него врач обнаружил воспаление надкостницы. И вся борьба в греко-римском стиле сводится к тому, что каждый старается как можно вернее покалечить руку Кокто. («Ну, давай схватимся еще разок!», «Если что и повредим тебе, то только руку,— стихи твои не охромеют!», «Ну как, можешь еще терпеть?»)

Таков пролог, подростковое буйство всплескивает и спадает волнами. Следует новое представление, Шебешфи наконец-то усаживается по-турецки на траве, остальная компания располагается на пледах и вытащенных из дома коврах; в переводе Шебешфи звучат первые строфы трагедии, слова Одиссея:

О Неоптолем, героя из героев
Славнейшего Ахиллеса сын!
Ведомо ли тебе, куда мы держим путь?
Взгляни: то Лемноса пустынный брег,
Безлюдный остров, край необитаемый.

На этот пустынный остров высадил лукавый правитель Итаки Филоктета, героя из Фессалии, поскольку ядовитый гной разъедал рану на его ноге и отравлял воздух зловонием.

Здесь в узкопленочный фильм попадает Каройи, который, подобно древнегреческим актерам, также носит обязательную характерную маску: у него маска альфонса. Новое действующее лицо вступает на сцену с опозданием; но вскоре выясняется, что его даже и не приглашали. Каройи не принадлежит к этой компании, он не считается другом сих молодых людей, родом он не из этих окрестностей и вообще не из Буды, мужчины знакомы с ним всего лишь два года, и Каройи в большей мере на дружеской ноге с дамами. Он щеголяет в шикарных сапогах для кавалерийской езды; под стать сапогам и остальной костюм: зеленый спортивный пиджак из хол-

ста и орехово-коричневые брюки-гольфы. Напомаженные волосы и прилипшая к физиономии мальчишеская ухмылка. Никому не известно, на какие средства он живет и каковы его истинные увлечения. От новоприбывшего попахивает вином; прежде чем взобраться сюда, на гору, он, должно быть, влил в себя не меньше бутылки вина. И теперь разыгрывает этакого парня в подпитии.

— Усаживайся поскорее и перестань таращиться на меня своими собачьими глазищами! — резко одернул его Шебешфи.

В ответ примирительный жест Каройи — молчу, молчу! Не надо раздражаться и одергивать, он будет скромником и никак не помешает чтению Софокла; одновременно Каройи заговорщицки подмигивает женщинам и, извлекая из кармана американские сигареты, с ловкостью фокусника оделяет сигаретами Лиану, Гретхен и Шутиху — жену преподавателя с кислой физиономией; вот уже и он, как все остальные, возлежит на траве и внимает Шебешфи, который выводит на сцену обманутого и обокраденного Филоктета. Звучит монолог:

О чуждые, о незнакомцы!
Дозвольте мне услышать ваши голоса! Меня вы
Не страшитесь! Пусть вас не отпугнет вид бедного
страдальца
Над муками его-о! — сжальтесь вы! Покинутый друзьями,
В тоске и боли томится он.

Скачут кадры узкопленочной ленты, лицо Шебешфи преображается: черты его дышат благородством. Он с такою страстностью, так одержимо и вдохновенно читает текст драмы, что голос как бы перестает принадлежать ему; античные строки, трагические фразы, как птицы с распростертыми крыльями, воспаряют ввысь, вознося и чтеца. Дёрдь чувствует, как от напряжения горло его перехватывает и саднит. Десять долгих лет томится Филоктет на острове. Друзья высадили его с корабля, потому что Филоктет был ужален змеей и тяжело страдал; всеми покинутый, лишь лук и стрелы сумел он захватить с собою, стрелы Геракла, этот дар богов,— без них не знать победы грекам. Проходит время, и Одиссей узнает тайну Филоктета. Низкие, коварные, бесстыдные друзья возвращаются на остров, чтобы выманить у страждущего его единственное достояние. Но понимая, что их лживые, брызжущие слюной речи не достигнут цели, они с низ-

ким умыслом подсылают к Филоктету невинного юношу. Под личиной невинности совершается подлость: юноша похищает у Филоктета заветные стрелы.

То ли драматическая ситуация потрясает, то ли перевод действительно хорош? Дёрдь задумывается над этим и приходит к выводу, что миг этот непонятен и непостижим. Бывают в жизни мгновения, когда из человека с неодолимой силой выплескивается целый поток загадок и тайн, которого хватило бы и на сонм темных душ. Вот так же загадочен, необъясним и Шебешфи с его одержимостью, заразительной веселостью и неожиданными метаморфозами: то мимолетные любовные похождения, то проникновение в глубины греческих трагедий, воссоздающих печальнейшие судьбы человека. Но уж и вовсе непостижимо, что общего у него с остальной компанией. С этими крикливо размалеванными женщинами, раскинувшими свои тела на зеленой лужайке. Или, быть может, постыдны любые человеческие узы? И столь же низменна и изобличительна суть людской любви и дружбы?

Шебешфи читал, должно быть, часа полтора. Вот он доходит до диалога юного Неоптолема с Одиссеем:

Ты мудр, Одиссей! И если сохранишь
свою ты хитрость,
То из беды всегда ты выбраться сумеешь.

И в этот момент поднимает взгляд. Щеголяющий в роскошных ботфортах Каройи, разыгрывая из себя пьяного, привалился к Лиане, положил голову на плечо женщины и покрывает поцелуями ее тонкую шею.

Шебешфи резко одернул парочку:

— Перестаньте мешать мне своими глупостями! А ну, марш на веранду.

Остальные гости тоже как по команде развернулись, взглянули на парочку и дружно закричали:

— Да они целуются! А ну, марш отсюда! Марш на веранду!

Даже торговец зоомагазина был возмущен, он разгневанно погрозил кулаком супруге.

— Марш на веранду! — повторил он за всеми.— А там можете лизаться друг с другом, пока не надоест.

Увлекшаяся любовными утехами преступная парочка и в самом деле поднялась и неспешно побрела к дому. Шебешфи проследовал за ними до порога, напоследок

пнул ногой роскошные ботфорты гостя и захлопнул за ними дверь на замок.

Заметно смеркалось, когда он закончил чтение. Никто из компании и словом не обмолвился о переводе, всеобщее внимание было приковано к дому: в дверь веранды громко барабанили изнутри.

— Как, уже конец? — послышались восклицания, гости один за другим поднимались с травы.

Посыпались и более каверзные вопросы:

— Ну, как, понравилось?

Первым в дверях показался Каройи.

— Полезно для здоровья! — лаконично парировал он.

Последующие часы расплылись в памяти. Плоские шуточки, крики, общая кутерьма и сумятица прискучили настолько, что парализовали мозг, как яд. Дёрдь бесцельно слонялся в одиночестве среди чужих.

Подошло время ужина. Вся компания перекочевала в кухню, там гости расправились с едой. После ужина завели переносный граммофон — старенький механизм без конца заедало,— начались танцы; при этом каждый почему-то норовил скакать на одной ноге. Шебешфи разливал по рюмкам анисовый ликер адской крепости, и теперь Каройи напился по-настоящему. Как его ни удерживали, он упрямо становился на колени перед пассией поэта, пухленькой Гретхен, и, еле ворочая языком, повторял:

— Мадам, у вас божественно красивые ножки, позвольте за это расцеловать вас в уста!

Гретхен отталкивала его:

— Вы не в своем уме!

— Но что я могу поделать, если они так прекрасны!

Пьяная компания дружно ревела:

— Он прав, он прав. У Гретхен красивые ноги!

Торговец зоомагазина принялся подначивать Гретхен:

— Покажи как следует. Выше колен они еще красивее!

Теперь, подобно эпидемии, разразились поцелуи. Чмокались, будто чихали, с тем же неудержимым позывом. Грязно, нечистоплотно.

Нет, ради подобных забав не имело смысла здесь оставаться. Но к полуночи неожиданно вспыхнул спор.

— А переводчик из тебя никудышный! — лепетал поэт, пьяно зависая на шее Шебешфи.

Шебешфи ткнул в поддых этого венгерского Кокто, но

в тот же миг на него набросился с нападками и торговец зоомагазина:

— Он верно говорит! Никудышный ты переводчик. Помнишь, и Анакреона ты запорол начисто!

— Я запорол? — взревел Шебешфи.— Я?

— Ты! Именно ты! — кротко кивнул головой и присоединившийся к ним Корп.

Посыпались удары один другого беспощаднее:

— Гекзаметры твои скрипят, как треснутый горшок.

— Жвачку жуешь, а не стихи пишешь!

Шебешфи с воплями потрясал руками; дранка громыхала от возмущения.

— Неправда, мои стихи напевные и мелодичные! Они западают в память!

— Это твои-то стихи западают в память? — опешил торговец.

— Вот именно, стоит услышать раз, и запомнишь навсегда! — Лицо Шебешфи торжествующе вспыхнуло.— Даже Карола, и та повторяет за мной проклятия Филоктета. Достаточно мне дважды прочесть перевод, и она повторяет за мною слово в слово! Хочешь, поспорим? — Шебешфи нескладно размахивал руками перед самой физиономией торговца.

— Ну, согласен на спор?

— Согласен! — мрачно протянул свою ладонь торговец.

Пятилетняя Карола была старшей дочерью Шебешфи; девочка напоминала отца своими неимоверно тоненькими ручками и ножками.

— Да, кстати, а где Карола? — с пробудившимся любопытством спросила Лиана.

— В детской! — ответил Шебешфи.

Как оказалось, Карола весь этот день и вечер провела в детской за рисованием, а между тем ни единым звуком не выдала своего присутствия. Ни шумные возгласы гостей, ни граммофонная музыка не выманили ее из комнаты. Когда компания ввалилась в детскую, девочка уже спала. Рядом не было ни матери, ни няньки, но ребенок спал спокойно, не ведая страха, как человек, привыкший ко всяким передрягам.

Шебешфи высоко поднял сонную девочку, бережно поставил на ноги в короткой кроватке.

— Послушай меня, Карола! — серьезным тоном сказал он.

Девочка внимательно, с интересом всматривалась в лицо отца. В длинной ночной сорочке она походила на очень тонкую, еще не зажженную белоснежную свечку.

— Послушай меня, Карола, а потом повторишь за мной!

И Шебешфи принялся декламировать, лицо его вспыхнуло:

Ты — чудище! Ты — змей! Всего дурного — ты
гнусное исчадье! Что сделал ты со мной?
Ты обманул меня, и глаз поднять не смеешь!
Как ты жесток! Я обнимал твои колени, ты же
похитил лук и вместе со стрелою похитил жизнь мою.

— Ты слушаешь, Карола?

Карола внимательно вслушивалась.

Шебешфи второй раз прочел сцену проклятия. Все взрослые в гробовой тишине стояли вокруг отца и дочери. Как только Шебешфи умолк, раздался тоненький, хрустально-прозрачный голосок ребенка; слова колыхались, слетали с детских уст — так порхают, колышутся в воздухе почти невидимые глазом мотыльки:

Ты — чудище! Ты — змей! Всего дурного — ты
гнусное исчадье!

Карола без запинки повторила монолог Филоктета.

Дёрдь пьяно рассмеялся, хотя внутри у него дрожал каждый нерв, точно он наглотался гашиша. Даже годы спустя эта картина вспыхивала в памяти, как озарение, они замерли друг подле друга в слабо освещенной комнате, а девочка, стоя в кроватке, декламирует строки трагедии. При воспоминании об этой сцене десны его и горло всякий раз обжигало холодным и резким пламенем.

Таков был тот давний любительский фильм — вечер у Шебешфи.

И лишь при повторном прокручивании этого фильма он заметил одну деталь: в тот вечер среди действующих лиц был еще кто-то, какая-то молодая девушка с застывшим лицом; она ни с кем не заговаривала, да и к ней почти не обращались.

— Виола! — назвал ее кто-то однажды.

Так и осталось тогда неясным, с кем из присутствующих она пришла. Осталось тайной и то, какое место ей было отведено в компании Шебешфи.

Каройи делал было попытки пристать к ней:

— Анна Павлова, позвольте лечь на вашу юбку!

— Ложись, не стесняйся! — не раз слышал Дёрдь за время того странного вечера.

Незнакомая девушка всякий раз при этом отчужденно отстранялась.

Тогда, в сумятице вечеринки, Дёрдь вроде бы и не заметил ее, и лишь позднее, прокручивая в памяти события того вечера, он натолкнулся на нее; так на проявленной фотопластинке вдруг возникает лицо, которое не ожидаешь здесь увидеть.

Это и была Виола, та самая девушка, на которой несколько месяцев спустя он женился.

«МНЕ СНИТСЯ, БУДТО Я ВЗМАХИВАЮ КИНЖАЛОМ!»

«Надо дождаться полицейского!» — думал мужчина, стоя в темноте. Тревоги он не чувствовал, скорее усталость. Он привалился к стене и закурил. Мягкий, красноватый свет озарил вентиляционную шахту. Как будто в чашку с горячим кофе плеснули капельку рома,— так почувствовалась перемена. Это в темноте уютно мерцал огонек сигареты.

Ему уже довелось однажды вот так же изучающе всматриваться в это неподвижное, точно бы провалившееся в небытие тело, но тогда он высвечивал тело лежащей женщины не огоньком сигареты; то был свет тлеющих углей — тоже красноватый, но более насыщенный, расплывчатое, напоминающее передвижение морских медуз пульсирующее мерцание.

Дверца изразцовой печки была распахнута, в топке полыхали короткие полешки. Над поленьями пробегали нервные, тонкие язычки пламени, беспокойно перескакивали друг через друга, точно вспугнутые молодые ящерки. Комнату заливало мерцание полыхающих углей.

Перед печкой два больших кресла замерли покорно, тупо, как старые, многоопытные ослы в упряжке. В одном из кресел на левом боку спала Виола, уткнувшись лицом в согнутую руку, обнаженное тело свернулось в клубочек. В соседнем кресле бодрствовал Дёрдь — утом-

ленный, исполненный какой-то неизъяснимой нежности и смутных раздумий.

Как мягко ложились световые блики на неприкрытую одеждой кожу девушки! И свет словно бы исходил не от печки, а выделялся, излучался самой темнотой. Бесплотно и невесомо робко парил он над спящим телом, затем, словно по невидимой нити паутины, соскальзывал вниз и, едва коснувшись девичьих бедер, приобретал оттенок цикламена. Но у сгиба коленей, в ложбинках под грудью и выше, в ямочках ключиц, лужицами скапливались темные тени, свет вливался потоками в эти теплые гнезда и прежде, чем раствориться в теле, вспыхивал удивительным кораллово-красным отблеском. Отчего колени спящей сохраняли свою белизну? И что светилось ответным блеском в гуще красно-рыжих волос? В печке затрещали угли, и нить призрачной цветовой паутины внезапно оборвалась. Вспыхнуло пламя, и отблески света сразу вдруг вытянулись плотными, мясистыми цветочными стеблями, заполыхали густо-красным, как цветы бегонии. Блики света скользили по телу Виолы, беспокойно метались, жаждав в нем раствориться, но тело по-прежнему оставалось напряженным и свернутым в клубочек, и свет тяжело падал и оседал в глубине комнаты. А иногда ему казалось, что от пламени дрожащим туманом восходил сон, тлеющие огоньки застревали в тонких, как нити, снах девушки, и тогда внезапно метровая толща жгучей пелены обволакивала тело спящей.

— Виола! — склонился к ней Дёрдь.— Проснись!

Рука его коснулась груди Виолы. И девичья грудь, усиливая нереальность сна, тотчас же отозвалась, скользнула к его ладони. Дёрдь погладил Виолу по голове. В прядях волос искрились, переливаясь, мелкие красные звездочки сна.

— Виола, проснись!.. Тебе пора домой!

Если бы и сейчас можно было пробудить ее так... Если бы удалось воскресить то прежнее колдовское очарование сна, если бы удалось вызвать хоть единственный блик света на ее волосы, озарить теплым лучом ее хладеющую кожу: может быть, сейчас Виола и открыла бы глаза, поднялась, как сомнамбула, и, смахнув с лица пепел, направилась бы к себе домой, в свою квартиру на пятом этаже. Как тогда.

Но чудес не бывает. Колдовской силой обладала лишь та единственная ночь. Тот единственный миг.

Тем вечером они отправились в оперу. И опоздали. Растерянно стояли они в фойе; наверху, за закрытыми дверями зала, звучала музыка: началось первое действие «Мейстерзингеров».

— Вы не проводите нас на места? — обратился было Дёрдь к верзиле билетеру.

— Не раньше антракта!

Дело происходило зимой. Виола зябко поводила плечами в вечернем платье из черного бархата. Дёрдь разочарованно взглянул на часы.

— Когда кончается первое действие?

Худой и высохший великан, похожий на шаляпинского Мефистофеля, вытянулся во весь рост и обрушил на них язвительный оперный смех.

— Первое действие «Нюрнбержцев»? Ему никогда не будет конца, сударь! На Вагнера нельзя опаздывать.

Они укрылись в ближайшем эспрессо — в полумрак, в полутепло. Им подали очень плохой кофе.

— Поедем ко мне! — неожиданно предложил тогда Дёрдь.— Выпьем отличного кофе, поговорим.

Он был знаком с этой девушкой около полугода, дважды они бродили по горам, потом он месяцами не отвечал на ее письма, не отзывался на телефонные звонки: несколько недель назад они встретились снова. «Почему бы и нет?..» — мелькнула шальная мысль, и он произнес вслух свое приглашение. Через минуту они были уже на улице, ловили губами падающие снежинки, махнули рукой такси,— и в этот последний момент он еще раз украдкой оглядел девушку: она была очень молода, очень серьезна и бледна. Его покорило то, как неумело садилась она в машину, как неловко стукнулась носом о стекло, отгораживающее кабину шофера. Наверное, этот момент и определил их судьбу; ему захотелось сразу же обнять ее. Девушка стерпела его объятие, в темноте машины подставила ему щеку. Щека ее тоже была молодой, неподатливой и неловкой. Машина летела, словно ей передалось его опьянение.

Войдя в прихожую, Виола тотчас же двинулась в темноту квартиры, открыла незнакомую ей дверь, без колебаний прошла дальше, в еще более непроглядный сумрак чужой комнаты, наткнулась на мебель, но не отступила от какой-то своей, известной лишь ей одной цели, сде-

лала еще два-три шага, споткнулась о ковер и упала — всей тяжестью тела рухнула в кожаное кресло. Тут и застал ее Дёрдь, который тем временем успел защелкнуть замок в прихожей и зажечь свет в комнате. Виола сидела в просторном кресле; она добралась до кресла, точно заводная детская игрушка, как механическая кукла: прошагав по гладкой поверхности стола, она падает на пол и, чуть пошатнувшись, продолжает свой путь, вот она натыкается на стену, идет вдоль стены, пока не забивается в угол и там, наконец, беспомощно застывает без движения; но завод в пружине еще не кончился, и стоит куклу чуть повернуть, как она в тот же миг зашагает дальше, бессмысленно, неудержимо.

— Что это с тобою было? — засмеялся Дёрдь и склонился к лицу девушки.

Замершая в кресле фигурка дышала какой-то неизъяснимой решимостью, даже глаза ее, судя по величине белков, округлились, и взгляд их стал неподвижен и напряжен от этой отчаянной готовности, пронизавшей все ее существо. Сейчас в этих стенах с ней наконец свершится то, подробности чего ей тогда еще были неведомы.

Дёрдю достаточно было одного взгляда на девушку, и его осенило.

Это открытие снова его растрогало, хотя и рассмешило тоже; дурачась, он дернул было ее за прядь волос, но тут же и оставил ее, занявшись приготовлением кофе. Виола тоже встала с кресла, она старалась двигаться по комнате непринужденно, с подчеркнутой привычностью, как будто, по крайней мере, раз десять побывала тут; но при этом, точно стянутая жестким обручем какого-то невидимого кринолина, она лишь тянулась к вещам, но не могла коснуться их.

Вот она остановилась перед книжными полками и вытащила какую-то книгу, сначала повертела так и этак, затем принялась внимательно читать с середины. В следующую минуту она выдвинула ящик письменного стола, попавшуюся ей под руку большую коробку с почтовой бумагой водрузила поверх стопки книг, как будто собиралась писать письмо. Затем уселась на корточки перед кафельной печкой, принялась ворошить угли, совать поленья в раскаленное жерло топки и прекратила это занятие, лишь когда обожгла левую руку. После чего девушка сиротливо сникла, сидя на корточках перед печкой.

Дёрдь тем временем успел помолоть кофе, он достал

бутылку, заставил девушку выпить рюмку коньяку, затем провел гостью в ванную комнату, ватой, смоченной в спирте, протер обожженое место и смазал питательным кремом покрасневшую кожу.

Наконец он воскликнул:

— Кофе готов!

Виола, точно сомнамбула, поднесла к губам чашку и одним глотком проглотила добрую половину ее содержимого. Обжигающий напиток заструился по пищеводу, как едкий щелок. От новой боли она заплакала. За короткое время она умудрилась несколько раз поранить себя: на колене расплывался синяк, рука горела, обожженное горло саднило.

Мужчина привлек ее к себе, слегка приподняв в объятии. Девушка сделалась вдруг такой невесомой, как будто в ней не было ни единой косточки.

Что в том вечере было поистине прекрасного?

Прекрасной, трогательной была та неусыпность, с какою он следил тогда за каждым жестом и движением Виолы. Неусыпное внимание — тот самый яд, который впоследствии вытравил их любовь. Ему никогда не удавалось забыться, закрыть глаза. Он все время присматривался к ней с неприкрытым, пристальным вниманием экспериментатора.

Слегка приподняв Виолу, Дёрдь поцеловал ее.

И, целуя, наверное, выдал себя каким-то жестом — мимолетным пожатием или же легким прикосновением, и девушка поняла: сейчас должен наступить тот решающий миг!

С ней произошла разительная метаморфоза. Она оттолкнула от себя мужчину, точно воспрянув от сна и дурмана; неуловимо легким и красивым движением, не забывая при этом о молнии и пуговицах, она медленно приподняла подол платья и ловко просунула голову в вырез. И стряхнув с себя колдовские чары, обрела спокойствие и уверенность, стала держаться так, будто находилась в своей собственной комнате. Вынула из сумочки расческу и, сбросив туфли, в чулках и в короткой шелковой сорочке, мягко ступая, направилась в ванную; став перед зеркалом, начала расчесывать волосы. Она причесывалась заботливо и долго. Целые минуты длились эти приготовления, Виола критическим взором рассматривала себя в зеркале при теплом, ярком свете.

Вспоминая тот вечер, Дёрдь каждый раз потешался над этой сценой причесывания, над этой романтической и все же грубо трезвой в своей рассудочной продуманности ролью, этакой арией Лорелеи, но Виола не в силах была понять, над чем тут можно смеяться. Есть, пить, лгать и даже потерять невинность она могла лишь аккуратно причесанной.

Руки ее двигались медленно, она наконец завершила свою тщательную работу, но, прикованная к своему отображению, поворачивая голову то вправо, то влево, долго еще разглядывала себя в зеркале; затем мускулы ее совершенно расслабились, и она позволила мужчине увести себя в комнату. Ее уложили на кушетку, она закрыла глаза.

После оба они долго сидели перед печкой. Дёрдь подкинул в огонь новую охапку поленьев: по комнате расплылось ощутимо густое, обволакивающее тепло, стойкий жар, казалось, раздвинул стены.

— Что, снег не перестал? — спросила девушка, забившись в глубь кресла.

Дёрдь подошел к окну, отдернул шторку.

— Густой снегопад,— с предельной добросовестностью констатировал он.

— Скажи, я белее снега?

Мужчина окинул ее взглядом, Виола, обнаженная, свернулась в кресле и кошачье-лениво потягивалась; тело ее купалось в отсветах пламени, падавших от печки.

— Скажи: я белее?

Надо было высмеять столь разнузданную пошлость. Резким движением распахнув оконную створку, он зачерпнул пригоршню снега.

— А вот сейчас мы проверим...

Виола, преисполненная высокомерия, точно гусыня, и мысли не допускала о том, что он посмеет прижать леденящий снег к ее телу. Когда же это случилось, она реагировала так неожиданно и резко, как химикаты в пробирке: кожа ее вмиг сделалась зеленой и скользкой. Как у лягушки.

Нелегко было успокоить ее. Этого удалось добиться не ласками и уговорами, но благодаря прерванной, дотоле в мечтах много раз отрепетированной ею роли. Вот она опять распрямилась, опять простерла готовые воспарить крылья:

— О, ты совсем не знаешь меня... Тебе ничего не известно обо мне... Ты меня не слушаешь?

Дёрдь покойно откинулся в соседнем кресле. Девушке удалось вернуть свое обаяние, она опять походила на душистую, тонкую дамскую сигарету; легкие его жадно вдохнули сладковатый дурман.

— Нет, я слушаю!..

И тогда Виола впервые выдала себя, мило проговорившись:

— Знаешь, я часто вижу сны... самые разные... но во сне я всегда вооружена кинжалом!..

Мужчина принял предложенную игру.

— А на конце у него шарик?

— Конец у кинжала острый! Так и вонзается в тело...

— А зачем он тебе, этот кинжал?

— Мне иначе нельзя! Я — очень стройная и высокая. Значит, и подходит мне только кинжал...

— Так кто же ты в этих снах?

— Я стройный юноша-паж... На мне яркий камзол из бархата и узкие белые атласные панталоны... Я мщу за свою сестру!

— Которую соблазнили?

— Меня рисовал Веласкес. А сестра моя умерла.

— Неужели ты так жестока?

— А иной раз я вижу себя юным графом, удачливым и победоносным...— Я — юный Ричмонд из пьесы Шекспира! Трубят фанфары и бьют барабаны, потому что мною повержено Зло.

Мужчина обвил руками обнаженное девичье тело, склонился к лицу Виолы:

— Будь осторожней, не убей меня во время сна!

Девушка болтала, щебетала без умолку, и в пылу разговора у нее снова вырвалось несколько фраз, выдающих ее с головой:

— Чего ты хотел бы? Какою мне быть?

— Будь девочкой.

— А ты знаешь, иногда в полусне я воображаю себя девочкой... Ленивой, заносчивой и самонадеянной девчонкой. И мне очень нравится, когда я такая! И еще в снах мне грезится, будто за мною присматривает нянька-негритянка. Ты даже представить себе не можешь, как это приятно, когда о тебе заботится такая вот черная нянька — старая, толстая и очень проворная. Она обожает меня, но иногда позволяет себе поворчать. И это даже

хорошо, потому что тогда я могу пнуть ее ногой... Конечно, не сильно, я жалею свою няньку, потому что тоже люблю ее... Она знает это, и ей приятны мои детские пинки. Нянька носит широкие шелестящие юбки из тафты и лиф в обтяжку. По утрам, когда я встаю, она подает мне домашние туфли... К тому часу она успевает приготовить мне ванну и завтрак... Впрочем, ей не так уж много хлопот со стряпней для меня, потому что я кушаю только фрукты... Бананы и апельсины. По ночам она помогает мне раздеваться, когда я возвращаюсь домой после бала. Бранит, если я выпила больше обычного.

— А что ты скажешь ей сегодня ночью?

У Виолы вырвался резковатый смешок:

— О, нянька обо всем догадается... Клянусь, что она заметит!..

Вскоре Виола уснула.

Дёрдь долгое время бодрствовал подле спящей девушки. В отблесках пламени она казалась ему красивой. Волнующей, вожделенной игрушкой. Внезапно для себя он подумал:

— Я мог бы даже и жениться на ней...

АКВАМАРИН

«Я мог бы даже и жениться на ней...» Дёрдя вновь охватило желание увидеть еще раз это лицо. Он зажег еще одну спичку (которую? — он не считал), вытянувшись вверх, язычок пламени осветил безмолвное тело, но в тот же миг мужчина, против воли, попятился назад, как отступают перед пустыми, незрячими глазами статуи.

Его чувства не подсказывали ему, что лежащая перед ним молодая женщина мертва. Ноги ее, он видел, были так же бессмысленно красивы, как и при жизни. Такого типа женские ноги принято сравнивать с бутылкой от шампанского. И действительно, ноги Виолы были раздражающе правильной формы. Впрочем, это была не более чем копия, слепок, хотя и удачный. Образец же, оригинал, пылился где-то среди вышедших из моды вещей, затерялся среди атрибутов сотворения мира.

В той же позе, как она лежала сейчас, могла бы лежать и живая Виола. То, что заставило его отступить, была не смерть, но отзвук прежних страстей, греха, который

он совершил. Потому что это тело он презрел, оттолкнул от себя.

Отношения их разладились очень скоро, после Капри, после первой ночи. Как испугался он тогда истинного облика Виолы! В те недели он судорожно закрывал глаза, искренне, горячо желал себе слепоты, глухоты. Только бы не видеть и не слышать правды,— и тогда, быть может, свершится чудо, в Виоле подвергнется делению какая-нибудь зародышевая клетка, и новые нервные волокна придадут этому телу более живой человеческий облик. За те несколько часов, что он проводит у себя в конторе, или за те несколько минут, пока он, зайдя в ванную, моет руки,— может быть, за это время на яично-белом лице Виолы естественнее станет улыбка, смягчится резкая линия коленей.

Но никакое чудо не спасло их. Понапрасну старался он закрывать глаза на правду, подлинная Виола проникала и под судорожно сжатые веки.

А что могла тогда испытывать Виола? Что испытывает гусыня, которую преследуют? Бег ее замедляется, как только минует опасность. После чего гусыня вышагивает еще кичливее прежнего, зоб у нее раздувается от глупости и чванства. У Виолы после Капри пробудились известные опасения. Она интуитивно чувствовала: ей во что бы то ни стало необходимо вернуть себе в его глазах утраченный ореол, внушить образ, взлелеянный ею самою в мечтах. Вечер в Опере — с «Мейстерзингерами» и браслетом Эстер — был эпизодом той же борьбы.

Прошло, должно быть, полгода, как они поженились. Жили они тогда на улице Келенхеди...

Сегодня вечером дают «Мейстерзингеров» — с этой вестью в полдень вернулся домой Дёрдь.

— Кто исполняет партию Вальтера?

— Именно это тебя интересует? — вскинул взгляд Дёрдь.

В ответе его прорвалась досада.

— Я не знаю. Да и не все ли равно. Но нам не мешало бы наконец прослушать историю достославного ремесленного цеха. Однажды мы было вознамерились сделать это, но опоздали к началу... Помнишь?

Память у Виолы была такая же замедленная, как процедура расчесывания волос. Наконец она вспомнила, на-

конец улыбнулась, наконец утвердительно кивнула! И подставила ему губы для поцелуя.

Как в тот раз, опять стоял декабрь, кружился веселый, затейливый мир. Перед тем, как выйти из дому, Дёрдь внимательно и любовно окинул взглядом Виолу: на жене было новое вечернее платье из черного кружева, и само лицо ее показалось ему таинственно утонченным, точно сошедшим с полотен художников-прерафаэлитов.

Это видение пьянящей, чувственной теплотой захлестнуло его.

— Надень браслет Эстер! — ласково попросил он.

Виола окаменела.

— Он — по-прежнему Эстер?

Дёрдь шагнул к ней, исполненный желания снять с лица женщины маску притворной уязвленности, но опоздал. Недовольство, как потревоженная оса, жужжало, вилось вокруг них. Как прогнать его?

— Он твой! Твой безраздельно! Именно потому и прошу тебя: надень его!

Виола молча посмотрела на него, выждала несколько мгновений; затем так же, без единого слова, подошла к туалетному столику, выдвинула ящик, застегнула на руке браслет. С тем они и отбыли в театр.

С этим браслетом Дёрдь допустил двойной промах. В первый раз — когда подарил его Виоле. Уж ему-то следовало знать, что эту серебряную цепочку нельзя передаривать кому бы то ни было. Украшение принадлежало Эстер, сестре Дёрдя, которая была моложе его на год; Эстер носила этот браслет, она его любила, а те вещи, которые любила Эстер, озаряло сияние этой любви, и поэтому вещи до самого сноса хранили память о ней. Он сделал Виоле опасный подарок. Словно бы поставил эту женщину рядом с тонкоструйным, искрящимся брызгами водопадом, предложив ей: «Укрась себя им, он — твой». Таким тайным свойством обладала только Эстер, да она и сама была существом необычным, словно явление природы.

Среди бабок и теток в их роду переходил по наследству из рук в руки красивый аквамарин. Он всегда был вставлен в безобразные оправы; когда камень попал к Эстер, он был вделан в уродливый тяжелый перстень и выглядел, как глаз, неестественно выпученный при базедовой болезни. После первого воспаления легких Эстер получила это кольцо и одновременно с ним обещание, что по

весне ее свозят на юг, во Флоренцию. Именно тогда юная Эстер купила у какого-то ювелира на Понте Веккьо поразительной красоты серебряную цепочку к аквамарину. Цепочка состояла из легких, удлиненных переплетений цветов и листьев. Эстер в три ряда обвивала ею запястье, и все же конец цепочки болтался свободно, вот к этому свободно свисающему концу и был прикреплен аквамарин, ревниво схваченный новой оправой. Серебряная цепочка и зелено-голубой камень с тех пор неотделимо повторяли каждое движение Эстер. Руки ее, как и сама Эстер, никогда не знали покоя и равнодушия; Эстер любила и ошибалась, ссорилась и мирилась, и аквамарин ответным огнем вспыхивал на каждое ее чувство и горел вместе с нею.

Эстер три года как умерла.

Но Виола была права: цепочка и камень навеки остались ее собственностью — и вот сейчас он проговорился об этом, проговорился глупо, неловко. («По-прежнему — Эстер?») Эта предательская оговорка — вторая непростительная его ошибка.

Автобус пришел переполненным, только Виоле удалось сесть, Дёрдя оттеснили от нее, прижали к водительской кабине. Теперь он всматривался в лицо жены с отдаления, в это странное, по-детски пухлое лицо, молодость которого была всего лишь маской, под нею исподволь, коварно вызревал близящийся распад. Он задумался: почему, собственно, он подарил Виоле цепочку? Пожалуй, и подарок этот был очередным экспериментом. Расчетливой игрой или же любопытством того самого свойства, которое гораздо безжалостнее, чем игра: то было испытанием для женщины. Так золотых дел мастер подвергает воздействию едких кислот благородный металл подозрительного свойства: должно быть, и он так же присматривался к Виоле: подтвердит ли аквамарин человеческую подлинность Виолы или она останется такою же тусклой и жалкой, как электрическая лампочка при свете дня.

Когда они вошли в вестибюль Оперы, их встретило объявление о замене спектакля. В тот вечер вместо «Мейстерзингеров» давали «Валькирию». Неплохой повод от души посмеяться: видно, не судьба им хоть раз услышать вместе историю любви девы златоискусницы и франкского рыцаря; вот и вторая их попытка оказалась неудачной. Но Виола хранила недовольное выражение лица.

— Ты мог бы узнать это и днем. Зачем, спрашивается, надо было тащиться?

Мужчина сжал руку спутницы:

— Не будь Beckmesser! Ведь дают не «Мейстерзингеров»![1]

Но Виола не оттаяла, держалась, будто человек, хлебнувший кислого, вяжущего рот красного вина, от которого сводит скулы. Дёрдь принялся подзадоривать ее:

— Хочешь, посидим в эспрессо? Или, может, заглянем по старой памяти на мою холостяцкую квартиру?

Никакого ответа. Вскинув голову, в напряженно застывшей позе, устремилась она к гардеробу.

Минуты спустя уже звучала короткая увертюра к «Валькирии». Дёрдь любил этот момент вступления: грохочущий ливень, подступающая гроза порождают в оркестре бурю звуков. Отзвуки бушующих стихий поначалу робко смешивались с полумраком зрительного зала, женскими духами, уютом ложи. Но вот густую пелену дождя, воспроизводимую скрипками и альтами, внезапно разорвал трубный глас духовых, молния — глубокий, глухой рокот ударных,— и беззвучно раздвинулся занавес, открывая дом Гундинга.

Шел дуэт Зиглинды и Зигмунда, кларнет и смычковые, перебивая друг друга, ткали мелодии нежности и влечения двух сердец, но Дёрдь не в силах был сосредоточиться мыслью и чувством на предвещающей гибель любви двух близких: брата и сестры; думы его неотвязно возвращались к Эстер. Однажды ему довелось слушать «Валькирию», но тогда рядом с ним сидела его юная и одухотворенно красивая сестра. Он краем глаза взглянул на Виолу: жесткая и упрямая вертикальная складка на лбу ее так и не разгладилась. А какой счастливою была Эстер в тот вечер! Жадно и ненасытно, всей грудью и всеми легкими, до последней клеточки впитывала Эстер тревожную, наплывающую мрачными волнами музыку. Дёрдь смотрел на Эстер и чувствовал, как она взволнована: если бы не сдерживающая условность приличий, она бы подскакивала на месте: так в горном ручье выскакивает из воды рыба в пузырящийся от легкости, свежий, точно ледяная струя, пьянящий воздух. «Ты слышишь?» — склонилась к нему Эстер. На сцене в эту минуту вел свою арию Гун-

---

[1] Игра слов. Beckmesser — критикан *(нем.)* и имя одного из героев оперы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры».

динг, подозрительно меряя взглядом вторгшегося в его дом чужестранца и застывшую от изумления жену: «Лицо его походит на лицо моей жены, в глазах его таятся те же змеи»,— в раздумье пел Гундинг.

Они с сестрой тоже были похожи. Но их близость никогда не переходила в тревожную и мутную, как бродящее молодое вино, чувственную любовь. Они любили друг друга невинно и открыто, в полный голос; была в их чувстве обжигающая свежесть первого снега. В детстве они любили играть в догонялки, и в их отношении друг к другу до конца сохранилось то же ощущение радости и трепетно бьющегося сердца. Став взрослыми, они словно нарочно стремились накликать опасность, чтобы иметь возможность прийти на помощь друг другу. Но когда на жизнь Эстер пала тень, у которой не было ни реальных очертаний, ни названия, оба они молчали, скованные, парализованные обрушившейся на них бедой. Нет, ни от каких жизненных невзгод он не смог уберечь свою сестру!..

Детство... Полюбить какое-то большое стихотворение, а после начисто забыть его пленительные строки — разве что с этим загадочным ощущением можно сравнить затонувший континент их детских лет! Тот далекий континент время от времени всплывал в воспоминании Эстер и Дёрдя об одном воскресном вечере. Отца их тогда не было дома, он отлучился в провинцию; мать в тот вечер собиралась в гости, за ней зашли знакомые (две женщины и мужчина, в детской памяти Дёрдя запечатлелись даже такие подробности). Компания готова была отправиться, когда выяснилось, что дети остаются без надзора. Дёрдю тогда было, должно быть, года три, а Эстер — два. Детишки росли непоседливые, неугомонные, и взрослые принялись озабоченно совещаться; можно ли оставить малышей без присмотра и как поступить, если те не захотят оставаться одни. Попытались было обзвонить друзей и знакомых, но никого не застали дома. Впрочем, и так с двумя детьми никто из знакомых не согласился бы остаться. И тогда одна из женщин посоветовала посадить их в ванну, друг против друга.

Так и сделали. Эстер и Дёрдя усадили в пустую ванну, Эстер — под краном, его — по другую сторону, взрослые ухитрились ловко привязать их сзади, так что дети могли даже передвигаться, ползать по ванне, но только

освободиться им не удалось бы. Мягкий, шелковистый шнур наподобие сбруи подхватывал их под руки. Взрослые повеселились, довольные своей изобретательностью, полюбовались на связанных детишек и ушли. Дети с любопытством смотрели друг на друга, в ванной горел свет; поначалу малышам было страшновато, но очень скоро они придумали себе забавы. Именно этот воскресный вечер остался для брата и сестры самым волнующим воспоминанием детства. Сначала малыши принялись плеваться, стараясь попасть друг в друга; Эстер всегда отрицала, будто бы она была зачинщицей. Но все их попытки остались безуспешны, детишкам не удавалось доплюнуть друг до друга. Оба устали, и тут вдруг сделали новое открытие: стоит им чуть-чуть сползти по дну ванны и ступни их соприкоснутся. Тотчас разгорелся бой; упоенно визжа от восторга, брат и сестра пинали друг друга, целясь при этом в пятки один другому. Эта забава утомила детей еще больше, оба одновременно уснули. Когда детишки проснулись, взрослых все еще не было. В дальнейшем им помнилось, что, проснувшись, они стали петь во все горло. Потом корчили рожицы, кося глаза. У Эстер именно с тех пор на всю жизнь сохранился опасный приобретенный в тот вечер навык: желая напугать кого-то, она очень страшно косила глаза. Чуть передохнув, брат и сестра опять принялись плеваться. Наконец, измученные, они уснули крепким, глубоким сном.

Первой вернулась домой горничная и с удивлением обнаружила детей, спящих в ванне. Горничная распутала шнур и освободила от пут детские ручонки, взяла на руки Эстер, затем вынула из ванны и раздела Дёрдя, уложила обоих в кроватки. Дети даже не пикнули, они так и не проснулись. Зато среди ночи Эстер неожиданно проснулась, недоверчиво ощупала подушку, одеяльце, растолкала спящего в соседней кроватке брата, дети не могли понять, как они очутились в кроватках; от страха оба заплакали. Малышам представлялось, что они находятся во власти злых сил, темная постелька казалась незнакомой, опасной, в то время как залитая электрическим светом блестящая и жесткая ванна вспоминалась как самое безопасное и обжитое гнездо.

Насколько тесней была бы их взаимосвязь с Виолой, если бы их роднило хоть одно-единственное воспоминание такого рода о пережитом и прочувствованном вместе, сообща!.. Но жена смотрела на сцену, глаза у нее были пу-

стыми, как у куклы. А что же аквамарин? Он свисал у нее с запястья, неподвижный, заключенный в плен, посаженный на цепь. На сцене, перед домом Гундинга, неистовствовал ветер; вскоре дверь распахнется, и влюбленные выбегут из дому навстречу весенней ночи. Ветер... Почему он весь вечер так упорно и неотвязно вспоминает Эстер? Опять перед его мысленным взором возникла стройная ее фигура; как-то раз они тоже бродили на пару с Эстер,— тогда был такой же порывистый весенний ветер,— оба пьяные от какого-то неизъяснимого ощущения счастья. Это отчетливое и потому болезненно-пульсирующее воспоминание всплыло в памяти не со времен исчезнувшего континента, не из поры детства вернулось оно к нему; эта их вылазка была совсем недавней, ощутимо близкой, даже кожа его помнит хлесткие удары того весеннего ветра.

За полгода до смерти Эстер, в полдень,— Дёрдь работал у себя в конторе,— он, сняв телефонную трубку, услышал глубокий, низкого грудного тембра голос Эстер. Сестра в то время уже три года была замужем и жила в Шевеньхазе. Брат и сестра теперь виделись очень редко, иной раз Эстер вырывалась в Будапешт, и тогда они втайне от всех ужинали вдвоем; но обычно им и на это не удавалось выкроить время, в лучшем случае они едва успевали посмотреть какой-нибудь новый фильм или же полчаса посидеть вдвоем где-нибудь в кондитерской: родственники — их собственные или же Фери, мужа Эстер,— тотчас завладевали беглянкой. В тот день Эстер, как только сошла с поезда, прямо с вокзала позвонила Дёрдю, счастливо возбужденная сестра торопила его: им нужно немедленно встретиться; пока еще ни одна живая душа не прознала, что она в Пеште, они могли бы пообедать вдвоем, а до обеда можно бы и погулять в горах.

Несколько месяцев, нестерпимо долгих и слякотных, Дёрдь не встречался с Эстер. Оба взволнованные, с учащенно бьющимся сердцем, они увидели друг друга с неправдоподобно далекого расстояния. Сразу взяли такси, водитель, петляя выше и выше по улочкам, увозил их вверх, от Дуная; еще прежде, чем сесть в машину, Дёрдь попросил шофера: «Гоните побыстрей!» Стремительно, задыхаясь, летела вверх машина, и все же на полдороге они не выдержали: постучали в стекло и вышли у какого-то незнакомого поворота. У них не хватило терпения оставаться долее в этом тесном, темном, пропахшем кожей и стремительно летящем коробе. Им необходимо было сию

же секунду ступить ногами на землю, чтобы потом медленно и опьяненно, шаг за шагом пройти путь до вершины. И тогда налетел на них такой же задиристый, весенний ветер! Эстер пыталась зубами ухватить тугой, свистящий ветер, дышала глубоко, полной грудью, вбирая воздух; так они шли, касаясь плечом друг друга.

— Что поделываешь дома?

— Ничего особенного.

— Как Фери?

— Даже не знаю, что и сказать.

— Эстер, уж не случилось ли чего?

— Глупый!

После они обедали под открытым небом, прямо на ветру. Чтобы получить обед, им пришлось пробудить от зимней спячки какой-то незнакомый маленький ресторанчик.

— У нас и еды-то приготовлено только для себя! — оправдывалась старушка хозяйка.

— Тогда поделитесь с нами, прошу вас! — уговаривала ее Эстер.

Какая же толща воздуха, оказалось, может вместиться под низким и серым небосводом! Они облюбовали себе столик на открытой наружной террасе. Появился старый недовольный официант, этот не желал даже сервировать стол.

— У нас же внутри удобные, уютные залы! — пытался было он заманить их.

Сами они по слабости характера, может, и поддались бы на уговоры, однако ноги их заупрямились и не желали двинуться с места. Официант и старушка хозяйка принесли деревянные бельевые прищепки, камни, грузы — лишь таким способом удалось хотя бы отчасти обуздать буйные порывы скатерти, которая во что бы то ни стало стремилась раздуться парусом. Шляпы свои они попросили официанта унести в дом, иначе бы их в мгновение ока смело в ближнюю долину. Волосы их трепал ветер. Вино подали на стол в массивном кувшине. На первое они ели картофельный суп; коричневатый, приправленный мукою бульон ветер так и норовил выдуть из ложки. Старик официант наблюдал за ними изнутри ресторанчика, из-за плотно притворенного окна, насилу удалось уговорить старика, чтобы тот лишь на минуту выбегал к столу. Официант у окна ждал их знака, и стоило брату и сестре махнуть рукой, как он поспешно выскакивал наружу и менял тарелки.

В большом блюде под крышкой подоспела наскоро поджаренная телятина с рисом и солеными огурцами. А ветер со свистом тугой струей проносился над ними — так стремительно падают вниз струи ручья с высоких горных отрогов. По временам на мгновение проглядывало солнце, и тогда лучи его всплескивали слепящими зайчиками, словно отражения больших зеркал в зеркальной же поверхности. Эта удивительная игра света длилась мгновение, а секундою позже рваные, темно-серые облака опять проносились над ними. На десерт им подали свежайшее печенье, а потом они закурили. Каждой сигареты едва хватило на две-три затяжки, потому что тлеющий пепел срывался резким порывом ветра. Кофе тоже расплескивал ветер.

Эстер прокричала ему что-то.

А Дёрдь подумал в эту минуту: они омыты ветром до мельчайшей клеточки тела.

Сидели они у самого края террасы, над головокружительным обрывом; ветер, налетая бурными порывами, норовил увлечь их в глубину — долее трудно было выдерживать борьбу со стихией.

Они уже встали было от стола, когда Эстер заговорила. Тогда она открылась ему впервые, один-единственный раз, и при этом от смущения теребила за отвороты пиджак Дёрдя:

— Дюрка...

— Да, Эстер?

— Я разведусь...— Она все еще не решалась высказать вслух наболевшее.— Я вынуждена развестись.

Дёрдь ошеломленно уставился на сестру:

— Вы разводитесь?!

Эстер, переборов себя, кивнула. Исхлестанное ветром лицо ее чуть припухло, в чертах его проступила боль.

— Так вы разводитесь?

Эстер не ответила. Насколько глупо скованны и обреченно целомудренны по натуре были они оба! И так — с самого детства. Не умели изливать душу. Ни друг другу и никому другому.

Как жилось Эстер? Он никогда не знал этого. Обо всей их семейной жизни Дёрдю были известны всего два факта. Впрочем, первый не столько факт, сколько предположение: Эстер очень любила мужа. Стыдясь своего чувства, бунтуя против него, униженная и опозоренная,— любила. Основой другого факта было курьезное происшествие.

Фери, зять Дёрдя, как-то заночевал у него, он не захватил с собой пижаму, и Дёрдь одолжил ему свою. Утром выяснилось: пижама порвалась на мощном, мускулистом теле. Лопнула по всем швам, расползлась на ленточки. Над этим курьезным обстоятельством все они долго потешались.

Как жилось Эстер? Должно быть, несчастливо, иначе и быть не могло.

И вот, когда они стояли друг против друга на упругом весеннем ветру и он в третий раз переспросил: — Так вы разводитесь? — Эстер неожиданно рассмеялась и принялась тормошить брата. Она смеялась беспричинным, громким, почти счастливым смехом:

— Ты помнишь, как тогда, в ванне? Как сначала мы плевались и косили глазами. А потом, в кроватках, расплакались, помнишь?

Ветер тормошил, сотрясал ее фигурку, а она тормошила брата.

Дёрдю кровь бросилась в голову, как после крепкого спиртного. Почему Эстер вспомнила вдруг тот случай из детства? Но могла ли она сказать ему иное? По-прежнему стоя лицом к лицу, они оцепенело смотрели друг на друга.

— Не коси! — резко одернул он сестру, за секунду уловив ее намерение.

Как спустились они тогда с горы? Он не помнил. Эстер уехала домой. С мужем она так и не развелась.

Через полгода Эстер привезли в Пешт на «скорой помощи» с воспалением легких. Четверо суток она пролежала в клинике, в отдельной палате, температура у нее начала спадать, опасные симптомы миновали. Она улыбалась, усталая и невесомая. А когда на четвертые сутки вечером все они ушли, оставив Эстер одну, сердце ее неожиданно заработало с перебоями, на рассвете она потеряла сознание и начала задыхаться; а к девяти утра, так и не придя в себя, бледная, недвижная, лежала на больничной койке.

Для них так и осталась загадочной смерть Эстер. Она занималась плаванием и играла в теннис. Год за годом болезни обходили ее стороной. Эстер любила солнце, воду и воздух. И на смертном одре лежала совершенно чистая, без испарины.

Аквамарин перешел к Дёрдю через несколько месяцев после похорон Эстер. Зять как-то приехал в Пешт по делам и зашел к Дёрдю. Камень с цепочкой он молча положил на стол.

— Это ваше с нею! — сказал он, помолчав.— Правильнее всего, чтобы камень был у тебя.

Вот и все, что было сказано в объяснение. Камень и в самом деле принадлежал Эстер. А Эстер по праву принадлежала ему.

Бегство и боль символизировал мрачный грохот оркестра: так завершилось первое действие «Валькирии», духовые инструменты и скрипки звучали наперебой.

В антракте Виола исчезла, Дёрдь прошел в курительную. Встретились они только в зрительном зале и едва перемолвились словом.

Но во время второго действия, когда Брунгильда узнает о приказе — Зигмунд должен пасть в поединке,— Виола неожиданно склонилась к мужу:

— Дёрдь!

— Да?

— Я забыла цепочку в туалете.

— Где?

— В умывальной.

Лицо ее было спокойным и насмешливым.

Дёрдь, откинувшись в удобном кресле, не проронил ни слова. Виола, не дождавшись ответа, повторила:

— Я мыла руки. А когда уходила, оставила цепочку на раковине.

— Я слышал,— кивнул Дёрдь.

Он молча прикидывал, что бы он мог ей ответить! На жену он не смотрел. Думы его были о том, что никогда более не увидеть ему Эстер, обдуваемую весенним ветром. Может, и к лучшему, что больше он не увидит и ее аквамарин. И все же душа болела. Да, вернулась его застарелая знакомая, жгучая боль: почему он тогда не сообразил надеть цепочку на руку мертвой Эстер! Он упустил случай, и упущение это непоправимо. Как часто с тех пор возвращался он к этой мысли, бередя свою рану,— и вот сейчас вдруг его осенило, почему, собственно, подарил он Виоле флорентийскую цепочку. Тем самым он хотел навлечь кару на оставшихся в живых, на них обоих; на самого себя и прозрачно-бледный камень. Аквамарин исчез в театральном туалете. Кто-то воровато схватил его потной ладонью. Чужая женщина зажала в кулаке и поспешно спрятала в сумочку, чтобы окружающие не заметили. Дома она вынет камень из сумочки, придирчиво

разглядит его, отнесет к ювелиру прицениться: конец был настолько гнусен и унизителен, словно смерть живого существа, словно распад кожи и плоти. Но если смерть не пощадила Эстер, то какой смысл камню сверкать долее незамутненным блеском? Дёрдь сидел в кресле, точно в горячей ванне. Расслабленность и оцепенение разлились по всему телу. Теперь он испытывал чувство, близкое к умиротворению.

Чуть погодя опять раздался шепот Виолы:

— Как ты считаешь, я найду ее в антракте?

— Нет! — ответил он без тени сомнения.

В оркестре более четко зазвучала тема любви и рокового поединка.

Виола упорно допытывалась:

— Ты сердишься?

Подхваченный лавиной тревожных звуков, Дёрдь наклонился вперед и взял обнаженную руку жены:

— И без браслета красиво.

Виола, не веря своим ушам, переспросила:

— Что ты сказал?

В ответ он сжал обтянутую тонкой кожей, скрывающую острые кости кисть:

— И без того красиво.

Это была абсолютная ложь.

Почувствовала ли Виола, о чем он думал во время первого действия? Или же та его оговорка дома и посейчас растравляла ей душу? Внезапно его захватил наплыв веселого, бурлящего опьянения.

«Глупая гусыня! — Больше всего ему хотелось бы сейчас отхлестать ее по щекам.— Неужели ты и вправду настолько глупа? Настолько самонадеянна и злобна? Ты хотела уязвить меня, причинить мне боль. Думала, я накинусь на тебя с упреками тотчас же, здесь, в Опере, когда звучит музыка. Надеялась, что я поведу себя грубо, и пошло, потому что меня расстроит пропажа камня. На что же ты рассчитывала? Что в отместку за грубость ты получишь возможность пренебрежительно усмехнуться. И тем самым докажешь широту своей натуры. Вот ведь ты потеряла драгоценность, но это тебя не волнует. Ты выше подобных мелочей жизни и паришь над корыстолюбивым миром с его низменными страстями, точно холодный ангел. С легкой улыбкой паря в эмпиреях, ты с недосягаемых высот могла бы взирать на то, как я, потрясенный пропажей, вскакиваю, бегу в театральный ту-

алет, унижаю подозрениями дежурную уборщицу, вступаю в пререкания с детективом, возбужденный донельзя, весь в поту. Не такую ли роль ты мне отводила?»

Сцена погрузилась в темноту, оркестр передал раскат грома, и прозвучал рог Гундинга, пустившегося в преследование. Мгновенная вспышка света на сцене,— и как в озарении перед мысленным взором Дёрдя вдруг возникла другая мизансцена: его прежняя холостяцкая квартира и тот вечер, когда Виола впервые пришла к нему; как в красноватых отблесках, падавших из печки, она нежилась в кресле и, возбужденная алкоголем и его ласками, кичливо хвастала: «Во сне я поражаю кинжалом!»

«Во сне? — в раздумье спрашивал сейчас себя Дёрдь.— Только во сне ли? А не в мечтах и самых сокровенных своих желаниях? И не ночью поражаешь ты, а среди бела дня. Помнишь ты сама тот вечер? О, тогда ты разоткровенничалась до предела. Ты и впрямь поражаешь кинжалом, пронзаешь коварно, исподтишка. И у кинжала твоего — не безопасный шарик на конце острия, напротив, лезвие его ты обмакиваешь в гнуснейшие из всех твоих ядов. Но меня тебе не сразить. Я видел тебя перед Капри, во время морского путешествия. Именно тогда я раскрыл тайну твоего тела: твоя суть — гнилая, распадающаяся плоть, ты лжива, каждой клеткою своего тела! Тщетны все твои уловки, тебе не удастся провести меня! Теперь я изучил тебя, познал до пугающе сокровенных глубин. Глупая ты гусыня, неужели тебе до сих пор это не ясно? Острие твоего кинжала обломлено, и теперь уже я веду игру с тобою!»

В этот момент Виола неожиданно приподнялась с места, но Дёрдь быстро протянул руку.

— Куда ты? Сиди! — удержал он жену.

Женщина ответила недовольно, будто ее обидели:

— В умывальную.

— Сиди спокойно!

— Пусти меня! Может, я еще найду цепочку.

Мужчина склонился к ней еще ближе:

— К чему беспокоить весь ряд? Излишне.

Поначалу его предположение и ему самому показалось лишь шуткой; но секундою позже он понял, что так оно и есть.

Неожиданно, как по наитию, он взял сумочку жены и, прежде чем Виола успела выхватить сумочку, раскрыл ее.

— Тебе незачем выходить, цепочка здесь.

Вместе с трубочкою помады и пудреницей он вынул из сумочки браслет Эстер — аквамарин на серебряной цепочке.

Как только они вернулись из Оперы домой, Виола молча положила драгоценность на письменный стол Дёрдя.

Мужчина к тому времени успел принять решение.

— Отчего же? Носи! — сказал он с обезоруживающей простотой.

Он не спросил даже, почему она солгала. Просто вернул ей цепочку. Он уже придумал для себя новую игру. Но об этой игре он ни разу не проговорился Виоле. Смысл воображаемой игры сводился к следующему: Виола действительно оставила в умывальной цепочку Эстер, оставила намеренно. Цепочку нашла какая-то чужая женщина, жадно схватила, спрятала, приценилась у ювелира. Узнала, что камень — редкостной красоты. И с тех пор та, чужая женщина, носит цепочку. Какая она, эта женщина? Воображение подсказало портрет: она низенькая и толстая, из тех, что на ходу перекатываются, как шарик. Еще немного подумав, он окончательно решил: та женщина как две капли воды походит на мать Виолы.

Теперь оставалось дать ей имя.

Над именем он размышлял не одну неделю. И все это время приглядывался к Виоле, как художник к модели. Поочередно прикидывал к ней разные имена. Много раз ему казалось, что он нашел подлинное имя; но, прикинув, тут же отметал его.

Наконец имя было найдено. Оно сложилось и зазвучало: Эмилия Герргатт. Дёрдь остался им совершенно доволен. Имя передавало тот ужас, что захлестнул Виолу, когда он в театре извлек у нее из сумочки аквамарин. Ужасом был проникнут вырвавшийся у нее тогда возглас «Herrgott!» — любимое словечко Виолиного семейства. Но ему удалось придать имени законченное совершенство, заменив короткое «о» звучным «а». «Герргатт» звучало еще более мстительно.

И всякий раз, как Виола, памятуя о своем постыдном поражении, покорно защелкивала на запястье цепочку, Дёрдь мысленно повторял:

— Эмилия Герргатт сегодня вечером опять надела наш аквамарин.

«Герргатт» было четвертым, если не пятым именем Виолы. Но об этом имени не знал никто, даже сама Виола. Оно было известно только Дёрдю.

ПАВА

Потребность наделять именами относится к одной из самых глубоких и почти неизученных страстей человеческих. Не только влюбленные устремляются друг к другу с новыми — что ни день — именами. Люди, не любящие друг друга, поступают так же. Психологическое напряжение, которое раздраженные перепалки или горькие, унизительные распри способны разрядить лишь на мгновение, удачно подобранное прозвище может снять даже на недели.

У Виолы таких прозвищ было не четыре и не пять. Их было бесчисленное множество.

Одно из них могло показаться несколько сложным:

Тридцать три павы.

Но что это за звук коснулся сейчас его слуха?

Мужчина невольно вздрогнул. Застыв у порога вентиляционной шахты в кромешной тьме, он напряженно вслушивался. Вверху — примерно где-то на третьем этаже—плыл жалобный писк детской скрипки. Звук был очень тонкий, далекий, и все-таки он раздражал своей приторностью. На скрипке пиликали мелодию песни «Тридцать три павы».

Дёрдь от ноты к ноте воспроизвел текст песни — он давным-давно забыл его, а сейчас, слово за словом текст вновь возродился в памяти:

У плакучей ивушки
Веток тридцать три.
На те ветки сели
Павы тридцать три.

Кто играл на скрипке? Или то душа самой Виолы с печальным, умолкшим инструментом у плеча порхнула вниз, в затянутый паутиной колодец?

Прежде чем песенка отзвучала, Дёрдь успел определить природу звука. Всего-навсего комар, выискивая жертву — или изливая в песне тоску одиночества,— праздно кружил в вышине колодца.

— К тебе самой очень подошло бы это имя: тридцать три павы! — вырвалось как-то у Дёрдя.

Виола с присущим ей самодовольством приняла это прозвище.

Но сейчас не она играла на скрипке. Сейчас она лежала окаменело, зарывшись лицом в пепел, и не отзывалась.

Виоле сравнялось, должно быть, лет восемь, когда она начала играть на скрипке. Она окончила курсы музыкальной академии, на конкурсе дипломантов исполняла вещи Тартини, Мендельсона, Паганини.

Как звучала скрипка под рукою Виолы?

Звучание ее напоминало тонкую струйку-ниточку меда.

Звук выходил сладкий, блестящий, но тягучий, он все тянулся и тянулся, неприятно истончаясь. И под конец коварно липнул и засыхал на коже слушающих, не проникая в душу.

Были в ее игре и блеск и вкус, но не из тех, что воздействуют на эмоции; эти блеск и вкус были подвержены закону тяготения.

— Так, значит, струйка меда.— И он легко щелкал Виолу по кончику носа, когда хотел поддразнить ее.

— Принеси с собой инструмент! — попросил он ее както раз в самом начале их романа.

На следующий же день она пришла на свидание пай-девочкой: в руках футляр со скрипкой, на ногах — носочки, взгляд голубых глаз проникновенный и чистый. Она исполняла сонату Равеля.

Во время игры Дёрдь подошел к ней сзади, склонился, взял ее руку и поцеловал. И словно наткнулся на камень: горевшее лицо Виолы стало жестким, мужчина держал в объятиях не живое девичье тело, а прогретый солнцем песчаник.

— Ты не слушаешь? — спросила окаменевшая Виола.

— Продолжай! — сказал он, смутившись.

Его поразил неприятный запах изо рта девушки. Этот теплый, кисловатый душок-сигнал он уловил еще несколькими днями раньше, при первом их поцелуе ночью. Это был верный признак, что девушка возбуждена; в минуты волненья у Виолы не пылали щеки и сердце ее не учащало ритма, окрыленное чувством; возвышенный призыв не находил в ней отзвука. Она оставалась скучающей, неловкой, бесстрастной. Кожа ее была холодной, мышцы — расслаблены. Но тогда — в первые дни их любви — она, хоть и по-своему, несомненно испытывала возбуждение.

Явным признаком ее женской неполноценности было то, что позднее — как во время игры на скрипке, так и в моменты их близости — в ней незаметно угас этот процесс внутреннего окисления. Любовь не облагородила ее тело, зато звучание скрипки переменилось, стало более жидким. Теперь его нельзя было сравнить даже с прежней струйкой-ниточкой меда, это был чуть-чуть подсвеченный солнечный блик.

Что же в действительности значила для Виолы игра на скрипке?

Кривя губы, она давала понять, что как бы воспаряет над миром, над людской суетой, над заурядностью. Скрипка — это символ, знак ее принадлежности к существам избранным. Ее дворянский герб. Виола приладила скрипку к своему образу жизни, как добавляют приставку к дворянской фамилии.

Скрипка была таким же фальшивым предлогом, как для иной женщины — зубной врач или модистка-шляпница в доме любовника: предлог, чтобы юркнуть в нужный подъезд, а после подняться двумя этажами выше. С помощью скрипки можно было избежать всяческой работы, ответственности, человеческого общения. Бах или Корелли не раздвигали горизонты ее восприятия жизни, напротив, они замыкали узкий круг, сотканный из угодливости и лжи.

Ее скрипичная игра походила на сверкающую шуршащую фольгу. Она делала Виолу почти привлекательной и желанной; скрипка лгала в унисон с исполнительницей. Музыка, как фольга, защищала кожу, и кожа ее оставалась стерильной, не будучи чистой изначально, по самой природе своей.

Игра ее не вела никуда; слушавший попадал в тупик. Скрипка ни на йоту не приближала ни к ней самой, к плоти ее или к душе; ни к музыке, к миру страстей, страху и свету. Рано или поздно каждый выбирался из этого слепого тупика, и только она одна оставалась в нем, в глубине его, точно паук в центре своей паутины, в полутемном углу, подкарауливая жертву.

Дёрдь закурил новую сигарету, снова задумался...

Он мог бы так простоять до рассвета, подбирая сравнения скрипичной игре Виолы. Игра ее приводила на память нить паутины, тонкую, коварную, липкую, но

крепкую и упругую нить. Но тут комариный писк смолк, оборвалась и цепь его мыслей.

«Тридцать три павы» — так называл он эту ее маску виртуоза скрипача и все, что скрывалось под нею.

За три года их супружеской жизни Виола дала два публичных концерта. Один из них — в Коложваре.

При одном названии этого города сердце его внезапно дрогнуло — разве забудешь то снежное, радостное утро! Площадь и улочки города! Подлинные названия и вымышленные им! Такие моменты, пережитые смолоду, запечатлеваются в памяти навечно!

В Коложвар они попали, как в сказку Андерсена. Стоял апрель — и сыпал снег. Не тяжеловесные запоздалые хлопья, но необозримые снежные завесы, которые своевольно развевал ветер.

В гостинице Виола первым делом распорядилась протопить в номере, захлопнула оконные ставни и начала репетировать при электрическом свете. На одном из столиков в двухлитровой посудине курился свежезаваренный лечебный отвар. Дёрдь пробурчал что-то в оправдание и поскорее сбежал из этой душной, со спертым воздухом больничной палаты.

Улица встретила его таким светом, такой зимою и таким всепронизывающим ощущением счастья, что у него закружилась голова. Возле гостиницы продавали подснежники, и самый воздух был пропитан ароматом фиалок. Не веря глазам своим, стоял он на тротуаре и, запрокинув голову, всматривался ввысь: падал снег и сквозь плотную пелену снегопада пробивались лучи солнца. Что здесь было от зимы: быть может, этот искрящийся поток косых лучей? И что — от весны, не ею ли пропитан снег, эти стаи слепящих белых птиц. Одна из гигантских белых завес в этот миг колыхнулась, и за ней на такой же короткий миг открылась церковь святого Михая — ее тяжелая кровля и стройная башня.

Подснежники продавали повсюду; с каждого перекрестка, из подворотен, а то и с середины мостовой бежали к нему с цветами. Букетики цветов предлагали ребятишки в белых чулках, черных полушубках и островерхих меховых шапках. Лица встречных прохожих озарялись улыбкой. Снег был девственно белый и очень мягкий, глаз не улавливал обычного фиолетового оттенка.

Внезапно пересекая площадь, закрутил снежный вихрь. Все и вся сразу исчезли в его кружении, самый город, похоже, взмыл ввысь над снежной завесой,— и так же неожиданно вдруг повеяло леденящим холодом. На мгновения Дёрдь испытал неодолимую колдовскую силу самой сладостной из смертей — смерти от холода.

Со смешанным чувством гнева и восторга бегом вернулся он в гостиницу за Виолой.

— Немедля, сейчас же, пойдем на улицу! — обрушился он на нее.

— Что случилось?

Он не нашел более убедительных слов:

— Там продают подснежники!

— Ну что ж... прогуляться с полчасика мне было бы полезно...— отозвалась, надевая пальто, Виола.

Она без препирательств согласилась пойти с ним, а это уже само по себе было чудом.

Когда они вышли на улицу, снегопад еще не перестал, сквозь белую пелену не просвечивало солнце, зато снежный мир полнился веселыми, легкими звуками. Тут и там скользили сани. Гигантские белые завесы были приподняты, и город с обманчивой мягкостью опустился на землю.

Они чуть отошли от гостиницы.

— Теперь ты видишь? — воскликнул он, весь переполненный жарким счастьем.

Виола огляделась по сторонам, поинтересовалась с бесстрастным любопытством:

— Что именно?

— Город!

Но эту женщину интересовали конкретные факты.

— Как по-твоему, в котором из этих домов родился Матяш? [1]

— Вот в этом! — выпалил Дёрдь, не раздумывая ни секунды, и указал на ближайший особняк с балконами.

У Дёрдя было смутное подозрение, что выбор его пал на дом Банфи [2], однако он не отступился и горячо подтвердил:

— Да-да, именно в этом!

---

[1] Матяш Корвин (1443—1490) — венгерский король.

[2] Банфи Миклош (1873—1951) — трансильванский писатель и политический деятель.

Так ли уж важны детали!.. Снегопад, ощущение счастья и белая андерсеновская сказка — вот подлинная реальность! Мимо них скользили порожние сани, неожиданно для самого себя Дёрдь порывисто остановил их, и они уселись.

— Покатайте нас по городу, все равно куда! — наклонился он к вознице.

И вот в течение нескольких минут он построил вымышленный Коложвар, город, собранный из мозаики фантазии.

— Как называется эта улица? — спросила Виола.

— Улица Моноштори! — объявил он, веселый и опьяненный этим своим беспричинным счастьем. Так окрестил он узенькую уличку в старой части города.

С этого момента Виола лишилась возможности задавать вопросы: Дёрдь всякий раз опережал ее. Названия легкие, как снежинки, одно за другим роились в мозгу, и стоило саням пронестись по какой-либо завьюженной площади, мимо какой-нибудь церковки или мало-мальски примечательного дома, как он уверенно восклицал:

— Бастион Бетлена! [1]

И тотчас издали замечал памятник:

— Смотри, это святой Георгий, работы братьев Коложвари!

Тут Виоле удалось вклинить вопрос:

— Копия?

— Что ты... Конечно, оригинал!

С церквами и храмами Дёрдь обошелся не менее решительно:

— Вот известная церковь по улице Фаркаш!

— Храм францисканцев!

— А это — униатская церковь!

Успех вскружил ему голову, и он едва не зарвался. Ткнул пальцем в какого-то сухопарого мужчину на тротуаре:

— Видишь? Это граф Т.! В эту пору он обычно возвращается от своей приятельницы-актрисы, значит, опять провел ночь у нее.

Виола подозрительно на него покосилась:

— Откуда тебе известны такие вещи?

---

[1] Имеется в виду Бетлен Габор (1580—1629) — трансильванский князь, возглавивший борьбу против Габсбургов за национальное освобождение.

Дёрдь с легкостью вывернулся:

— Три года назад я был здесь по служебным делам. Тогда-то мне и удалось со многими познакомиться и много чего узнать.

Виолу все еще не оставляли сомнения:

— Но ты никогда не рассказывал об этом.

— Я готовил тебе сюрприз.

Оба проводили глазами сухопарого мужчину.

— Выходит, любовная связь может длиться три года? — задумчиво спросила Виола, посвященная в «тайну».

— О, это не просто связь, а настоящая любовь. Весь город с большим уважением относится к их чувству.

— Такие здесь нравы?

— Да, можно сказать, влюбленность в самой натуре этого города.

Поток памятных мест, известных ему по Коложвару, скоро иссяк в его памяти; тогда он легко и азартно нахватал отчаянных долгов, заимствовав достопримечательности у других городов: Варада, Кашши, Удвархея.

— Площадь Бремера!

— Не узнала? Ведь это знаменитая башня Орбана!

— Отсюда берет начало проезд Кечеди!

Виола своими вопросами толкала Дёрдя на новые выдумки.

— Не знаешь, где жил Габор Бетлен?

— Тот дом снесли.

С этой фразы фантазия его обрела новое русло.

— А вон мемориальная доска: здесь бывал Шамуэл Брашшаи!

Или:

— В этом доме оборудовал свою книгопечатную мастерскую Миклош Мистотфалуши.

Город вокруг них был наполнен волшебным перезвоном колокольчиков. Снегопад, густой до неправдоподобия, усилился еще больше. Под конец все было забросано, укрыто белым покровом. И в этот момент Дёрдь спросил Виолу:

— Ты счастлива?

Виола вскинула брови.

— Почему я должна испытывать какое-то особое счастье?

После обеда Виолу мучили печеночные колики. Вечером состоялся концерт. Ночью пришлось ставить ей припарки. К рассвету, наскоро посовещавшись, они отвергли свой прежний план остаться в городе еще два дня.

Их встретило сверкающее воскресное утро. Город искрился безукоризненной белизной, но снегопад перестал. Они сели в поезд.

И вот однажды, много позже, месяцы спустя у них завязался спор о природе лжи.

Дёрдь пристроился прямо на полу, у этажерки с нотами, перебирал нотные тетради и альбомы. Ему очень понравилась одна народная песня из комитата Чик. Дёрдь мурлыкал мелодию, вполголоса напевал незатейливые слова песни: как страшится подгулявшая молодка, которая выпросила в корчме в долг вина, девять стопок.

Боже, как мне долг сквитать,
Чтобы мужу не прознать.
С сапог срежу голенища,
Расплачусь — пусть стану нищей!

Умела ли Виола смеяться?

В тот раз она смеялась, с упоением, с задором. Откровенно потешалась над крестьянкой, которая додумалась обкромсать голенища у сапог, и эту намеренную порчу сапог ей легче было объяснить, чем долг корчмарю.

Дёрдь с изумлением смотрел на Виолу.

Ему очень захотелось напомнить Виоле о том сверкающем снежном утре в Коложваре, сказать ей, что город был создан им из вымысла.

Но все же он удержался, не сказал.

ЛОХМАТКА

Мужчина переступил порог, в темноте попытался на ощупь отыскать руку мертвой женщины. Вот он коснулся ее локтя, пальцы его скользнули ниже, к запястью, легли на узкую кисть; это была левая рука. Он грустно и с состраданием улыбнулся; как бы ни играла Виола, но рука ее стала рукою профессиональной скрипачки.

Он слегка приподнял ее, как делал иной раз во время игры Виолы, если оказывался у нее за спиною. Рука мягко повиновалась.

Что такое безжизненность?

Первый наружный форпост средь всех переплетений тайных ходов смерти. Сама по себе суть явления проста: это распад того многоликого и чуткого равновесия, которое удерживается в нашей плоти жизненной волей человека и земным притяжением. Но что же такое смерть? Пожалуй, всего лишь нарушение этого равновесия: безжалостный произвол, который творит земное притяжение над глухим, поникшим человеческим телом.

Мужчине впервые довелось держать руку покойника. Руку, которую он держал не раз и которая сейчас казалась чужой, как неудачный слепок. Он поднял и опустил запястье: в запястье Виолы всегда был подвижным один сустав и двигался как на шарнире. Какое жалкое убожество! Лишь мертвому телу дано довести до нашего сознания, сколько богатой, прихотливой, загадочной хореографии таится даже в простейших движениях человека, пока он живет, дышит!

А тут один-единственный сустав, да и тот скованный в движении!

Бедная Виола!

Она таила в себе смерть. Даже когда была жива. Этим и объяснялась ее необычная скованность.

Колдовские чары снега! Древние признавали четыре изначальные стихии: огонь, воду, землю, воздух. О прекраснейшем видоизменении — о снеге — они забыли. Каждое из времен года согревает, холодит или обдает слякотью и грязью, и лишь одной зиме дано сочетать в себе безупречную, совершенную, пронизывающую до костей красоту с первозданной чистотою. А сколько волнующих переживаний, сколько блеска и переливчатого сверкания, сколько восторженного опьянения она сулит!

Дёрдь стоял в самом конце улицы Келенхеди, там, откуда начинается улица Манёки. Как раз до этого поворота слетали вниз на санках ребятишки, здесь они тормозили и с воплями восторга опрокидывались в глубокие сугробы. В детстве самыми счастливыми месяцами для него были зимние — зимой он любил ходить без перчаток; ему не жаль было отморозить хоть все десять пальцев, ходить с голыми руками было для него необходимостью, чтобы в любое мгновение жадно и ненасытно черпать снег пригоршнями.

Возвращаясь домой с работы, Дёрдь каждый день останавливался здесь. И всякий раз опьянение свежестью снега и давние воспоминания детства томительной ностальги-

ей обжигали его. Сегодня снег плотно покрыл все вокруг, за ночь его навалило с метровую толщу.

Вот уже второй день, как Виола тоже начала кататься на санках. На прошлой неделе они побывали у врача — Виолу мучили постоянные головокружения,— врач прописал ей снег и катание на санках, как вернейшее средство от бледности и малокровия.

— Ну почему ты катаешься с таким отвращением! — воскликнул Дёрдь, подхватив вчера ее санки.— Думай хотя бы о том, что это все-таки намного приятнее, чем глотать рыбий жир!

Нехитрое сооружение на полозьях — то были санки его школьной поры, Дёрдь притащил их из дома своих родителей, за полчаса переворошив разный хлам, сваленный на чердаке.

Виола даже не успевала сойти с санок, сильным рывком он разворачивал санки и бегом втаскивал их снова наверх до улицы Резеда. А оттуда, вдвоем — с удвоенной инерцией — они стремительно скатывались вниз. И так десять раз кряду, пока у Виолы и в самом деле не начинала кружиться голова.

Вот и сегодня он поджидал ее; но Виолы все не было. Он направился к дому и в нескольких шагах от подъезда — они жили высоко на горе, у верхнего поворота улицы — увидел следующую картину.

Виола начинает спуск по всем правилам, поставив санки на середине дороги. Лохматка, их большой белый пес, стоя на тротуаре, с интересом следит за ней. Вот санки покатились, все набирая скорость, и тут Лохматка плавным броском неожиданно перелетает через сугроб вдоль бровки дороги и устремляется вслед за санками. У первого же поворота Лохматка настигает Виолу. Пес сзади хватает зубами матерчатую обивку сиденья и единым рывком останавливает санки.

И тут Дёрдь увидел: Виола тяжело поднимается и ногой в массивном спортивном ботинке раздраженно и с силой бьет собаку. После первого удара Лохматка не бросил заигрывать с хозяйкой и опять схватил санки зубами. Тогда Виола снова ударила пса тяжелым ботинком в живот. Лохматка, скрючившись от боли, бросился прочь.

В этот момент Дёрдь подошел к ней.

— Ты не поверишь, он уже десятый раз кряду проделывает со мной этот трюк! — возбужденно воскликнула Виола, завидя мужа.

Дёрдь нежно, с грустью и каким-то глубоким отчуждением в душе обнял Виолу.

— И все же нельзя так...— сказал он.

— Что именно?

— Бить собаку ногами.

В женщине мигом угасла даже та ее миловидность стандартной целлулоидной куколки, которая была хоть чуть сродни юности, могла сойти за подделку под юность. Лицо ее превратилось в маску сварливой карлицы. Мужчина бросил взгляд на нее и умолк. Молча направились они к подъезду дома.

— Скажи, отчего ты совсем не умеешь радоваться? — спросил он под вечер.

Они были дома одни, Виола в эту минуту стояла у раскрытого платяного шкафа. Дёрдь видел лишь ее округлые плечи и спину, и спина эта не хотела отвечать.

— Откуда в тебе такая скованность, откуда эта замороженность? Отчего ты не умеешь смеяться, дурачиться, валяться в снегу? Скажи, наконец, отчего ты не умеешь быть счастливой?

Он явственно видел перед собою другую сцену на запорошенной снегом улице: собака, резвясь, хватает зубами санки, тянет хозяйку назад, Виола и пес поворачивают дружно, бегут наперегонки, оба смешные, забавные, веселые; а если бы у Виолы в тот момент вырвалось какое-нибудь радостное восклицание, он бы, пожалуй, мог еще полюбить ее! То был краткий миг дарованной им милости, когда они еще могли бы спасти свою Любовь.

— Скажи, кто тебе отбил охоту к игре, к забавам? Почему ты глуха к любой жизненной радости?

Виола напряженно застыла подле развешанных в аккуратный ряд платьев.

— Отчего ты не ловишь мимолетное удовольствие? Не принимаешь случайность? Отправляясь кататься на санках, ты непременно настраиваешься только на это катание. Неужели тебе не ясно, что ты — невольница и сама себя держишь в оковах?

Он пытался объяснить ей все разом:

— Отчего ты как каменная? Точно тяжелый, летящий вниз камень, без проблеска чувства! Стань живой, как живое растение! Виола, ты слышишь, что я говорю! Тянись к свету, прошу тебя, научись расцветать и хорошеть от случайной, нежданной радости!

— Но я — камень, ведь ты же сам сказал! — повернулась к нему женщина.

— Ну тогда и будь камнем! — взорвался Дёрдь.— Впрочем, даже камень способен впитывать тепло, прогреваться на солнце. Случалось тебе когда-нибудь брать в руки такой прогретый солнцем камень? Внутри него шевелится что-то живое, будто бьется сердце. Но прошу тебя, не будь камнем, будь человеком!

— Я и есть человек! — бросила в ответ Виола.

Она была явно взволнована, но лицо ее не умело пылать в душевном порыве. Дёрдя больше всего поразила именно эта ее особенность; он схватил Виолу и, сам того не замечая, больно ущипнул. Кожа Виолы оставалась холодной и влажной.

— Нет, ты не человек!..— вырвалось у него с тоскливым ужасом.

— Не человек ты, нет! — снова бросился он на штурм в последнем отчаянном порыве.— Ты не умеешь быть уступчивой. Ты лишена даже человеческого любопытства! Ты не умеешь радоваться! Не умеешь воспринимать счастье! Нет, тебе еще далеко до человека! Тянись же, ради всего святого, тянись к солнцу, к свету! Не бойся падать и ушибаться, не бойся испытывать боль, главное избавиться от своего непробиваемого самодовольства! Ты слышишь меня, Виола?

Он почти задыхался от того, что скопилось на душе.

— Научись быть человеком! Умей без остатка отдаться радости! Пойми, наконец, что это прекрасно — принадлежать другому человеку. Умей расслабиться, дай волю чувствам! Виола, не будь сухим деревом! И не превращай в пустыню все вокруг себя. Начни с глубокого глотка воздуха, начни хотя бы с любви к собаке! Понимаешь? Ведь ты поняла меня, Виола?

Но Дёрдь знал, что взывает к глухой.

ПЯТНО

Наиболее ярким в их жизни были моменты, когда Дёрдь мог смеяться над Виолой.

Такое случалось редко. Но потом они еще больше отдалялись друг от друга. Случайные, коварные, неведомые силы то и дело заставляли Виолу спотыкаться, она получала щелчок по носу, и Дёрдь от души смеялся; но потом

в душу его закрадывался страх. Потому что он знал: смех этот тоже заманивает в тупик. Рано или поздно им придется повернуть назад.

Всю безнадежность такого смеха он впервые ощутил на Капри, в полдень, когда они после ночного припадка Виолы — и после первой ее лжи — проснулись и при свете дня вновь взглянули друг на друга.

Толчком послужила мимолетная шутка.

Дёрдь и Виола обедали в саду ресторанчика — в подобии беседки, увитой лиловыми и розовыми цветами,— их закружил бездумный вихрь радужного света и счастья, блекло-зеленая гуща растений обволакивала душистым и тягучим ароматом.

У всех вокруг было приподнятое настроение. За соседним столиком сидела парочка, и видно было, что эти двое по-настоящему влюблены друг в друга. Официант напевал что-то про себя, бросал улыбки налево и направо; казалось, ему даже не стоит никакого труда поднимать и нести блюда и тарелки, они парили над ним, словно взмывшая в воздух голубиная стая. За дальним столиком прославленная кинодива с обворожительной, не сходившей с уст улыбкой легкомысленно велела подать себе спагетти, сытное блюдо из круто замешанного теста,— сенсация шепотом перелетала от стола к столу. Неожиданно со стороны сада у входа в летний ресторанчик показались морды двух осликов, привязанных бок о бок друг к другу; ослики неуверенно и робко оглядывались по сторонам, пытаясь понять, куда это они попали? То была упряжка, которая ежедневно в послеобеденную пору отправлялась до Анакапри. Как ослики очутились здесь? Совершенно необъяснимым образом. Сидящие за столиками встретили гостей звонкими, веселыми аплодисментами, ослики растроганно приняли приветствия, после чего исчезли. Улыбающаяся хорошенькая женщина у колонны что-то быстро писала; прислушиваясь к тому, что выкрикивает ей официант, женщина старательно делала пометки, должно быть, регистрировала заказанные блюда.

Внизу, в глубине, синело море, а в вышине — небо, облака, весна. Водная глубь источала безмерную благожелательность, а высь небес дышала юным и ликующим умиротворением. В этот час в мире просто не могло случиться никакой беды, никого не могла коснуться дурная весть.

Официант уронил каплю светло-коричневого соуса на белый полотняный пиджак одиноко сидящего справа по-

жилого господина. Все видели это, и все были уверены, что сейчас произойдет какое-то чудо. Так все и вышло. Женщина у колонны оставила свои записи и попросила пожилого господина подойти к ней; она обмакнула кончик своего крохотного носового платочка в баночку с какой-то белой мазью, после чего потерла им пиджак, и пятно исчезло.

Мимолетная сцена придала храбрости и благодушно настроила все десять столиков. Бокалы с Capri rosso знали, что им никак нельзя опрокинуться, а люди стали еще более кротки, благожелательны, под стать окружающей их цветущей зелени. Веселый свет растопил в людских душах остатки напряжения, высокомерия и раздраженности.

И тогда на сцену выступила Виола: она позавидовала пожилому господину.

Виола уронила зеленую каплю на свое бледно-голубое платье. Только Дёрдь видел, что она сделала это намеренно — из чувства зависти, требовательно; ей казалось, что чудодейственное удаление пятен тоже можно заказать, как блюдо.

Но, должно быть, небеса разгадали ее намерение так же ясно, как и Дёрдь. Женщина у колонны снова извлекла свой миниатюрный платок и баночку, старательно, с улыбкой извинения терла она платье Виолы, но пятно и не думало исчезать. Напротив, росло и становилось еще темнее. Дёрдь чувствовал, что женщина вовсе не хочет удалить пятно с платья Виолы. И посетители за каждым из десяти столиков всецело сочувствовали женщине, были в полном с ней согласии. Виола упрямо выставляла свое пятно, но оно, словно в насмешку, расплывалось все шире и неудержимее.

Стойкая дымка умиротворения и красоты курилась в воздухе. И приговор Виоле был доставлен на ангельском крыле. Дёрдь и сам был в числе осудивших ее. Он был счастлив и доволен, чувствуя, что миром правят гармония и справедливость.

И он смеялся — обреченно, счастливо.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Похоже, будто хлопнула входная дверь. Мужчина вздрогнул: идут?

Прошла минута, две, три минуты; к лесенке в подвал никто не свернул, да и тишина оставалась нерушимой. Воз-

можно, хлопнула дверь парадного в соседнем доме; но вероятнее всего, ему почудилось.

Интересно, кто придет сюда первым? Дежурный полицейский из ближайшего отделения, с толстым блокнотом и запасом прощупывающих вопросов наугад? Или бригада из центрального управления: врач, следователь, офицер?

Наверное, уже успели сообщить в морг; должно быть, за Виолой послана машина...

Какие вопросы станут ему задавать? Начнут, пожалуй, так:

— Вы знали покойную?

Он ответит:

— Она была моей женой.

— Вы жили вместе?

— Нет. Мы разведены.

— Когда вы развелись?

— Пять лет назад.

— Сколько вы жили в браке?

— Три года.

— Почему разошлись?

Почему?.. До таких глубин докапываться не станут. Ну, а если все же спросят, что он скажет? Самый простой ответ:

— Потому что я не любил ее.

— Тогда зачем вы на ней женились?

Эта игра в вопросы-ответы была для него мучительным, вынужденным времяпрепровождением. Игра, навязанная необходимостью ждать. Да следователь и не может задать столь бестактный, грубый вопрос. Но уклоняться от него он не стал бы. И нет нужды тщательно обдумывать ответ, достаточно именно так и сказать:

— Потому что я не любил ее.

Но это звучит слишком высокопарно. Неискренне.

— Потому что я приложил снег к ее обнаженному телу.

Абсурдно и претенциозно!

Может быть, так:

— Потому что однажды она заснула у печки, в отблесках пламени!

Нет, такого никто не принял бы всерьез. Надо подыскать объяснение попроще.

— Потому что однажды мы опоздали на «Мейстерзингеров».

Не годится, опять претенциозно.

А если так:

— Потому что она была молода.

Ответ ничего не говорящий.

— Потому что она была красива...

Нет, этого он на себя не возьмет. Виола никогда не была ни молодой, ни красивой. Сквозь ее юную кожу неизменно проступала старческая дряхлость.

— Тогда почему же вы все-таки на ней женились?

И тут лишь ему ясна стала истинная причина; открытие, будто вызванное упорными наводящими вопросами следователя, резко полоснуло его:

— Потому что мне было любопытно!

Вот она, истина! Сам по себе этот ответ — еще невразумительнее и высокопарнее всех предыдущих — еще больше вызывает раздражение, но его пришлось принять сразу, без всяких оговорок, возражений, протестов. Только во сне так проясняется тайное тайных: им двигало любопытство. В чем тайная пружина поступков ребенка? И в чем тайна иной жестокости? Всего лишь в любопытстве, и ни в чем другом.

Два с половиной года он оттягивал эту игру, порой втайне надеясь, что ему удастся избавиться от искушения. Он противился соблазну, страшился его. Много раз его удерживал стыд. Но в какой-то миг все подавленные соблазны вдруг вспыхнули заманчивым светом, как разбрасывающая искры палочка магния. И пламень тот Дёрдь уже не в силах был погасить...

Началось с пустяка. Они бродили где-то в Будайских горах, кажется, снова по склону горы Сечени; решили навестить кого-то из знакомых, но не застали дома.

— Давай погуляем, не стоит спешить домой...— попросила Виола.

Так они и остались в горах, на непредвиденную прогулку.

Да, конечно, они были тогда на горе Сечени; глотали взбитую осенью мучнисто-белую пыль улицы Хедьхат, затем свернули к часовне святой Анны. К ногам их, на дорогу, упали один за другим несколько каштанов, ударились с глухим стуком. Дёрдь поднял один из них, какой глянцевитой, блестящей была его скорлупа! Таким упругим и крепким бывает юное девичье колено.

И тут Виола припустилась бежать.

«Точно подслушала мои мысли и убегает от мелькнувшего у меня сравнения!» — Дёрдь недоуменно смотрел ей вслед.

Потому что в самом ее беге не было никакого видимого смысла. Виола устремилась вниз по склону, раздражающе бесцельно, словно тяжеловесная бабочка капустница; вот она обогнула какой-то куст и вскарабкалась обратно:

— Смотри: как девичье колено! — Дёрдь настойчиво протянул ей каштан, не желая расставаться с полюбившимся сравнением.

Виола не поняла.

— От этого не убежать! Должна же ты узнать рано или поздно!

Она опять явно не поняла его. Но через минуту-другую вновь припустилась бежать. На сей раз она вернулась с цветочками безвременника — двумя сиреневыми колокольчиками.

— Стой спокойно! — велела она Дёрдю, продевая цветочки в петлицу его пиджака.

И лишь когда она бросилась бежать в третий раз и у поворота извилистой, взлетающей вверх по склону тропинки махнула Дёрдю рукой,— лишь тогда до него дошел смысл этого аттракциона. Виола бегала напоказ ему. Демонстрировала свое тело в беге, сгибала колени, поднимала руки, заставляла работать мышцы, кости; при этом она становилась глухой ко всему окружающему, как токующий тетерев; казалось, дай ей волю, и она усядется на дерево токовать по всем правилам.

Виола бегала, потому что несколько дней назад Дёрдь случайно упомянул в разговоре, как легко и красиво бегала Эстер в детстве. Почему же зашла речь об этом? Ах да, помнится, он лежал на дощатом настиле у открытого бассейна на острове Маргит; тело его впитывало лучи последнего теплого солнца. В тот день Виола тоже отправилась с ним на пляж. Переодевшись, она подошла к Дёрдю. После двух с половиной лет их супружеской жизни она впервые взглянула на ноги мужа. Через правое колено его тянулся косой длинный шрам. Виола присела рядом.

— Отчего у тебя этот шрам?

Дёрдь подтянул колено, взглядом скользнув по белому рубцу:

— Упал когда-то, очень давно!..

— В детстве?

Дёрдя удивило, что Виола выспрашивает так дотошно.

— Да, в детстве,— уступая расспросам, ответил он.

На несколько мгновений Дёрдь как бы перенесся в то далекое прошлое, затем добавил:

— Это была наша любимая с Эстер забава — играть в догонялки!

Дёрдь снова улегся навзничь, подложив под голову скрещенные руки.

— Но Эстер бегала лучше меня! Я завидовал, злился, что ей дается это без малейшего напряжения. В конце концов мне всегда удавалось догнать ее, но в душе я понимал, что Эстер бегает, как рыба плавает или птица летает, что бег — родная ее стихия!

— А откуда шрам? — продолжала свои расспросы Виола.

— Падали мы тогда несчетное количество раз. Помнится, однажды в Бадачоне свалились со скалистого обрыва. Тогда на нас обоих живого места не осталось. Кажется, и шрам на колене — память о том падении.

Виола надела темные очки.

— Неужели правда, что Эстер бегала так красиво?

Неизвестно отчего он почувствовал накипающее раздражение. И резко оборвал разговор, скупо ответив:

— Очень красиво!

Это было несколько дней назад. И вот Виола бегает. Она пытается бежать так же красиво, как Эстер в детстве. Как вспухает кожа вокруг вонзенного осиного жала, так болезненно вспухало и раздувалось самолюбие этой женщины от малейшей похвалы, адресованной не ей: «Так вот почему она сейчас бегает, эта незадачливая дуреха! Ну что же, посмотрим, как у тебя это выходит!»

Разве могла она бегать как-либо иначе? Бездарно, фальшиво, стесняясь собственной неуклюжести и пытаясь скрыть свою прирожденную тяжеловесность. «Ну что же, давай побегаем!» — подумал он.

В этот момент в уме его вспыхнула искра жестокого замысла. Откуда она взялась, сама эта идея, и что побудило его придумывать все новые ходы в этой игре? Ему никогда не удавалось выразить свой замысел в точных словах. Но там, на горе, он решил только, что сейчас он примется гонять Виолу, как молодого пса, который стервенеет, захлебывается беспричинным лаем.

Он прицелился и запустил в Виолу каштаном.

— Не попал! Не попал! — ликующе запрыгала она по тропинке.

— Тогда верни мне каштан! У меня больше нет!

Виола секунду-другую поискала в траве, после чего принесла ему каштан.

На этот раз Дёрдь заставил ее пробежаться к кусту, чуть подальше, и неожиданно запустил в нее блестящим, коричневым твердым снарядом.

— Опять не попал! — воскликнула Виола.

— Да, что-то неловок я...— пробормотал Дёрдь.

А когда Виола вернулась, удивленно вскинул брови:

— Где же каштан?

Виола побежала за каштаном.

«Не рискованно ли повторить этот трюк еще раз?» — мысленно прикинул Дёрдь. Пройдя два-три десятка шагов, он все же повторил свой номер. Высоко поднял руку с зажатым в кулаке каштаном и несколько раз взмахнул, делая вид, будто собирается бросить.

— Лови! — крикнул он наконец.

И каштан полетел. Виола припустилась за ним. Она бежала так усердно, словно хотела посрамить как бы незримо присутствующую покойную Эстер. Повернув обратно и тяжело переводя дыхание, она тем не менее торжествующе улыбнулась Дёрдю.

— Молодец! — похвалил ее мужчина, потрепал по щеке, погладил волосы.

Он заполучил в свои руки тайну. И тайна эта была столь реальной, столь живо ощутимой, как если бы он держал в руках многозарядный пистолет.

Ну, а каков будет следующий номер? Необходимо быть осторожным — это он знал отлично. Виола исподтишка непрестанно следит за ним; она по натуре мнительна, и в этой своей подозрительности обидчива; каждый шаг с его стороны должен быть тщательно продуман. Но нетерпение подстегивало его.

И все же на этот раз он сумел выждать— почти целую неделю. Он придирчиво перебирал в уме самые разные замыслы и необходимые для их осуществления атрибуты и наконец остановил свой выбор на идее, связанной с Моцартом. Этот замысел он отрабатывал долгими часами, зачищал, отсекал лишние побеги. Он расскажет Виоле сон. Поначалу он намеревался ввести в тот вымышленный сон и Зальцбург: вытянутый, узкий дом Моцарта на Гетрайдегассе и ту комнатку на четвером этаже, где стоял спинет композитора. Но скоро он отказался от нагромождения деталей, упростив замысел.

Однажды утром он сказал Виоле:

— Сегодня я видел тебя во сне. Ты насвистывала Моцарта.

С этой фразой он вышел из ванной, плотнее запахнул полы толстого махрового халата, вытянулся в одном из кресел, уставясь перед собою незрячим взором, точно все еще был погружен в картины недавнего сна.

— Ты была удивительно красивая. И насвистывала арию Керубино. Я сразу ее узнал.

Виола молчала.

— Этот сон приснился мне на рассвете... Собственно, тут я и проснулся; взглянул на часы, было без четверти пять.

Он выдержал паузу и продолжил:

— Я открыл глаза, прислушался. Но было тихо. Дверь в твою комнату плотно закрыта, а кроме того, с вечера мы задернули и гардины. И все же мелодия лилась оттуда, из твоей комнаты. Явственно слышался каждый звук. И лицо твое я видел, как наяву: оно приближалось, склонилось надо мной, замерло, затем растаяло дымкой.

Виола еще лежала в постели. Но тут она оживилась, приподнялась на локте.

— В котором часу тебе послышалось?

— Без четверти пять.

Виола улыбнулась в ответ. Улыбка была незаметной, будто прибавилась лишняя складка на помятом во сне лице.

— Тебе не приснилось! — уронила она со снисходительной нежностью в голосе.— Я действительно насвистывала арию!

— Ты?!..

Дёрдь был поражен неожиданным поворотом событий. Ложь Виолы глупа, беззастенчива и все же поразительна. Он ожидал иного продолжения игры. Куда, собственно, гнет Виола? Надо быть начеку, уж не разыгрывает ли она его, в свою очередь.

— Я тоже проснулась на рассвете...— начала свой рассказ женщина.— Долго не могла уснуть. И вдруг неожиданно для себя услышала, что я насвистываю потихоньку. Сначала «Чаконну» Баха. Потом Моцарта, арию Керубино. Я насвистела всю мелодию, от начала до конца. Очень жаль, что разбудила тебя.

Нет, Виола его не разыграла. Виола лгала экспромтом, на лету подхватывая его ложь и тотчас вживаясь в нее.

— Я же сказал, что ты не будила меня! — И Дёрдь шутливо щелкнул ее в самый кончик носа.— Я спал и видел тебя во сне!

Женщина ответила невольной гримасой на его щелчок, жест, по ее мнению, грубый и непочтительный; однако не обиделась.

— Не надо так заигрывать со мной! — отозвалась она.— Мне больше по душе игра легкого ветра со струйкой дыма!

Здесь Виола несколько сбилась было с роли, но сумела вовремя свернуть в прежнее русло. Она снова заговорила о сне, возвратилась к прерванной теме:

— Я тоже великолепно помню, что вечером мы задернули гардину на двери. Оттого-то я и насвистывала так смело. Думала, ты не услышишь.

Дёрдю пора было уходить на работу, он не мог продолжить игру.

Но ее продолжила Виола; в точности так, как представлял себе Дёрдь. Он мог поздравить себя: прямое попадание. В тот же вечер Дёрдь услышал, как женщина мурлычет что-то себе под нос; Виола переодевала чулки и поначалу тихонько, а затем все громче и настойчивее напевала прелюдию до-диез-минор Шопена.

Сходным образом набухают и делятся раковые клетки. Назавтра Виола перелистывала страницы какой-то книги и как бы рассеянно насвистывала. Затем она прошлась по комнате, и вместе с нею струйкой сигаретного дыма поплыла какая-то мелодия. Неделя сменялась неделей, а Виолу не отпускало наваждение: привстав на цыпочки, изо всех сил тянулась она к нежному свету сновидений и музыки.

Радовался ли он тогда успеху затеянной им игры? Или его терзали угрызения совести?

Нет, он испытывал лишь искрометное счастье удачливого экспериментатора.

Радость его была сродни радости хирурга, вскрывающего затаившуюся опухоль.

Как-то раз — без всяких околичностей и вступлений — Дёрдь взял Виолу за запястье, сел рядом с нею.

— Ты ведь никогда не лжешь, верно? — спросил он.

Они расположились в том же самом кресле, что и в ту первую их ночь, у горящей печки.

Брови Виолы при этом вопросе вздернулись кверху,

как два французских accent circonflexe, резкими черточками проступили над глазами, отчего самый взгляд ее сделался глубже и темнее. Она молчала, заподозрив неладное.

Пальцы Дёрдя отыскали пульс на руке женщины, и он заговорил, как бы вторя бурным толчкам крови:

— Ты правдива, как зеркало, не так ли? Ты не в силах покривить душою, даже если бы очень того хотела? — Глубоко втянув воздух, он продолжил: — Порой я чувствую: ты вся пронизана чистотой! Ты светишься, как кристалл. Скажи мне, я прав?

— К чему ты говоришь все это? — холодно взглянула на него Виола.

— Да ни к чему...— Мужчина пытался теперь загасить искорки подозрительности, вспыхнувшие было в ее взгляде.— Уверяю тебя, вырвалось просто так. Ведь человеку иной раз необходимо выговориться. Все равно как прижать к сердцу то, что нам дорого.

«Осторожно, твои слова звучат фальшиво,— одернул себя мужчина.— Ты сбиваешься на пошлость».

Он взял более простой тон:

— Иногда я прислушиваюсь к тебе и удивляюсь: как ты правдива! По голосу твоему, по теплу и свету, которые ты излучаешь, я чувствую: ты никогда не лгала!

И тут губы Виолы сложились в улыбку; она улыбалась снисходительно, по-матерински.

— Никогда, дорогой мой!.. Никогда!..

Дёрдя захлестнуло удовлетворение. Он ждал этого, именно этого: улыбки превосходства, материнского снисхождения. Ждал этой интонации и этих слов, ждал момента, когда сольются и зазвучат лживый смысл и лживый тон: «Никогда, дорогой мой, никогда!» Он достаточно глубоко изучил характер Виолы, чтобы предугадать заранее ее ответы. Он жил рядом с этим существом, как математик живет средь формул и алгебраических выводов, зная наперед конечный результат. Как астроном — проверяя ранее вычерченные орбиты звезд. С не меньшим тщанием готовил он кульминационные моменты этой игры, так иной поэт шлифует строки своего сонета.

Молодость подчас бывает безжалостна, а Дёрдь тогда был жадно молод. Одним духом вливал он в себя лживые ответы Виолы, как большой стакан, в края наполненный крепчайшей палинкой.

«Так, значит, тебе не нравится, когда я щелкаю тебя

по кончику носа? — раскидывал он новые силки.— Отлично. Я ведь сумею играть с тобой, как ветерок со струйкой дыма. При этом и пальцем до тебя не дотронусь».

С удручающей четкостью запоминал он слова Виолы, вот и это жеманное — «ветерок со струйкой дыма» — тоже глубоко втравилось в память.

Как-то раз они были в гостях; молодая шумная компания танцующих, гогочущих гусей и гусынь им под стать попеременно глотала сигаретный дым, кофе и крепкие напитки, утопая в недвусмысленных сальностях мужчин.

Дёрдь пробрался к книжным полкам хозяина, вытащил первую попавшуюся книгу по искусству и уединился в уголок.

А чем занимала себя Виола?

Даже буйное веселье компании ее не увлекало.

В танце она держалась скованно. Так же скованно молчала. Безучастно пила, как будто перед каждой такой вечеринкой ей делали анестезирующий укол.

Перед уходом, прощаясь с хозяевами, Дёрдь попросил на время облюбованную им книгу по искусству. Дома и Виола полистала книгу, разглядывая скульптуры Донателло.

— Зачем тебе понадобилась эта книга?

— Мне хотелось кое-что показать тебе. Смотри...

Дёрдь отыскал иллюстрацию, которую присмотрел заранее. Терракотовый бюст святого Лаврентия из часовни Сан-Лоренцо во Флоренции; умное и дерзновенное юношеское лицо.

— И что в ней особенного, в этой скульптуре?

— Разве ты не видишь?

— Что именно я должна видеть?

Достаточно было подтолкнуть ее одной фразой:

— Вы удивительно похожи, святой Лаврентий и ты!

Виола вгляделась пристальнее.

— Да какое там «похожи»! — горячо продолжал Дёрдь. — Это вылитая ты! Видишь теперь? Твой лоб! И твой подбородок! Но самое поразительное — та же самая посадка головы! Точно так же вскинут подбородок, тот же взгляд, устремленный поверх людей, и та же распахнутость души во взоре. Неужели ты даже сейчас не видишь сходства? Ведь это же твой портрет!

Все эти тирады сводились к одному: обратить внимание Виолы на посадку головы. Он знал, что отныне Виола будет ходить, выворачивая шею, с неестественно вздернутой кверху головой, так и пойдет дальше по жизни среди

знакомых и среди чужих. Так станет держать себя и с ним. Но при этом она будет испытывать мучения. Скульптурная посадка головы была простой, но утомительной позой.

Теперь Виола разглядывала скульптуру, явно прикидывая, удастся ли ее скопировать.

— Значит, я — такая?

— В точности такая.

— Странно... Приходится заново узнавать самое себя...

После в их жизни была одна памятная ночь, ночь пресыщения.

Виола лежала рядом с ним под одним одеялом, Дёрдь судорожно сжимал в объятиях ее тело. Он больше не жаждал изобретать мучения, расставлять западни, которые это глупое тело бессильно было распознать. Ему хотелось бы задушить эту женщину, но он жадно приник к ней. Объятия его были страстны.

Слова вырывались бездумно:

— Я люблю тебя за то, что ты прекрасна и проста, как стихия! Как буря или пламя.

Он ждал, отзовется ли Виола.

Женщина молчала.

Тогда он припал к ее груди.

— Ты — точно дивный плод. Я жажду вкусить тебя. Ты соткана из света, прохлады и тепла, и плоть твоя напоена соками жизни!

Той ночью все, что он говорил, не было игрою. Дёрдь не готовился к ней заранее, не обдумывал ходов. Просто дал волю словам, самым жгучим и сильным, чтобы смыть скопившийся за три года осадок каждодневной лжи, осадок, забивший гортань, и горло, и самый его рассудок.

— Приятно припасть к тебе, как к горячему прибрежному песку. Ты заставляешь меня забывать обо всем на свете!

Он не позволил женщине прервать этот лихорадочный поток. Жаркой ладонью решительно закрыл ей рот.

— Ты приходишь, как нечто извечное, без начала и конца! Суть твоя пронизывает насквозь и очищает меня. Кажется, что каждая моя косточка тобою омыта, как ключевой струей! Ты источаешь благоухание! Откуда они берутся, эти ароматы? Я опьянен тобою!

И действительно, он был опьянен какою-то неведомой дотоле, острой и жгучей болью.

— Ты естественна и неподдельна, как вода! Какое наслаждение уйти в твою стихию, захлебнуться ею. Уйти от звуков, от красок. В твоих глубинах затаилось нечто зеленое и безмолвное. Ах, пусть эта бездна поглотит меня!

И он сам тонул в потоке бредовых слов:

— О Виола, как легко с тобою! Хорошо с тобою говорить и молчать, отдыхать и предаваться страсти! Не оставляй меня! Слышишь, прошу, не оставляй меня!

— Не оставлю! — изрекла в ответ Виола.— Не думаю, чтобы я могла оставить тебя.

Как только Дёрдь услышал этот голос — ее непередаваемо бесцветный, вялый, кислый голос,— его вдруг замутило. Дёрдь бросился в ванную, и совершенно неожиданно его стошнило. Сначала он подумал, что и это входит в правила игры: чересчур хорошо удалась импровизация. Но спазмы усиливались раз от разу: судорожно, обливаясь жарким потом, он исторгал скопившуюся нечисть и не мог остановиться.

Застарелая отрава хлестала наружу.

КРАЖИ

Но прежде чем им расстаться окончательно, Виола, как оказалось, приберегла для него еще один сюрприз.

Сейчас — подле мертвой Виолы — он в состоянии был без раздражения и осуждения восстановить в памяти тот день. Тогда же...

Впрочем, и тогда это не явилось для него неожиданным ударом.

Портсигар лежал на круглом столике в комнате Виолы, поверх безвкусной парчовой салфетки, рядом с книгой-сонником на немецком. Он одинаково не выносил и эту негнущуюся, как металлическая пластинка, парчу, и путаные, кабалистические толкования снов.

— Чей это? — рассеянно спросил он.

И взял со столика плоский дамский портсигар.

— Мой, — ответила Виола.

— Никогда не видел его у тебя.

— Говорю: мой! — повторила она упрямо.

Дёрдь положил портсигар на парчовую салфетку.

— Какая у тебя температура?

— Тридцать семь и пять.

Женщина лежала одетая под пледом из верблюжьей шерсти.

Дёрдь знал истинную причину ее страданий: воспаление желчных протоков; но Виола никогда не признавалась в этом. Заболевание желчных протоков она скрывала, будто постыдную заразу. Симптомами несуществующих, вымышленных ею болезней она приводила в отчаяние и своего врача, и Дёрдя.

— Ты купила портсигар? — снова перевел он разговор.

Вопрос был задан с одной целью: чтобы опередить поток жалоб на загадочную болезнь.

— Получила в подарок.

— От кого?

— От тети Ханны.

— Теперь?

— Очень давно,— прозвучал невозмутимый ответ.

Потом Виола сочла нужным добавить:

— Тогда еще мы не были с тобой знакомы.

— Выходит, в детстве тебе дарили портсигары?

Виола промолчала.

Дёрдь снова потянулся за портсигаром, опередив Виолу.

— Да он золотой!..— изумился Дёрдь.

Портсигар был искусной работы и тяжелый.

— Это не золото! — Виола упрямо тянула руку за папиросницей.

— Чистое золото! — повторил Дёрдь; он переложил портсигар из руки в руку, прикидывая вес.

Виола, приподнявшись с кушетки, взяла из рук мужа портсигар и спрятала в сумочку, которая лежала у нее в ногах.

— Это подарок от тети — к моему совершеннолетию...— Она поуютнее устроилась под пледом.— Возможно, что и золотой.

Разговор их постепенно обретал напряженность.

— И ты не знала даже, что он золотой? — Дёрдь испытующе смотрел на нее.

— Меня это не интересовало...— подчеркнуто скучающим тоном ответила Виола.

Оба помолчали, выдерживая паузу.

— Почему ты спрятала? — тихо спросил Дёрдь.

— Что я спрятала?

— Портсигар.
— Просто убрала на место! — сказала Виола.
И добавила:
— Не люблю оставлять его на виду. Слишком уж он броский.
— Что в нем такого уж броского?
— А разве нет? Вот и ты, как увидел, только о нем и говоришь.
— Дай-ка сюда!
— Что, портсигар?
— Дай сию минуту!
Виола молча протянула ему черную кожаную сумочку. Дёрдь выудил из сумки портсигар, открыл его.
— «Пири»,— прочел он надпись, выгравированную на крышке с внутренней стороны.
Ниже имени стояла дата минувшего рождества.
Виола по-прежнему молчала.
— Откуда у тебя этот портсигар? — спросил Дёрдь.
— Я получила его от Пири, в подарок.
— Пири Манёки?
— Да, от нее.
— Тогда зачем было сначала говорить, будто портсигар получен от тети Ханны?
— Мне казалось, ты рассердишься, если узнаешь, что я приняла подарок от Пири.
Оба молча в упор смотрели друг на друга.
— За что ты получила от Пири золотой портсигар?
— Я оказала ей большую услугу.
— Какую услугу?
— Я не обязана отвечать на подобные вопросы!
Он не хотел, но помимо воли голос его хлестнул резко:
— Ты обязана ответить!
— Это не моя тайна, дело касается Пири!
— Значит, ты отказываешься говорить?
— Не имею права.
Дёрдь поднялся, подошел к зеркальному шкафу, прислонился к нему. Теперь почти вся картина была ясна.
— Ты украла этот портсигар! — сказал он спокойно.
Женщина смотрела в потолок и молчала.
— Ты украла его! — повторил он громче.
— Ты так уверен?
Нет! Он вовсе не был бы так уверен, если бы две-три недели назад не позвонила сама Пири Манёки. Виола тогда отлучилась в город, и Дёрдь подошел к телефону.

— Скажите, Дёрдь, я, случайно, не оставила у вас свой портсигар?
— Понятия не имею.
— Спросите, пожалуйста, у Виолы.
— Обязательно спрошу.
— Хотя нет... Не думаю!.. После того как мы были у вас, портсигар попадался мне!
— Какой он с виду, этот ваш портсигар, Пири?
— Ох, Дёрдь, для меня это ужасная неприятность... На прошлое рождество Петер подарил мне золотой портсигар. И вот сейчас он вдруг пропал!
— Вы как следует искали?
— Я все перевернула вверх дном... Дома его точно нет! И теперь я обзваниваю всех знакомых, но портсигара никто и в глаза не видал. Петер убьет меня!
Примерно таково было содержание их разговора. Пири Манёки — неприятная, злая женщина с визгливым голосом — считалась близкой приятельницей Виолы. У Дёрдя при одном упоминании ее имени мурашки ползли по спине. К тому времени, как Виола вернулась из города, Дёрдь успел позабыть о случайном телефонном разговоре.
Но сейчас он вспомнил. И в этот момент не мог избавиться от иллюзии, будто телефонная трубка прижата к его уху: настолько явственно слышал он каждое слово того разговора.
Так он узнал еще один скрытый порок Виолы.
Но мог бы узнать и другим путем.
Так бывает в кошмарном сне: настойчиво карабкаешься вверх по приставной лестнице, которая не ведет никуда. Однако замечаешь это лишь случайно, оглянувшись назад,— и в этот момент вдруг сразу начинает кружиться голова...

Из кино они вышли в темный переулок, где-то в центре города.
— Зайдем к Криштофу! — неожиданно предложил Дёрдь.
— Нет! — заупрямилась Виола.
— Не дурачься! Мне обязательно надо поговорить с Криштофом. Но я обещаю, что через полчаса мы уйдем.
— А я не пойду! — упорствовала Виола.
Тогда Дёрдь взял ее под руку и увлек за собой.
Когда он собирался нажать кнопку звонка, Виола протянула ему сумочку.

— Положи к себе в портфель!

Он удивленно вскинул глаза — зачем?

— У Гизи сумочка с точно такой же перламутровой инкрустацией. Она может подумать, что я позаимствовала у нее фасон.

Новую изящную сумочку Виолы из дорогой темно-красной кожи украшала оправленная в серебро сверкающая перламутровая пластинка с узором из цветов.

Теперь-то он знал, что Виола «позаимствовала» не фасон, а самое сумочку.

А что, если бы Виола забыла тогда спрятать сумочку... если бы у него не оказалось при себе портфеля... если бы они так и вошли...

Но этого не случилось, Дёрдь спрятал к себе в портфель нарядную сумку, которую украла Виола. И пока они сидели у Криштофа, Виола раз даже попросила у него портфель, открыла и, не вынимая сумочки, достала оттуда носовой платок.

Тогда он еще ни о чем не догадывался и ничего не заподозрил.

Более того, он, по сути, подыгрывал тогда Виоле.

Дёрдь по-прежнему стоял, прислонясь к зеркальному шкафу.

— Говори, что еще ты украла?

Виола не шелохнулась, в лице не убавилось спеси.

— Ничего я не украла! Я не воровка!

Дёрдь шагнул к ней с решительным видом, готовый ударить ее. Но только схватил ее за запястье и сжал с силой.

— Ты и есть самая обыкновенная воровка!

Он рванул ее за руку, заставил встать с кушетки.

— Собери все, что наворовала!

Виола стояла, не двигаясь с места.

Тот день ему вовеки не забыть.

Он открывал шкафы, выдвигал ящики, бегал из комнаты в комнату, распахивая двери настежь. Только сейчас он впервые увидел во всем изобилии накопленное Виолой, утонул в необъятных глубинах битком набитых платяных шкафов.

«Недешево же ты мне обходилась!» — думал Дёрдь. Он с отвращением вываливал на пол охапки барахла, пнул ногой в шпалеры туфель, перевернул баночки с кремами. Заглянул в бювар Виолы, порвал старые письма. Начал

было перелистывать страницы какой-то книги, сам не понимая, зачем он это делает.

Дамское белье в шкафах громоздилось привычными, бессмысленно ровными стопками; он сунул руку под низ, заглянул, не спрятано ли чего за бельем. Вытащил весь ворох тряпья, затем, превозмогая отвращение, затолкал обратно.

Виола по-прежнему стояла столбом посреди комнаты; она молча следила за ним.

Наконец он отложил в сторону следующие предметы: золотой лорнет, небольшую серебряную шкатулку, два шарфа, фарфорового слоника, какой-то старинный амулет — эти вещи она, без сомнения, украла.

Да, украла!

Воровала она с поразительной небрежностью, оставляя на виду украденное; ее в любой момент могли поймать с поличным.

Зачем она воровала?

Просто хотела иметь вещь, которая ей понравилась. Крала она с такою же легкостью, как и лгала. Воровала потому, что ее не тяготили воспоминания. Воровала потому, что не сознавала своей вины. Воровала потому, что у нее было пониженное давление.

— И это я тоже украла,— нарушила наконец молчание Виола.

С этими словами она извлекла из коробочки золотую монету с изображением Марии-Терезии. Эту старинную монету Дёрдь получил в подарок от своего крестного отца, когда ему исполнилось шесть лет.

Дёрдь взглянул на монету.

— Это я подарил тебе.

Женщина зло улыбнулась.

— О да, конечно же... ты подарил. Прости, я забыла...

И снова улыбнулась; на известково-белом лице ее проступил румянец. Ей казалось, что она одержала верх.

ЗАПАХ

Переговоры о разводе Дёрдь вел с мамашей Эмми.

— Никак не могу согласиться, сынок!

— Придется согласиться, милая мама.

Вопрос о выплате содержания Виоле обсуждался с Тони и Руди, братьями-альбиносами.

— Твой долг — достойным образом позаботиться о Йолан.

— Я позабочусь о ней.

О спасении души, об ответственности за ближнего и всепрощении с Дёрдем беседовал его преподобие, друг семьи дядя Карой.

— Сейте добро и добро пожнете. Ты чувствуешь себя безгрешным, сын мой?

— Нет.

— Известно ли тебе, что грешен не содеявший прегрешение, но тот, кто бросает тень на ближнего своего?

— Да, мне известно это.

К тому времени они с Виолой жили порознь. Дёрдь снял комнату в пансионе недалеко от центра города.

На четвертой неделе их раздельной жизни Виола наведалась к нему...

Женщина была одета в черное платье, щеки не тронуты румянами; скованной походкой она подошла к нему и чмокнула Дёрдя в щеку, резко, будто разбила яйцо.

— Садись! — предложил Дёрдь.

— Сейчас ты, наверное, уже не сердишься на меня...— начала Виола.— Поэтому я и пришла к тебе...

— Садись! — повторил мужчина.

Сам Дёрдь тоже сел; погрузившсь в кресло, он откинул голову, закрыл глаза. Не хотелось видеть этот призрак прошлого.

Долгое время оба молчали.

— Портсигар я отправила Пири по почте. А отправителя не указала.

Дёрдь никак не отозвался.

— Ты все еще сердишься?

Пришлось и ему заговорить, больше нельзя было отмалчиваться:

— Ты искренне думаешь, что из-за портсигара?..

Он запнулся.

— Или из-за щенка чау-чау?

Он вгляделся в немигающие зрачки Виолы.

— Или из-за аквамарина?.. Или из-за твоей скрипичной игры?.. Из-за желчных протоков?.. Или, может, из-за Лохматки?..

— А что я такого сделала Лохматке?

— Пнула его ногой.

— Ну хорошо, продолжай!

— Стало быть, ты решила, что я развожусь с тобой из-за мелкого воровства или же из-за твоей лживости?

Он заставил себя улыбнуться.

— Или из-за моей собственной неискренности?

Виола настороженно ждала, не шелохнувшись.

— Нет, моя дорогая. Не из-за этого!

Он резко наклонился вперед, заговорил, как одержимый:

— Вспомни про Гулливера, вспомни, что он заталкивал себе в нос перед встречей с женой, когда возвратился домой из путешествия!

— Что ты хочешь этим сказать? — подозрительно спросила Виола.

— А ты должна бы помнить! Как-то раз я читал тебе вслух всю главу, четвертое путешествие Гулливера.

— Не помню!

— Четвертое путешествие в Страну гуигнгнмов, или благородных лошадей.

— Какое это имеет ко мне отношение?

— Когда Гулливер возвратился домой, он не выносил даже присутствия своей жены! Он терпеть не мог, когда жена прикасалась к хлебу, который он ел; он отучил ее говорить вслух и запретил ей приближаться к нему. И когда он однажды все же сел за один стол с нею обедать... Ну, вспомни, что он тогда затолкал себе в нос? Напряги свою память!

Виола молчала.

— Лаванду и табак!

Дёрдь выдержал паузу и повторил:

— Да, лаванду и табак! Чтобы заглушить ее запах! Теперь ты вспомнила?

Дёрдь сразу почувствовал себя счастливым: все позади, он высказал ей правду.

— Ну, теперь тебе понятно, дорогая? Дело в том, что я не выношу даже твоего запаха. Поэтому мы и разводимся!

Виола поднялась и ушла прочь.

Тогда он испытал чувство, близкое к жалости.

И вот сейчас та, прежняя, волна жалости вновь затопила его в темноте, на ощупь он, как бы в знак примирения, погладил тело Виолы. Остывающее, оцепенелое, мертвое тело.

Но тот их разговор оказался не последним. Месяца через полтора он получил письмо от Виолы. Письмо было коротким; Виола сообщала ему, что она беременна.

Настала его очередь нанести визит ей...

— У меня будет ребенок! — сказала Виола.

Держалась она спокойно и сдержанно.

— Ребенок? — переспросил он, пораженный.

— Можешь разводиться, если хочешь, а у меня будет ребенок! Он останется! Ребенок останется вместо тебя!

— Чей ребенок?

— Твой.

Тут он снова почувствовал к ней жалость. Разве поможет Виоле эта ее навязчивость? И эта лживость? И ее слепая настырность?

— Почему ты раньше ни словом не обмолвилась о ребенке?

— Могла ли я говорить, когда ты устроил эту комедию с разводом?

Виола была в своей стихии: слащаво-сентиментальна и хитроумно-расчетлива.

— Повтори-ка еще раз, чей это ребенок?

— Наш.

Несколько дней они сражались.

Вся эта игра была задумана ею как драма о великой ответственности. Как последний силок для него.

Как проволочка, за которую кукольник дергает непослушную марионетку.

Но Виола к этому времени уже привыкла раздеваться в чужих постелях. Поэтому они быстро пришли к соглашению. Порешили на том, что он оплатит мифический санаторный счет. Так ему удалось от нее избавиться.

Сейчас ему вспомнилось, как примерно через полгода после бракоразводного процесса он опять получил весточку от Виолы. Гостиница, расположенная в окрестностях города Печ, представила счет, включив в расходы за двое суток стоимость двухместного номера и обильное угощение в ресторане.

На счете было проставлено имя Дёрдя.

Тогда ему снова пришлось встречаться с Виолой.

— Избавь меня от этого! — сказал он спокойно.

— А в чем дело?

— Не пересылайте мне счетов!

Лицо Виолы казалось известковым и еще более бесстрастным, чем в годы их супружества.

— Счет был отправлен по ошибке.

— И все-таки больше не делай этого!

— Чего именно?

— Не прикрывайся моим именем в таких ситуациях!

— О, твоим именем!..

Дёрдю стало неловко, он чуть ли не смущенно махнул рукой.

— Ты права. Не так уж важно это... Да, собственно, я не за тем и пришел. Я хотел бы предостеречь тебя...

— Насчет чего?

— Или, вернее, попросить...

— Не понимаю, куда ты клонишь.

— Побереги себя!

На сей раз маска Виолы растаяла. Кожа, плоть, кости под этой маской засветились удовлетворением и торжеством.

— Я не обязана отчитываться, я совершенно свободна! Ты сам добивался этого!..

— Никто не свободен всецело.

— А я свободна!..

В тот момент Дёрдь впервые почувствовал ответственность за Виолу. Он первым обнял эту женщину, он первый обладал ее нетронутым телом.

— Виола, милая,— начал он с нежностью и тревогой за нее,— поверь мне, свобода — это совсем иное чувство, иное понятие!

— Чего ты опять хочешь от меня?

— Помнишь газелей?

— Каких еще газелей?

— Было время, когда я пытался развить твои чувства, добиться нашей духовной близости; тогда я много читал тебе... Помнишь французского летчика, который приручал газелей? Помнишь его книгу?

— Как звали того летчика?

— Сейчас не важно, как его звали... Ты слушаешь меня, Виола?

— Слушаю.

— Летчик держал пойманных молодых газелей в загоне с решетчатой загородкой, потому что им необходимо много воздуха. Но животные все равно гибли. Тогда лет-

чик поместил газелей под открытым небом, только самый участок обнес колючей проволокой. Он думал, что теперь животные приживутся. Но настал день, когда газели уперлись своими пробивающимися рожками в проволочную загородку и застыли так, оборотившись к просторам саванны. Газели стояли часами и отказывались от пищи. Хозяин пробовал отогнать их от загородки. Животные пробежали несколько кругов и снова выстроились у проволочной решетки. Так и остались они стоять там бок о бок, упершись рогами в загородку, с одинаково опущенными головами и стояли недвижно, пока не погибли все до единой.

— Ну а я тут при чем?

— Это и есть свобода! Именно это чувство! Ты помнишь Эстер?

— Твою сестру, что ли?

— Да.

— Ну, а сейчас в связи с чем ты опять предлагаешь мне вспомнить о ней?

— Вот и Эстер точно так же необходимы были простор, свобода, и воздух, и ветер, как газелям того французского летчика.

Виола, будто пьяная, тщилась понять его слова:

— Ну и что?

— Тебе не ясно? Подлинная свобода — это такое чувство, когда в душе ты — ветру сестра! Когда ты живешь раскованно, словно паришь на ветру, и ловишь его порывы, и вместе с ним умираешь!

Лицо Виолы теперь обрело желтоватый оттенок, и неожиданно она счастливо рассмеялась.

— Слушай, Дёрдь, надоели мне твои бесконечные россказни. Все эти газели и Эстер. Все надоело...

Мужчина встал.

Отныне он уже не чувствовал себя ответственным за судьбу этой женщины.

ИГРА В ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ

Почему она воровала? Для чего понадобились ей портсигар, старинный амулет, сумочка с перламутровой инкрустацией? Ни одной клеточкой своего существа не жаждала она заполучить эти вещи. Золото и драгоценности она никогда не умела носить так, чтобы украшения заиграли;

от таких бодрящих средств, как кофе и никотин, она лишь бледнела и покрывалась испариной, точно так же не нужен ей был и амулет, поскольку она не ведала чувства страха, не отличалась суеверием и не была верующей. Эти чувства заменяли Виоле лунатическая самоуверенность и довольство собой; о да, новые наряды она любила, но даже самое красивое платье сидело на ней, как чужое, не оживляя ее и не сливаясь с линиями ее тела; так удручающе выглядит холодная фарфоровая кукла, разряженная в пестрые одеяния.

Так зачем она воровала?

И зачем стремилась привлечь к себе мужчин? Все больше, с какой-то неразборчивой жадностью.

Да затем, что ей была доступна лишь одна-единственная страсть: чувство собственности. Унылое обладание беспорядочно накапливающейся грудой собственности, обладание, удушающее своей безрадостностью. Неужели известь, отлагаясь в организме человека, способна обволакивать даже мускулы и железы внутренней секреции? Так на порыв страсти Виола отвечала напряженной скованностью мускулов и вялой реакцией обызвествленных желез. Равно бесстрастно готова была она поглощать любовные утехи и лечебный чай без чувства, без радости и не поморщившись.

Изредка они встречались. Виола звонила ему, и тогда они обедали где-либо в городе, или же, получив от нее письмо, Дёрдь заходил к ней на чашку чая. Причиной встречи всегда служило одно и то же: Виоле нужны были деньги сверх выплачиваемого им пособия.

Однажды, правда, им выпал случай встретиться в компании. На квартире у толстяка актера, приятеля Шебешфи...

Просторная комната была заполнена до отказа сигаретным дымом, винными парами и голосами подвыпивших людей. Ближе к полуночи затеяли игру в гласные звуки.

Роли распределял хозяин дома, актер.

Какой-то молодой брюнет получил звук А. После него сразу же назвали Виолу, ей предлагали звук Э. Виола покачала головой, отказываясь.

— Главная роль! — заманивал ее актер.

При словах «главная роль» вся компания дружно грохнула. Но Виола не поддалась на уговоры и наотрез отказалась от участия в игре.

Тогда какая-то блондинка сама вызвалась исполнить эту роль. Блондинку наградили аплодисментами.

— Звук «У» я беру себе! — громогласно объявил толстый актер.

И снова дружные аплодисменты всей компании. Еще двое мужчин получили гласные «И», «Ю», а две женщины разделили между собою «Е» и «О». В будущей игре это были второстепенные действующие лица.

По правилам игры каждый из участников мог произносить только свой гласный — и ни звуком больше! Но зато с единственным этим звуком разрешалось проделывать что угодно: можно было петь его, менять оттенки звука, разнообразить интонации и дополнять роль жестикуляцией и мимикой, и позой, и игрою глаз.

— Я лично по ходу действия буду даже плеваться! — похвастал актер.

— Здорово придумано! — хохотнула подвыпившая компания.— Плюй, сколько душе угодно.

Кто-то поинтересовался:

— С какой сценки начнем?

— Что за вопрос! Конечно, с самой ходовой.

— А как она называется

— Ласка! — выкрикнул кто-то.

Уже само название было встречено бурными восторгами.

Дёрдь тогда еще не знал, что в этой компании Виола известна под кличкой Ласка. Или ласкательно — Ласочка. Прозвище пристало к ней после того, как они разошлись.

— Драма или комедия?

Долгое время шли препирательства, пока наконец не решили: пусть будет драма, но в то же время, чтобы было и над чем посмеяться.

— Ну, начинаем! — подал знак актер.

Зрители расположились на полу, на ковре, прихватив с собой бокалы с напитками. Посередине комнаты оставалась круглая, незанятая площадка; поставили стул и кушетку — и сцена была готова.

— У... у...— тяжелой походкой поплелся актер.

Он еле волочил ноги и хватался за сердце, давая понять, что сердце у него болит. Он устало огляделся по сторонам, опустился на кушетку; весь вид его говорил, что это человек очень старый.

Впорхнула блондинка.

— Э!..— ласково окликнула она актера.— Э, э!..— щебетала она не умолкая.

Она игриво кружила подле кушетки. Старик «У» молчал. Молодая женщина болтала, кокетливо вихляла бедрами; «У» долго смотрел на партнершу, потом плечи его отвердели, он начал медленно поднимать руки — даже неискушенному зрителю становилось ясно, что так постепенно в нем пробуждается страсть. Наконец он воскликнул:

— У!

И заключил в объятия блондинку.

Начался роман — любовь старого, больного «У» и юной «Э». Блондинка «Э» получала в подарок драгоценности, туалеты, рояль; была сценка — на рояле оба они играют в четыре руки. Но вот старик «У» отправился в город, чтобы раздобыть денег, а заодно и «омолодить» шевелюру. Малышка «Э» осталась в одиночестве.

Естественно, в этот момент на сцене появляется молодой, смазливый брюнет «А».

— А! — представился он.

— Э! — улыбнулась ему дамочка.

Брюнет «А» без долгих раздумий подхватил на руки томную «Э» и осыпал ее поцелуями; объятия его были так крепки, что у нее только кости захрустели.

Возвращается из города «У», брюнет прячется под кушетку. Старик «У» принес новые подарки, за что был вознагражден милостями «Э». Но юная блондинка вскоре сбегает под кушетку к красавцу брюнету; старый «У», оставшись в одиночестве, ложится на кушетку и засыпает. Коварная изменница «Э» и брюнет «А» целуются под кушеткой, при этом они неосторожно качнули ветхую мебелишку, и старик «У» свалился на пол. Жалобно охая, ощупывает он свои ушибы. Но тут он замечает под кушеткой молодого «А», в нем зарождаются подозрения, грозя кулаком, он пытается выгнать брюнета из-под кушетки. Неверная блондинка прячет убегающего «А» под стул, сама же вместе с «У« садится на стул. Следуют новые объятия над головой у прячущегося под стулом брюнета.

Так разыгрывался этот дешевый, непристойный фарс — объятья на кушетке, поцелуи под стулом, ссоры, примирения, погоня — с участием то двух, то трех лиц, расцвеченный экспромтами второстепенных персонажей.

Сентиментально-эротическая и кричаще пошлая комедия. Зрители по ходу действия подавали реплики и советы, одобряли и отпускали замечания; и конечно, все были пьяны.

Где-то в разгар представления Дёрдь понял, что речь идет о Виоле; Ласка — это ее прозвище. Это ее похождения смакуются сейчас с разнузданным весельем, от которого стынет кровь, и, пожалуй, мужчины, герои подлинных похождений, сидят здесь же, в кругу зрителей. А может, актер и брюнет играют самих себя. С чувством мучительной неловкости отыскал он глазами Виолу. У той было несколько обиженное и отчужденное выражение лица, она часто пила. Виола не смеялась, но и не выказывала возмущения. Просто сидела с привычно высокомерным, глупым, белым, как яичная скорлупа, лицом, всем своим видом показывая, что она вне этой игры.

Дёрдь долго смотрел на нее.

«Она права! — решил он наконец про себя.— Эта коварная, влюбчивая блондинка — не Виола. Виола никогда не умела так предаваться любви или какой бы то ни было другой страсти. Ее кожа не отзывалась ни на увлечения, ни на игры; ее можно было целовать, но мускулы ее не расслаблялись, она могла раздеваться донага и все же оставалась закованной в панцирь. Могла кататься по кушетке или под кушеткой, но ей не удавалось скатиться с вымышленного для себя пьедестала».

В этой грубой комедии речь шла о женском теле. О расцвете и гибели женского начала. Но именно тело Виолы было несокрушимо; это тело не знало наслаждений; потому и оставалась всегда Виола напыщенной и жалкой. Потому и была она сухой, лживой и глупой.

Не дожидаясь развязки комедии, Дёрдь поднялся и незаметно сбежал прочь от этой пьяно хохочущей, неистово орущей компании.

ТАЙНА

И опять те же самые люди!

Впрочем, пожалуй, имена у них другие, но распределение ролей сохранилось неизменным. До полуночи пьют, с полуночи развлекаются, перебравшись на ковер. В комнате накурено, голоса охрипли, все задыхаются от дыма. В половине первого ночи дом взбунтовался против них,

соседи справа и слева колотили в стены, потом зашел полицейский; в конце концов пришлось закрыть окно, выходящее на улицу.

Гулянка продолжается. А Виола меж тем лежит здесь, на цементе темного колодца, и он, Дёрдь, потрясенный случившимся, перебирает в памяти картины прошлого, стоит над мертвой, охраняет ее; остальная же компания наверху, в квартире Виолы, веселится, ничего не подозревая, может, и сейчас там играют в гласные звуки или какой-нибудь вариант той же пошлой игры.

Как же это случилось?

Три года минуло с той памятной ночи, когда разыгрывалась жалкая, непристойная комедия под названием «Ласка». За все это время он ни разу не встретился с Виолой. Говорить им больше было не о чем. Даже просьб у Виолы тоже не возникало. Жила она неведомо как; точно плыла тяжелыми, натужными взмахами, барахтаясь в невесомой пене,— по крайней мере, так представлялся ее образ жизни Дёрдю.

Вчера днем они случайно столкнулись на улице. Виола остановилась, Дёрдь — тоже; они обменялись несколькими фразами.

— Заходи ко мне сегодня вечером! — пригласила его Виола.— Соберутся друзья, посидим, поболтаем.

Когда они расстались, Дёрдь подумал:

— Почему бы и не зайти?

Отчего бы не взглянуть свежим глазом, способно ли время подобраться и подточить это яично-фарфоровое тело, которое упорно противилось любому чувству с твердостью каменного монолита.

В часы, когда подвыпившая компания засиживалась за полночь и когда голоса, перебиваемые взрывами хохота, тонули в винных парах, Виола неизменно бывала в дурном настроении. А впрочем, улыбалась ли она хоть когда-нибудь? Дёрдь считал, что он знает подлинную причину ее дурного настроения — ее «тайну» — опять (как и всегда) желчные протоки! Но где же в таком случае ее лечебный чай? — он огляделся по сторонам.

В эту минуту Виола поднялась и вышла из комнаты.

— Ага, пошла пить свой чай! — подумал Дёрдь.

Прошло, должно быть, около получаса, Виола не возвращалась, никто из гостей и не хватился ее.

Наконец Дёрдь решил посмотреть, что ее задержало, и тоже выскользнул за дверь, в соседней комнате было тем-

но, он наткнулся на какую-то обнимающуюся парочку; из темной комнаты перешел в холл, заглянул в ванную; там горел свет. Продолжая свои поиски, он осмотрел небольшую прихожую, а за нею — еще более крохотную кухоньку. Наконец повернул обратно в комнаты и через гостиную с окнами на улицу вышел на балкон. Виолы нигде не было. Он закурил сигарету, с улицы приятно пахнуло ночной прохладой, приятно было побыть в тишине и покое. Дёрдь перегнулся через перила и долго смотрел вниз, как в ущелье, на застывшую безлюдную узкую улочку.

Смутное беспокойство охватило его.

С балкона он опять прошел в ванную. Лампочки под потолком горели нещадно ярко. На стеклянной полке у зеркала выстроились в ряд всевозможные баночки, металлические тюбики, футляры, коробочки, головные щетки, расчески, пузырьки с жидкостями всех цветов — у Виолы всегда накапливалось косметики значительно больше, чем у любой женщины. «Все как прежде!» — подумал Дёрдь.

В настенном шкафчике лежали сложенные аккуратной стопкой полотенца — характерный для Виолы порядок. «Ничто не меняется. Все как прежде».

В ванной тянуло холодом. Дёрдь обернулся, чтобы закрыть распахнутое окошко. Тут и заметил он пододвинутый к окну стул, и ему вдруг показались подозрительными и этот стул, и неизвестно зачем распахнутое окно.

Почему он сразу подумал, что Виола встала на стул, шагнула через подоконник и рухнула в проем колодца? Этого он никогда не мог объяснить. Ни в тот момент, ни по прошествии лет.

Но он подумал именно это.

И думал так навязчиво, что картина вырисовывалась ясно и четко, вплоть до деталей. Не витала перед ним призрачным видением, фантасмагорией,— он ощущал реальную весомость этой картины. Дёрдь встал на стул и заглянул в глубь вентиляционного колодца, однако уже на уровне третьего этажа темнота оседала густой и непроницаемой массой, и пробивающаяся из ванной косая полоска света дрожала, словно на поверхности таинственно колышущейся водной глади.

«Спущусь вниз!» — решил Дёрдь.

Но прежде, чем выйти на лестницу, он снова заглянул к веселящейся компании; внимательно вгляделся в лица. Кто здесь тот мужчина, из-за которого Виола покончила

с собой? Но ему тут же стало ясно: такого мужчины нет ни в этой компании, ни вообще на свете. Для того чтобы пережить подобные чувства, надо как минимум обладать подлинными органами чувств. В одной из групп компании пила и громко хохотала молодая женщина, Дёрдь узнал в ней одаренную скрипачку, которой в этом году, одну за другой, присудили несколько премий. Уж не в этом ли причина?.. Нет и нет! Виола понятия не имела о том, что такое униженное, задетое самолюбие. Для этого она была слишком самоуверенна, к тому же не настолько уж она любила скрипку. Быть может, Виола чувствовала себя безнадежно одинокой и задыхалась от одиночества? Но ведь она и не испытывала потребности в близком человеке, для такого рода привязанности у нее также не было соответствующих органов восприятия.

Так почему же она это сделала?

Тайна оставалась неразгаданной.

«Бред!» — отмахнулся Дёрдь.— У меня навязчивая идея! Ничего не стоит ее развеять!..»

С этой мыслью он вышел на лестницу, ощупью спустился вниз и вызвал толстуху привратницу.

ВОДОВОРОТ

Наверное, не менее получаса простоял Дёрдь в темноте.

«Пора бы уж им и приехать» — подумал он.

Тут он снова достал коробок и зажег сразу три спички — вспыхнуло яркое пламя. Без малейшего страха шагнул он к мертвой женщине, протянул руку и резким рывком за волосы поднял уткнувшуюся в мусор голову. Взглянул в лицо Виолы.

Лицо ее было таким же застылым и неподвижным, как при жизни. Оно не дало ответа ни на один из его вопросов.

Дёрдь разжал руку, опустил безжизненную голову. И снова его окутала тьма, и не было объяснения тайне.

Одно казалось неоспоримым: это было активное действие.

Единственный активный поступок за всю жизнь Виолы. Да, в этом финале были и лаконизм, и весомость, и объемная глубина. Эта смерть — не слой крема, нанесенный на кожу.

Видимо, нам не дано постичь непостижимое. Дёрдь чувствовал: даже он мало что сумел понять в этой женщине, и уж никак не исчерпывало ее сути глупое прозвище Ласка. Помимо того, что мы видим и осязаем, помимо кожной оболочки и плоти, мы начисто лишены понимания той таинственной субстанции, что именуется человеком. Да и сами мы подчас бываем ничтожно малы. Подобно кусочкам пробкового дерева пляшем по поверхности, бессильные опуститься в глубину.

Дёрдь по-прежнему стоял на пороге колодца; полиции все не было.

Причудливо — и все же подчиняясь глубоким внутренним законам — возникали, переплетались, бежали его мысли. Вдруг Дёрдь увидел себя очень молодым, двадцатилетним. Он сидит в ярко освещенном огромном зале университетской лаборатории. Перед ним небольшой рабочий столик для химических опытов, на подставке разместились реактивы и пробирки. Прежде чем избрать юридическое поприще, Дёрдь готовился стать медиком. От будущих медиков требовалось знание химии, и вот в этой самой лаборатории для второкурсников проводились практические занятия по качественному и количественному анализу. Дёрдя химические опыты захватили как увлекательная игра; ведущий лабораторные занятия ассистент заметил его интерес, и Дёрдю стали доставаться наиболее трудные задания. В тот вечер ему предстояло определить составные элементы и вывести формулу неизвестного раствора. Он поочередно проделал пробы по пяти разрядам, но все эти пути завели его в тупик, результатов не было. Его сокурсники давно уже ушли, остались только он да ассистент. Решение никак не приходило. Ему удалось определить отдельные компоненты раствора, но формула вещества не прояснилась. Пожалуй, оставалось проделать еще один, завершающий, опыт, но тут по нелепой случайности запасы вещества иссякли. Раствор кончился! Хотя на каждую реакцию Дёрдь брал из пробирки лишь по капле, тем не менее раствора не хватило. Дальше он не мог продвинуться ни на шаг, все его действия оказались парализованы. С каким удовольствием смахнул бы он на цементный пол все эти пробирки и кривые расчетов, но от черепков ведь толку мало. Итак, проводить дальнейшее исследование было не на чем.

— Да, сегодня у вас не получилось! — ухмыльнулся ассистент.— В таком случае, пора и по домам!

Дёрдь помнит, как тщетно допытывался он у этой ухмыляющейся обезьяны: ассистент так и не открыл ему тайну неизвестного раствора.

По столь же старинной ассоциации в памяти его ярко, как вспышка молнии, возникла еще одна картина прошлого.

Несколько лет назад ему довелось побывать в Австрии на берегу какого-то небольшого горного озера. Стоял конец весны, долгий солнечный день постепенно клонился к вечеру. Чтобы достичь этой глуши, взятый напрокат автомобиль, протиснувшись через узкий серпантин дорог, преодолел головокружительную крутизну подъема. Горы, словно завзятые кокетки, откровенно простирали свои мощные громады, призывая полюбоваться ими то с того, то с другого бока. Машина пролетала над ущельями по высоким длинным мостам. Дёрдь не мог отделаться от ощущения, будто он пристроился на спине у огромного паука и скользит по нити паутины, натянутой меж двух гигантских сосен.

Альпийский пейзаж был начисто лишен каких-либо оттенков красного. Преобладали синий, зеленый и белый тона. В воздухе плыл тяжелый аромат смолы. Распростертое у ног высокогорное озеро казалось диким и суровым. Озерная гладь отливала тускло-белым, усталым светом.

На противоположном берегу по горному склону рубили лес. Пилою валили темные прямые сосны, после чего глухими взрывами рвали пни. От вершины горы и вниз по склону тянулся огромный деревянный желоб-спуск. Похоже, будто давным-давно, в допотопные времена, гигантская змея вырвалась из недр земли на волю,— здесь, в горах, она без удержу глотала своей прожорливой пастью лес за лесом, покуда, насытившись, не разлеглась на горном склоне; вокруг мертвой змеи резкими серо-белыми огоньками вспыхивали оголенные скалы.

Однако ниже по склону горы сосны еще сохранились, стояли сплошным массивом, и оттуда волнами, все гуще и удушливее вздымался кверху тяжелый запах смолы. А у самой береговой кромки выстроились в ряд тонкие, чуткие на ветру березки.

И в эту минуту пейзаж преобразился: все залил рассеянный красноватый подсвет. Стволы берез вдруг засветились теплым розовым тоном, как кожа рыжеволосых женщин.

Помнится, он долго стоял тогда, захваченный внезап-

ной мыслью: для того, чтобы каждый цвет и тон заиграл, зажил своею полной жизнью, необходим другой цвет, как бы воспламеняющий или оттеняющий его. Густая зелень сосен подчеркивала розовый подсвет на белых стволах берез. Весеннее солнце, клонясь к закату, вспыхивало багрянцем, и белая кора берез вдоль кромки озера тоже становилась огненно-розовой.

Уж не в этом ли крылась тайна Виолы?

В этот момент он услышал шаги, топот ног. Прибыла следственная группа в сопровождении привратницы. Два мощных карманных фонаря прорезали темноту, один конус света упал на Виолу, другой высветил его лицо.

Врач пробрался вперед, взял запястье Виолы, нащупал опавшую артерию, чуть приподнял тело.

— Поверните ее! — велел он двум полицейским.

Те повиновались.

Врач заглянул в лицо женщины, приложил ухо к ее груди, прислушался.

— Мертва! — сказал он и выпрямился.

Ведущая роль перешла к старшему по группе офицеру.

— Кто эта женщина? — спросил он официальным тоном, указав на Виолу.

— Ее фамилия Сюч, она с пятого этажа.

Офицер повернулся к Дёрдю.

— А вы кто будете?

— Дёрдь Сюч.

— Вы муж этой женщины?

— Мы разошлись.

Офицер посмотрел вверх на окно, откуда выбросилась Виола. Затем взгляд его скользнул на цементный пол, и он заметил набросанные кругом спички с обгорелыми головками.

— Откуда здесь столько горелых спичек?

— Я зажигал спички,— пояснил Дёрдь.

— С какой целью? — в вопросе звучало подозрение.

— Потому что хотел увидеть, кто здесь лежит.

Офицер снова повернулся к привратнице:

— Здесь что, не горит свет?

— И никогда не горел! Видите ли, лампочки каждый раз воруют.

— Ну а если кто-нибудь тут шею себе свернет в потемках?

— Здесь, кроме меня, никого не бывает,— услужливо пояснила привратница.

Один из следователей спросил Дёрдя:

— Вы вдвоем находились с вашей женой в квартире?

— Нет, там большая компания гостей.

— Тогда почему никого из них нет здесь?

— Они еще не знают.

— Всю ночь у них очень шумели. Даже с третьего этажа и то приходили жаловаться!

Старший офицер снова перехватил инициативу:

— Покойная находилась в состоянии опьянения?

— Насколько помню, пила она мало,— сказал Дёрдь.

— Тогда что же побудило ее покончить с собой?

— Не знаю и даже не могу предположить.

— Может быть, это несчастный случай, как по-вашему?

— Нет, не думаю.

Офицер помолчал.

— Ну а как вы все же объясните, для чего вам понадобилось зажигать столько спичек?

Дёрдь едва подавил неуместную улыбку: ведущему дознание набросанные кругом обгоревшие спички явно казались самой подозрительной уликой.

— Соберите и пересчитайте их все! — обратился он к одному из полицейских.

Тот немедля принялся выполнять указание.

— Вы что-то искали в карманах покойной? — спросил офицер.

— Ничего не искал.

— Тогда с какой же целью вы зажигали спички?

— Я хотел еще раз увидеть...

— Что именно?

— Затрудняюсь сказать... Пожалуй, лицо...

Ответ показался офицеру неубедительным.

— Как часто вы встречались с покойной?

— Мы не виделись три года.

И тут офицер сделал неожиданный вывод:

— Значит, потому вы и спалили целый коробок спичек. Вам было любопытно!..

Офицер сам произнес.

Произнес вслух это позорное, обличающее его, Дёрдя, обвинение; да, в нем вызывала любопытство эта хищная, сгрызающая все подряд ласка с острыми зубами.

Но прежде, чем эта постыдная мысль дошла до созна-

ния Дёрдя, полицейский, подбиравший спички, громко отрапортовал по всей форме:

— Товарищ капитан, разрешите доложить: мною обнаружено восемнадцать спичек.

Так в четвертый раз в центре внимания оказались обгоревшие спички. Ситуация начинала оборачиваться смехотворной и гротескной стороной. Дёрдь смирился со своим положением: нет другого выхода, кроме как подчиниться неотвратимому и отвечать на вопросы. И в этот момент словно бы лопнул изолировавший его от реальности пузырек воздуха; а может, то был стеклянный колпак. Дёрдь едва не пошатнулся — настолько внезапно отпустил сжимавший его спазм: отпустила мучительная, насильственная боль воспоминаний.

Этот водоворот, обращенный вспять. К прошлому.

1947

Легенда о любви и смерти

В древней — и, пожалуй, самой прекрасной — индийской поэме рассказывается о любви бессмертной феи и смертного юноши. Четыре года фея была возлюбленной юноши. А потом однажды ночью она исчезла, растаяла, «как утренняя заря». Ослепленный любовью, отчаявшийся юноша как безумный повсюду разыскивал ее, пока наконец через много лет не увидел в озере свою вероломную возлюбленную. Стоя на берегу, он умолял ее вернуться. Но фея только отрицательно качала головой. Мужчина заклинал ее вернуться, говорил, что бросится в воду, умрет, не может жить без нее. «Я не приду к тебе,— ответила холодно фея.— Знай, не может быть дружбы между мужчиной и женщиной. Сердце женщины — сердце гиены». И она скрылась. Мужчина больше никогда не видел ее.

Любовь Савитри не похожа на такую любовь. Савитри вырвала любовь у смерти. Чувство, вспыхнувшее в сердце женщины, неугасимо.

История Савитри — это маленькая полянка в дремучих лесах «Махабхараты». Короткая легенда, вплетенная в ткань поэмы. Взмах крыльев бабочки. Лишь триста строк из двухсот тысяч.

Вот уже девять дней колесила по лесу царевна Савитри. В двухколесную ее повозку были впряжены два белых коня. Павлины и скворцы, застыв от изумления, смотрели на статную юную девушку, стоявшую на колеснице.

Она проносилась по лужайкам. Выезжала на неширокие, постепенно сужающиеся лесные дороги. Под колесами то стелились с легким шуршанием мясистые стебли нежной

травы, то трещали, словно разражаясь потоком злобных проклятий, тонкие сухие ветки.

Всё в лесу уже знала Савитри.

Лесные дебри, молящие о влаге. Густые заросли кустарника, голые деревья, запыленные верхушки пальм. Обжигающий, невыносимый, палящий зной.

Потом она узнала бурю. Сначала слышно таинственное клокотанье — это внезапно закипает ветер, как вода в котле, повешенном над огнем; затем вдруг начинает лить дождь, невидимые руки ломают деревья, синие потоки света разливаются в вышине, гром и молния сменяют друг друга. И дождь переходит в ливень, дикий тропический ливень.

Она узнала и ночи. Ночные звуки: два шакала тонкими пронзительными голосами жалобно воют во тьме, стрекочут тысячи кузнечиков. Мягко ступая, по лесу шествует пантера. Еще гуще мгла. И внезапно воцаряется полная тишина. В такие ночи с их густым, как мед, мраком подает голос тигр: хриплый глубокий стон — вот и вся речь тигра.

Савитри узнала и синюю ворону с длинными блестящими перьями в хвосте. Ту, что приносит несчастье.

Видела она и медведя. Черного-пречерного губача с белым ожерельем. И другого, поменьше, иной породы: очень злого, косматого, с жесткой шерстью. В сумерках она наблюдала, как медведи возвращались в свои берлоги: они садились на крутой склон горы и, точно на санях, быстро съезжали в глубокую долину.

Она познакомилась и с лачугами лесных отшельников: четыре вбитые в землю кола, оплетенные камышом или тонкой осокой. Святые отшельники предавались созерцанию, живя в пущах. У них Савитри останавливалась на ночь. Она спрыгивала с колесницы, привязывала к дереву белых коней. Потом почтительно приветствовала мудреца, сидевшего на корточках перед шалашом.

Святые отшельники приветливо встречали всех лесных странников. Они любезно принимали и Савитри, спокойно и равнодушно осматривали колесницу девушки, ее красивых, ослепительно-белых коней; им была чужда всякая суета. Некоторые из них, вероятно, и сами были когда-то знаменитыми царями или смелыми воинами, но давно уже отрешились от всего земного: от семьи, дома, власти. Пустынники беседовали с Савитри о подземном мире и о том, что через десять или сто лет они, возможно,

вознесутся на прославленное третье небо, прямо в храм бога богов Индры.

Все увидела и узнала Савитри, когда на десятый день при слабом предвестии зари, розовевшей, как крыло фламинго, она повстречала молодую оленуху.

Оленуха стояла на берегу лесного озера. В темной воде распустились темно-красные и бледно-желтые цветы лотоса. Над озером лениво гонялись друг за дружкой бабочки, рыжевато-коричневые, небесно-голубые и бархатно-черные.

Ночью прошел дождь, и теперь все умылось и засверкало красками.

Солнце лишь слегка припекало.

Савитри подошла к молодой самке, не убежавшей от нее, и посмотрела во влажные карие глаза оленухи... Там, в оленьих глазах, увидела она стройную девушку, с очами синими, как небо Вишну, с гибким, тонким и упругим станом, с высоким лбом, длинными, точеными руками и ногами,— девушка была молодая, полная сил, свежая, как ветка цветущего весной яблоневого дерева.

Это была она сама, Савитри, посланная небом на землю девушка, которую ее благочестивый отец, проведя долгие годы в молитвах, вымолил у богов. Она была единственной его дочерью.

И теперь Савитри узнала себя. В невинных глазах молодой оленухи увидела, как она прекрасна.

Так прекрасна, что юноши из далеких земель, из дальних стран приезжали в Мадру, где правил старый раджа. Они приезжали ради Савитри, посмотреть на нее, побеседовать с ней; ее лучезарная красота ранила их в сердце. Но, восхищенные, очарованные, они не осмеливались просить ее руки.

Сверкающая небесная красота девушки не вязалась ни с чем земным, с грязью земной.

Мужчины бежали ее.

И отец Савитри, царь Ашвапати, сказал тогда дочери:

— Достоин порицания отец, не выдающий дочь замуж. Ступай, дочка. Поброди по свету и поищи себе мужа, чтобы я не был грешен перед богами.

Савитри зарделась и упала в ноги отцу. Но потом она поняла смысл его мудрых слов, почувствовала боль отцовского сердца — и не стала противиться.

Выкатили ее колесницу, впрягли в нее белых коней, и Савитри пустилась по свету искать себе супруга.

А теперь в розовых отблесках зари она стояла здесь, на берегу маленького лесного озера, и смотрела на свое отражение в глазах оленухи.

Она поняла: красота — опасный и взыскательный дар богов.

Молодая оленуха далеко проводила Савитри и только тогда отстала от нее, когда солнце начало палить вовсю и подул горячий ветер.

На этот раз девушка заночевала у одного святого мудреца, древнего пустынника.

Старик отшельник угостил ее лесными плодами; потом они долго молча сидели вдвоем у костра.

В тот вечер Савитри напоминала легкий молодой листок, гонимый ветром.

— Какая буря гонит тебя, дочь моя? — спросил отшельник.

— Не буря,— тихо ответила Савитри.

— Тогда почему ты в пути?

— Мой отец отправил меня в путь.

— Потому что разгневался на тебя?

— Нет, потому что очень любит меня.

Старик отшельник долго смотрел на девушку.

Светло-зеленое платье Савитри было расшито золотом. Множество золотых нитей так сверкало при свете костра, словно на шелку извивались тонкие молодые змейки.

Отшельник подбросил хворосту в огонь и стал рассказывать ей притчу о торговках рыбой.

— Их было трое. Три толстых-претолстых торговки рыбой. На берегах рек и озер покупали они рыбу и с полными корзинами шли обратно в город. Они скорей катились, чем шли,— такие были толстые. Первую звали Кубышка. Вторую с самого детства тоже прозвали Кубышкой. И третья не ведала другого имени, кроме как Кубышка. Три Кубышки жили сами по себе, хорошо жили, много смеялись. Как-то раз их застала в дороге буря. Они держали путь из города к реке. Три Кубышки в испуге стали кататься туда-сюда. Вокруг падали крупные капли дождя, но им не нравились эти круглые капли и того меньше — сверкающие молнии. Наконец они набрели на хижину садовника и укрылись там. Садовник приветливо встретил трех Кубышек и на ночь поместил их в оранжерее. Между тем совсем стемнело, а Кубышки темноты

боялись пуще, чем шумного ливня. Они устроились в оранжерее,— ели долго и обстоятельно,— а потом легли спать. Но заснуть три Кубышки никак не могли, все ворочались да ворочались. Вдруг одна из них воскликнула: «Это цветы виноваты!» Тут другая вскочила: «Ты права. Это розы! Гвоздики!» Они кричали, перебивая друг дружку: «А как воняет эта лилия!», «Да здесь золотарник!», «И валериана!», «Черноголовка», «Румянка!». Наперебой бранили они, поносили самыми грубыми словами красивые, прелестные цветы. Послушать их, так все цветы воняют. Все вызывают рвоту. Ведь они привыкли к рыбьему запаху, и только этот тяжелый, кислый, отвратительный запах им и нравился! От цветов же, роз и гвоздик, у них кружилась голова. Одуряюще болела голова, а от плотного ужина в желудке чувствовалась тяжесть. Они с удовольствием выкатились бы из оранжереи, но все еще лил дождь. Потом одной Кубышке пришла в голову прекрасная мысль. Она выставила на минутку под дождь грязные пустые корзины из-под рыбы, а потом втащила их обратно в оранжерею. В тепле от мокрых корзин поднялся пар и сильно понесло рыбьим духом. Запах рыбы вскоре перебил аромат роз. Та же участь постигла гвоздику и остальные цветы. И три Кубышки вскоре заснули; они мирно, крепко, сладко спали, глубоко вдыхая во сне родной тяжелый рыбий дух. А утром садовник обнаружил, что его цветы пропахли рыбой.— Отшельник замолчал.— Ложись спать, дочь моя,— сказал он погодя Савитри.

Но молодая девушка тоже не могла уснуть и в ночной тишине, как Кубышки, вертелась с боку на бок на лубяной постели. Она поняла, что мудрый старец разгадал ее тайну. Он знает, что привело ее сюда, в пущу. И что оставила она там, при царском дворе.

«Но в чем же смысл этой притчи?» — размышляла она. Что она, царевна, должна была сделать? Закрыться рыбной корзиной, чтобы пропитаться запахом рыбы? Тогда, возможно, не разбежались бы очарованные ею юноши.

Павлин своим криком возвестил рассвет.

На прощанье Савитри низко поклонилась старику отшельнику, который успел уже принести утреннюю жертву.

В сиянье зари девушка встала на колесницу и отправилась дальше.

В тот день она мчалась при бешеном ветре, в горячей пыли.

Вдруг лес остался позади. Куда ни повернись,— всюду сухой, колючий кустарник. Потом исчез и кустарник, и была одна только пыль. Пыль, пыль, всюду пыль.

Словно море отступило отсюда, не оставив ничего, кроме огромной, дышащей жаром, усыпанной солью пустыни.

Словно Савитри ехала среди языков пламени — легкие огненные змейки извивались у нее на руках, в волосах. Их вязкое горячее дыхание обжигало ей глаза. На спицах обоих колес скалили зубы змеиные головы. И ей вдруг почудилось, что вместо поводьев она сжимает в руке живое дергающееся тело змеи.

А ветер все гудел, наметая перед нею песчаные холмы, песчаные горы. Все грохотало вокруг, точно рушились своды.

Иногда ей казалось, что колесница описывает суживающиеся постепенно круги. Кони ошалело пригибали головы, будто из миллиона песчинок выбрали одну и теперь кружились вокруг этой невидимой песчинки.

Потом Савитри внезапно взлетела ввысь, на вершину, что намел неистовый ветер. А потом гора будто подтаяла под ней, и она не знала, как съехать с крутого склона.

Уже наступили сумерки, когда Савитри снова добралась до колючего кустарника. Перед ее колесницей запыленные птички вылетали из своих запыленных гнезд. Злые, колючие ветки со свистом хлестали Савитри.

В сгустившейся тьме, усталая, с кровавыми ссадинами на коже, приветствовала она отшельника, жившего в кустарнике. Ведь даже в этом пыльном унылом колючем кустарнике жил отрешенный от мира одинокий святой человек.

— Приюти меня на ночь, мой старший брат! — обратилась к нему царевна.— И не сердись, что я называю тебя братом, это от радости. Ведь я считала, что мне придется ночевать одной в лесу, и вдруг здесь, среди колючек, в пыльном кустарнике, я повстречала человека.

Старый отшельник, живший в кустарнике, налил растопленного масла в священный огонь, а потом угостил девушку горьковатым медом и какими-то очень мягкими волокнистыми плодами.

— Ты приехала из пустыни?

— Я ехала по пескам.

— И солнце палило?

— Оно обжигало меня.

— И ветер засыпал песком?

— Он дул на меня.

Долгое время они молчали.

— Ты как будто жаловалась,— заговорил наконец отшельник, живший в кустарнике.

Словно ударили в барабан — так прозвучал для девушки его голос. Тяжело, полнозвучно.

— Я?! — воскликнула Савитри.— Я жаловалась?!

— Ты как будто жаловалась, что тебя оцарапал колючий кустарник.

— Я не хотела проронить ни слова жалобы.

— Но лицо у тебя в крови!

Голос у отшельника был строгий, порицающий.

Савитри виновато опустила голову.

— Я забыла стереть кровь.

— И ты сказала: ветер дул на тебя, солнце тебя обжигало. Царапины на твоей коже, твои воспаленные глаза как будто жалуются. Учись смирению, дочь моя. Ты должна стать смиренной, совсем смиренной; впрочем, солнце будет еще сильней обжигать тебя и ветер еще больше опалять. Забудь о своем теле, забудь о боли. И если острая колючка колет тебя, то это ты сама вгоняешь ее себе под кожу.

А потом отшельник, живший в кустарнике, замолк. Замолк внезапно, словно ножом отсек дар речи. Лег и больше ни слова не вымолвил. Когда Савитри взглянула на него, он уже спал.

Молодая девушка уронила голову на грудь.

Вдруг зазвучали тонкоголосые скрипки. Савитри прислушалась и узнала их: это были скрипки сна. Погрузившись в глубокий сон, точно в темную воду озера, все вокруг как будто смягчилось: стало чутким, нежным и милосердным. Все живое, как невинный водяной цветок, плыло по озеру сна. Тигр, волк и вепрь утратили то, что было в них от тигра, волка и вепря. Они лишь беспомощно рычали во сне, не пытались уже напасть на врага, вцепиться ему в горло, кусаться. Комар не мог впиться в свою жертву; гриф забыл, где у него клюв и когти.

Савитри вспомнила древнее учение: во сне все сливается воедино, обретает новое бытие. И лишь во сне проявляется то, что поистине целомудренно, прекрасно и составляет сущность огромного мира. Священное и вечное.

Утомленная девушка задышала глубоко и спокойно.

Словно ей дали напиться. Никогда еще ни один напиток не оставлял у нее в горле ощущения такой сладостной теплоты. Но кто преподнес ей этот напиток? В мгновенной вспышке молнии она видела чье-то лицо. И тут же оно расплылось во тьме. Савитри забыла его.

Ночью она проснулась.

Тихонько вышла из хижины: на темно-синем, а потом черном небе взошли тучные звезды.

Савитри на ощупь пробиралась среди кустов. Она касалась рукой головок чертополоха, его бутонов и едва распустившихся цветов. Чертополох был теплый. Он сохранял еще остатки вчерашнего солнечного жара. Савитри успокоило это тепло, она точно погладила молодого зверька.

Отшельник встал на рассвете. Царевна подождала, пока он совершит утреннее жертвоприношение, а потом сразу поехала дальше через заросли кустарника. Ветер уже не бушевал, еще вчера он затих, но по-прежнему стояла жара, и кустарник, запорошенный пылью, хранил унылое молчание.

Жажда весь день донимала Савитри. Она никак не могла забыть ночной напиток: его единственный глоток обжег ей горло, от этого еще больше хотелось пить.

После полудня она выбралась из колючего кустарника, и трава снова стала зеленой.

На склоне какого-то холма, поросшего свежей травой, ей навстречу попались антилопы. Их было не меньше сорока. Три благообразных старых самца вели стадо; в своих черных-пречерных шубах они сразу выделялись из красно-желтой массы самок и детенышей.

Остановившись, антилопы с удивлением смотрели на девушку, едущую в колеснице. Савитри, обернувшись, тоже смотрела на них.

Потом холмы окружили Савитри, а вскоре она достигла долины. Изгородь преградила ей путь, живая изгородь, окружавшая лесную обитель отшельника.

А отшельник был точно брат-близнец отшельника, жившего в колючем кустарнике. Тощий, костлявый, печальный, серьезный, как и тот.

— Приветствую тебя, глубокочтимый мудрец!

— Что тебе надо? — спросил отшельник, взглянув на девушку.

— Приют на ночь.

— Ты его получишь.

— И я хочу пить. Очень хочу.

— Воду ты тоже получишь.

Жадно пила воду Савитри.

Нахмурив брови, отшельник смотрел на нее мрачным взглядом. Он рассказал Савитри, девушке, ищущей мужа, притчу о страннике и тигре. Но это было, когда они уже сидели перед вечерним костром.

— Ты видела манговое дерево? Не обычное, а гигантское манговое дерево?

— Я ела его очищенные плоды.

— К такому исполинскому манговому дереву пришел после трехдневного пешего пути странник. Знаешь ли ты, что значит блуждать три дня?

— Я тринадцатый день в пути.

Глаза отшельника сверкнули гневом.

— Но настоящие странники не ездят на колесницах, царевна с глазами, подобными цветку лотоса! Они не мчатся на белых конях!

Савитри вглядывалась в лицо отшельника.

— Что же мне, бросить моих коней и колесницу, всезнающий мудрец?

Отшельник сердито махнул рукой.

— Придет и этому время. А теперь послушай-ка дальше притчу о страннике... Через голую, выжженную солнцем пустыню шел странник. У него не было ни съедобных плодов, ни единого глотка воды. Он уже ничего не слышал и не видел, когда вдруг наткнулся на исполинское манговое дерево. Это тенистое дерево было все в дивных цветах, все в плодах, вкусных плодах, прячущихся среди цветов,— оно еще цвело и уже плодоносило. От его корней, от коры лился аромат, с кроны — волшебное пение птиц. «Что ты хочешь, странник? Есть, пить?» — произнесло неожиданно исполинское манговое дерево. «Я хочу спать!» — ответил странник. И не успел он подивиться тому, что дерево разговаривает, как уже спал. Когда он наконец приоткрыл глаза, то почувствовал, что тело его совсем онемело от лежания на твердой земле. «Эх, постель бы мне! Удобную, мягкую постель!» — вздохнул он в полусне. И вот он уже покоится под манговым деревом на мягкой, высокой, застланной шелком кровати. Ведь это исполинское манговое дерево было волшебным. Оно понимало все языки, знало все волшебства. Это дерево было деревом богов, оно обладало их могуществом и силой. Странник с громко бьющим-

ся сердцем, стуча от страха зубами, лежал на ложе, застланном шелком. Люди всегда страшатся богов. Но потом постепенно он успокоился, понял, что манговое дерево милостивое и желает ему только добра. И так как он был страшно голоден, то вздохнул с надеждой: «Хоть бы поесть чего-нибудь...» И тотчас вокруг него появились маленькие столики, там на хрустальных блюдах были разложены самые вкусные кушанья, хрустальные фиалы были наполнены соблазнительными напитками, зелеными, желтыми и красными. Странник поел и выпил,— от неведомых блюд и напитков он стал пьяным. Пьяным и дерзким. «Если бы сейчас пришла сюда красивая девушка...» Не успел он довести до конца эту мысль, как над ним склонилась девушка небесной, сказочной красоты, вся в паутине шелков. «Поцелуй меня»,— обратился к ней тотчас же странник. Девушка поцеловала его. «Почеши мне пятки!» — осмелев, приказал он. И фея почесала ему пятки. Странник лежал, растянувшись на постели. Окруженный манящими плодами, одурманенный неведомыми напитками и поцелуем феи, он почувствовал себя сильным, могучим, способным творить чудеса и размечтался: «Вот если бы сейчас на меня прыгнул тигр, я бы ему показал...» И в ту же минуту из-за куста выпрыгнул желто-черный королевский тигр, и, так как зазнавшийся странник не успел залезть на верхушку дерева, тигр, испустив оглушительный рев, одним прыжком вскочил на ложе, застланное шелком, и одним ударом мягкой когтистой лапы прикончил странника.— Помолчав немного, отшельник прибавил: — Я закончил, царевна. Я закончил притчу о страннике и тигре.

— А почему ты рассказал ее мне, всеведущий, премудрый старец? — спросила Савитри.

— Потому что я хотел рассказать притчу о желаниях. Остерегайся желаний.

Савитри вздрогнула. И позже, ночью, опять вздрогнула, натягивая на себя одеяло.

Как было бы хорошо, если бы кто-нибудь оберегал ее. Но с ней было только одиночество.

Одиночество — странный товарищ. Всем, что у нас есть, нам не с кем поделиться. Всего, чего нам недостает, недостает вдвойне. Склонившись в одиночестве над водой, мы замечаем, что в нашем зеркальном отражении кровь струится быстрей.

Савитри снова колесила по лесу. Однажды она услышала издали зов каких-то больших птиц, поехала на их голоса, но потом заблудилась в лесной чащобе. И лишь вечером поняла, что птицы потешались над ней.

В другой раз она ехала по берегу ручья. Ручей мило журчал, шептал: он был полон тайн и сулил ей все на свете. Доверившись ему, Савитри следовала по его течению, но ручей внезапно перешел в водопад; он стремительно низвергался с высоты, рассыпаясь серебристой пылью. Он был узкий, как ленточка, и все-таки насмехался над ней.

Царевна поняла: ее снова обманули.

Она не возмутилась, а лишь опечалилась.

Почему ей суждено быть одинокой? Почему горюет ее отец? Почему так тяжко одиночество? Когда же окончится это странствие? И почему другие люди так легко достигают счастья? Может быть, она согрешила и теперь несет кару?

В этот вечер она беседовала со святым пустынником о грехе и наказании.

— А теперь я перескажу тебе точно и по порядку, дочь моя, за какой грех какое наказание ждет человека. Ты слушаешь?

— Слушаю, мудрый отец.

— Видишь крысу там, в темноте? В крысу превращается тот, кто ворует необмолоченные зерна.

Савитри покорно кивнула головой.

— Если брамин выпьет хмельной напиток, он станет молью.

Савитри кивнула.

— Если полакомишься каким-нибудь запретным кушаньем, обратишься в муху.

Савитри снова кивнула.

— Если совершишь убийство, будешь кабаном. Если не чиста на руку, кончишь свои дни дятлом. А если крадешь мясо, то, обретя новую жизнь, закричишь грифом. Если воруешь только мед, примешь обличье комара.

Савитри лишь кивала.

— А теперь надо сказать, какое наказание ждет влюбленных.

Савитри вздрогнула.

— Если ты отведала плодов запретной любви, ужасная скорбь ждет тебя на том берегу. Согрешившие любовники должны есть обжигающий жаром хлеб, ходить по раскаленному песку или поджариваться в пылающей печи.

Савитри кивала и слушала.

— А самые грешные любовники,— продолжал отшельник,— попадают в потусторонний мрак, в ночной лес, где каждая травинка, каждый куст, каждое дерево и лист — все в острых мечах. И любовникам приходится, раздевшись донага, блуждать по этому лесу. Они живут в постоянном страхе смерти: ведь им не дано знать, когда именно меч пронзит их грешные сердца.

Святой старец замолк.

Савитри кивнула головой, но осталась неудовлетворенной.

— Скажи, отец мой, в чем грех того, кто, родившись человеком, обречен странствовать и не находить того, что ищет?

Отшельник посмотрел на девушку.

— Это ты о себе?

— Да.

Словно обнаженный меч положили между ними — такая наступила тишина.

— Я спрашиваю тебя, что ты ищешь? — спросил наконец старик.— Покой? Истинную справедливость? В таком случае не странствуй больше, поселись на первой попавшийся лесной поляне, построй себе хижину, питайся дикими плодами, откажись от всех благ, и тогда ты обретешь то, что до сих пор тщетно искала: покой. А если ты хочешь узреть богов,— продолжал отшельник, понизив голос,— поверни свою колесницу к снежному Химавану, и если ты в меру смиренна и чиста, где-нибудь, в лесной чаще, в ущелье или на зеленом берегу горного озера, ты, возможно, увидишь великого Шиву, который на заре украшает себя луной вместо драгоценного камня. А на лбу у бога третий глаз; но этот глаз у него всегда сомкнут, потому что стоит его открыть, как луч, исходящий оттуда, сожжет все вокруг.

— А если я ищу всего лишь человека? — с трепетом спросила Савитри.

— Люди дальше от нас, чем боги,— не мудрствуя, сказал отшельник.— Если ты ищешь человека, наберись терпения.

Уже совсем стемнело. Они прекратили беседу.

И еще одну притчу услышала Савитри. Эта притча оказалась ясней прочих, и Савитри лучше поняла ее смысл. И когда поняла, успокоилась.

Притчу эту поведал ей очень добрый, очень старый, очень мудрый и вечно улыбающийся пустынник.

— Ты слушаешь, девочка?

— Я слушаю тебя, дорогой отец.

— Послушай же... Жили-были трое юношей. Однажды нашли они втроем на дороге большущий мешок орехов. Стали совет держать, что им делать. Как поделить между собой орехи? Наконец надумали обратиться за помощью к одному мудрому отшельнику. «Подели между нами мешок орехов, святой отец! Но подели так, как поделили бы сами боги...» — «Я вот как поделю...» — сказал отшельник с улыбкой.— Знаешь, девочка, этот отшельник, наверно, был очень похож на меня. Ведь что он сделал?.. Одному юноше дал всего один орех, другому — пригоршню, а третьему — все, что осталось,— почти целый мешок. Юноши остолбенели. Стали роптать: «Ты плохо распорядился, мудрый отец! Как же так, одному пригоршню, а другому полный мешок?» — «А мне всего одно ядрышко!» — воскликнул первый юноша. Отшельник покачал головой. «Я поделил так, как поделили бы боги. А если вам не нравится, я разделю орехи так, как разделили бы слуги». И отшельник высыпал орехи на землю и разложил их на три одинаковые кучки. Окончив дележ, он сказал: «Забирайте!»

Пустынник взглянул на юную царевну с глазами, подобными цветку лотоса.

— Ты поняла, девочка? Боги судят так, а слуги иначе.

И Савитри поняла. Поняла, что она намного красивей других девушек, потому что так рассудили боги. И что жизнь у нее будет удивительной, более удивительной и трудной, чем у других. Потому что так рассудили боги.

Она поняла, что такое малое и большое в жизни, легкое и тяжелое. Поняла, что должна пройти через все.

И потом еще долго, долго ехала царевна по лесу. Еще много раз попадала в заросли кактуса. Пересекала на колеснице пустыни.

При ее приближении змеи склоняли головы, словно пили теплое молоко. В глазах тигра сразу гасли красноватые огоньки, а быстроногие оленухи смотрели на нее с такой любовью, точно были ее сестрами из старого-престарого сна. Павлины замолкали: они стыдились своего хриплого неприятного голоса. Какие-то маленькие неведомые птички по целым дням сопровождали Савитри.

От сияющего белоснежными вершинами Химавана до кроткой Ганги, спокойно и величаво катящей свои воды, шла молва о страннице, девушке с глазами, подобными цветку лотоса.

Савитри заезжала иногда в прекрасные города; правители принимали ее с подобающими почестями. И мужчины теперь уже толпились вокруг девушки, прося ее руки. Молодые царевичи, прославленные воины жаждали состязаться за право назвать ее своей.

Но Савитри лишь молча смотрела на них. У одного под личиной молодости она угадывала безобразную, злобную старость. У другого в цветистых пылких словах — ложь. Третий сразу выдал себя: он был холодным и корыстным человеком. Четвертый щеголял в богатых нарядах, у него было привлекательное лицо, пунцовые губы, горящие глаза, стройное тело, но его красивая голова оказалась пустой, совершенно пустой.

Девушка молча простилась с ними.

И они, опозоренные, глядели ей вслед. Их богатство, молодость, красота сразу померкли, увяли, потеряли силу, как ядовитое жало в пасти у старой змеи.

Откуда почерпнула мудрость Савитри?

Ведь она не забыла притчу старого отшельника о страннике и тигре. О тигре, который тут же проглотил неосмотрительного странника. И не забыла она другой притчи о том, как рассудили боги и как рассудили слуги.

Теперь она уже знала: ее сторонились раньше слабые, пустые юноши. В ней было нечто, обращавшее в бегство тех, кому Брахма дал легковесную душу.

Сколько дней уже была она в пути? Пятьдесят, семьдесят, сто? Она и сама не знала.

Но чувствовала, что это последний день.

Поздним утром она пересекла пустыню, поросшую редкими кустиками. Аромат жасмина смешивался с запахом пыли, отдающим серой. Куда ни обратись, всюду курилась земля. Испарения, запахи пыли, жасмина сливались вместе, будто кто-то жег на костре пахучую траву.

В полдень Савитри добралась до редкого леса.

Там возвышались могучие тиковые деревья. Их бурые листья свисали вяло и тяжело. Это был довольно унылый лес. Но в его коричневом нутре вдруг что-то вспыхнуло: красными цветами засыпало девушку дерево — лесное пламя. Оно было совершенно голое, без листьев, только

красные цветы полыхали на нем, точно птицы уселись на ветки.

Молодая царевна сорвала цветок и приколола к своим волосам.

За лесом открылось узкое скалистое ущелье. Затем огромная поляна. И посреди нее высилось гигантское дерево, баньян.

Это дерево породило целую рощицу. Его наклонные ветви сплетались шатром. Коснувшись земли, они быстро пускали корни. Ветки выгоняли новые ветки. И те, в свою очередь, выгоняли молодые побеги, которые корнями цеплялись за землю. Так дерево из года в год разрасталось. Оно напоминало уже не рощу, а дворец. Просторные залы чередовались в нем с широкими коридорами, красивые внутренние дворы — с укромными уголками.

Савитри остановила коней, спрыгнула с колесницы. В изумлении смотрела она на баньян.

Из листвы его выступил юноша. Савитри впервые видела такого необыкновенно печального и к тому же необыкновенно высокого юношу. И потом необыкновенно бледного. И, наконец, необыкновенно красивого.

Тщетно пылало на небе беспощадное солнце: юноша был словно соткан из лунного света, и этот печальный прекрасный свет здесь, под баньяном, затмевал, посрамлял жарко пылавшее солнце.

— Кто ты? — спросил юноша, подойдя поближе к девушке.

— Я дочь раджи Ашвапати. Меня зовут Савитри.

— Никогда не слыхал я твоего имени.

Лицо юноши стало еще бледней, еще грустней. Теперь он разглядывал девушку.

— А ты кто? — спросила чуть слышно Савитри.

— Я живу тут, в лесу.

На нем была одежда, сплетенная из лыка, в руке он держал топор.

— Как тебя зовут? — продолжала расспрашивать девушка.

Взгляд юноши остановился на колеснице.

— Взбирайся на колесницу и поезжай дальше. Зачем тебе увозить с собой мое имя?

— Потому что я уже оставила здесь свое.

Савитри сказала это, и лицо ее сразу порозовело, как прозрачный кристалл, освещенный огнем.

Юноша склонил перед ней голову. Он покорился, его победили.

— Как меня зовут? Отец и мать называют меня Сатьяваном.

На разрумянившемся лице Савитри засияла улыбка.

— Сатьяван... Твое имя означает «правдивый»? Тебе, верно, легко говорить с людьми, раз ты должен говорить им правду!

— Правда подчас печальна. Не стоит и знать ее.

— О, скажи мне, какая же у тебя печальная правда?

Юноша заговорил со страстью, накипевшей, как видно, в его душе.

— Мой отец прежде был зрячим, а теперь слепой. Прежде он был раджей, но у него отняли царство. Моя мать была красивой молодой женщиной, а теперь это живой труп. Мы жили в прекрасном дворце, и вот уже много лет нам служит дворцом баньян. Что еще желаешь ты знать?

Девушка побледнела. Юноша опять стал сдержанным и грустным. Он повторил:

— Что еще желаешь ты знать, веселая, счастливая юная царевна?

Из глаз Савитри давно улетучилась улыбка.

— Я проделала длинный путь, дорогой Сатьяван. Попроси, пожалуйста, твоих родителей, чтобы они приняли меня как гостью на один день в своем дворце. Только на один день. Я устала.

Сатьяван поклонился и в знак приветствия притянул к ней обе руки:

— От имени моего отца, царя Дьюматсены, и моей матери, царицы, приветствую тебя. И прошу быть нашей гостьей.

Они жили как дровосеки.

К стволу баньяна прилепился маленький домик; Сатьяван смастерил его из колышков, дощечек и бамбука собственными руками, с помощью топора.

Но старый царь Дьюматсена — как с ним ни обошлись боги и люди — даже в изгнании, в бедности, даже ослепнув, продолжал быть царем.

Словно рухнувшее огромное дерево, жил он в лесу. Есть такие деревья: ураган с корнем вырвал его из земли,

и могучий ствол покоится среди кустов на прошлогодних листьях, в траве, на мягком мху. Никогда уже не сможет подняться это дерево, но оно еще не умерло, оно продолжает жить, выгоняет несколько листочков, дышит и чувствует, потому что тонкий, как волос, корешочек все еще связывает его с землей. Один-единственный хрупкий корешок. И этот корень-волосок больше предан дереву, чем остальные корни. Он один сохраняет жизнь великану.

Таким последним корешком была для раджи Дьюматсены его жена.

Если старый слепой царь хотел встать с места, она помогала ему подняться. Если он хотел лечь, она укладывала его. Если он хотел посидеть на солнышке, то она выводила его из-под баньяна. Если он хотел есть, она подавала ему еду. Если он хотел поговорить о чем-нибудь, то она говорила с ним. Если он спрашивал, она отвечала. А если он молчал, молчал многие часы и дни, то жена молчала вместе с ним.

Савитри с глубоким уважением приветствовала царицу Дьюматсену и долго смотрела на нее. Она смотрела на нее так долго, потому что боялась через минуту не узнать ее. Ведь царица Дьюматсена была безликой.

Она не была ни старой, ни молодой. Ни красивой, ни безобразной. Ни суровой, ни доброй. Ни проворной, ни медлительной.

А прежде и она была женщиной. Женщиной незаурядной. Жила и чувствовала. Но, как всякий человек, расстающийся перед сном со своей одеждой, царица Дьюматсена здесь, под баньяном, постепенно рассталась со всеми старыми царскими атрибутами. Всем тем, что раньше превращало ее в царицу.

«Моя мать теперь живой труп»,— вспоминала Савитри слова грустного юноши.

Царица Дьюматсена действительно была и живой, и мертвой. В ней оставалось ровно столько жизни, чтобы поддерживать жизнь слепого старого царя.

Вот как Савитри впервые увидела царя и царицу: изгнанный слепой царь сидел на некрашеной скамеечке, сбитой из свежих досок, в беседке под баньяном. Подле него сидела царица. Перед ними в траве стояла странная золотая клетка. Из нее только что вылетела зеленая птичка.

Царевна смотрела вслед щебечущей пташке.

— Ты дочь Ашвапати? — спросил слепой царь, который не видел ни девушки, ни птички.

Его низкий голос не был еще старческим, он звучал красиво и ласково.

— Да, я дочь Ашвапати, славный царь! — отвечала Савитри.

Казалось, слепой старик смотрит вдаль.

— Я знал когда-то Ашвапати, раджу Мадры. Но тогда еще у него не было дочери... Это было очень, очень давно.— Он сказал без вздоха печали.— Все, что я знал, было очень давно.

Царица, как тень, молча сидела рядом с ним. Она лишь смотрела на мужа и слушала.

— Ты знаешь моего сына? — спросил после долгого молчания старый царь, словно выбрался наконец из какой-то глубокой пропасти.

— Он привел меня сюда...— тихо ответила Савитри.

Ее лицо опять порозовело, точно кристалл, освещенный огнем.

— Действительно, ведь он привел тебя сюда... Не правда ли, какой милый, любезный юноша? В детстве его всегда ласково называли «Пестрой лошадкой». Он вечно сидел на куче глины и лепил себе лошадей. И раскрашивал их так, что все лошадки становились пестрыми: красными, синими, желтыми и зелеными. А как он смеялся, глядя на них!.. И каким прекрасным наездником стал он потом!

Неужели Сатьяван умел смеяться? Неужели был когда-то мальчиком? И лепил из глины лошадок?

Савитри бросила взгляд на высокого печального юношу и только теперь поняла смысл слов слепого царя: «Все, что я знал, было очень давно».

Потом они опять замолчали. Царь Дьюматсена снова блуждал по стране воспоминаний и не возвращался оттуда.

Наконец Сатьяван сделал девушке знак рукой, что лучше предоставить самим себе слепого царя и молчаливую царицу.

Савитри и Сатьяван сидели под сал-деревом.

В небе плыли белые облака, точно там был цветущий, одетый в белое фруктовый сад. Душа Савитри преисполнилась таким спокойствием и счастьем, что ей захотелось украсить себя цветами.

— Ты видела нашу шкатулку с золотыми обручами? — спросил Сатьяван.

— Я видела клетку...— отозвалась с удивлением Савитри.

— Это была когда-то очень красивая шкатулка из самого благородного дерева. Ее скрепляли золотые обручи и золотые уголки; золотой замочек звенел на ней. Эту шкатулку захватила с собой моя мать, когда мы бежали из дворца. Что могло храниться в ней? Я не знаю. Может быть, самый прекрасный драгоценный камень, может быть, что-нибудь еще. Что-то там было. С этой шкатулкой моя мать никогда не расставалась. Ты же видела, шкатулка и сейчас с ней. Мать никогда не говорит, но я знаю: благодаря этой шкатулке она до сих пор чувствует себя царицей. Но дерево между золотыми обручами растрескалось. То, что хранил золотой замок, давно потерялось: выпало в щели... Ты говорила о клетке: так теперь выглядит запертая на замок шкатулка.

Немного погодя Савитри спросила:

— Ты еще не сказал мне, почему вам пришлось бежать.

Сатьяван молчал, словно обдумывая ответ. И еще не произнеся его, почувствовал себя усталым. Оперся на локоть.

— Хочешь, чтобы я рассказал тебе? Только потому, что ты приехала сюда и проявляешь любопытство?

— Ты должен рассказать мне об этом! — Она не почувствовала ни насмешки, ни боли в словах юноши.

Сатьяван заглянул ей в лицо.

— Когда ты была маленькой, тебя сажали в крапиву?

— Да нет... Не помню...

Голос юноши прозвучал так, что ей невольно стало стыдно.

— А меня сажали! — Он продолжал с ожесточением: — Это не больно, но потом горит кожа.

Савитри взяла юношу за запястье руки, обнаженной до локтя.

— И у тебя до сих пор горит кожа?

Не проронив ни слова, Сатьяван устало растянулся на земле.

— Ты спрашивала, почему нам пришлось бежать? — спросил он спустя некоторое время.

Савитри поняла, что теперь она вся должна обратиться в слух.

Лежа на спине, юноша смотрел в небо.

— ...Потому что у царя Дьюматсены был младший брат! — Словно пламя костра вспыхнуло в нем желание говорить.— Потому что мой отец был царем и из-за этого его брат не мог получить престол. Потому что мой отец был великим человеком, храбрым мужчиной, а его брат пигмеем, он во всем был всего лишь пигмеем. Потому что моему отцу все удавалось, а брат его от всего отступался. Потому что отца любили, а его брата боялись. Потому что отец мой предпочитал солнечный свет, а его брат вечно прятался в тени.— Страстное желание говорить уже разгорелось в нем, пламя полыхало.— Сколько надо нитей, чтобы соткать ковер? Сто, тысячу? — В голосе лежащего на земле юноши прозвучали новые нотки.— Были и другие завистники... Я помню наш дворец. В детстве мне ничего не стоило заблудиться в нем. Дворец наш был такой огромный, прекрасный! Сколько там было залов, лестниц, коридоров и тайников! Он стоял на берегу реки и отражался в воде. Собственно говоря, у нас было два дворца, но второй всегда колыхался в воде, и казалось, вот-вот разрушится.— Сатьяван вздохнул.— Мой отец был самый храбрый, самый счастливый человек. И не только брат казался рядом с ним пигмеем. Все по сравнению с ним выглядели пигмеями. И потому многие не любили царя Дьюматсену, завидовали ему и даже ненавидели его. Очень многие ему завидовали и жестоко его ненавидели. А потом пришел тот день... Огромная толпа собралась перед дворцом. Люди стояли и молча смотрели на богато украшенные стены здания, на освещенные окна. Во дворец проникнуть они не пытались, а только молча смотрели на него. Моя мать послала слугу спросить, что им надо. «Мы хотим видеть царя Дьюматсену!» — ответили они. Мать со слезами умоляла отца не выходить из дворца, но он вышел к воротам. И тогда из молча выжидавшей толпы выступил какой-то нищий. «Ослепни, царь Дьюматсена! — закричал он.— Ослепни от вида своих несметных сокровищ!» Мать, стоявшая у окна, лишилась чувств, а отец, бледный, потерявший дар речи, вернулся к нам во дворец. И лишь тогда толпа рассеялась.

Савитри наклонилась к юноше, который когда-то был царевичем и владел двумя дворцами. Второй, правда, колыхался в воде...

— Рассказывай, рассказывай дальше!..

— Что же было потом? — встрепенулся Сатьяван.

— Ты говорил о нищем...

Сатьяван сел.

— Нищий?... Нищий исчез. Мы так и не узнали, кто это был. Святой отшельник, которого возмутила весть о богатстве и доблести отца, или всего лишь тайный наемник дяди, приведший толпу ко дворцу. Кто бы это ни был, его проклятие имело силу. Через несколько дней отец ослеп.

— Ослеп? — испуганно переспросила молодая девушка, хотя и знала, что старый царь теперь слепой.

— Он ослеп, но мы это скрывали,— с трудом продолжал бледный юноша.— Зачем мы это скрывали? Я и сам не знаю... Тяжело, тяжело вспоминать о том, какие страшные, мучительные дни и недели мы пережили! Мы с матерью не покидали отца ни на минуту и следили за ним. Все время шептали ему на ухо: кто пришел, что этому человеку надо, где он стоит. Шепотом мы сообщали отцу обо всем. Даже о том, день сейчас или ночь. Ведь ему казалось, что стоит вечная ночь. И неприметно все изменилось вокруг нас. Кто прежде был большим человеком, превратился в пигмея. Правда обернулась ложью. Гордая, смелая речь царя Дьюматсены стала звучать как жалкий лепет. Так мы жили: обманывали, лгали, лепетали. И всего боялись. Наши драгоценные камни потеряли свой блеск и стали казаться мутными, тусклыми. И наш дворец, настоящий дворец, заколыхался под нами, словно его отражение в воде.

— Не сердись, Сатьяван... не сердись на меня...— едва слышно взмолилась Савитри.— Не сердись на меня за то, что я просила тебя об этом... Я и сама не знала, о чем прошу.

— Что же было потом? — продолжал Сатьяван, сорвав травинку; он будто не слышал слов девушки.— Что же было потом? Все больше людей начинало подозревать, что отец мой слеп. Весть об этом уже передавалась шепотом из уст в уста. И вот весь дворец, весь город, все царство узнало, что царь ослеп. И тогда явился мой дядюшка... Он явился со своими людьми, приверженцами, слугами. Пигмей!.. Он прикинулся льстивым, смиренным, взял отца под руку... Мы сидели с матерью тут же в зале и были бессильны что-либо сделать. Дядюшка отвел отца в сторону, словно хотел поговорить с ним без свидетелей. Они отошли на несколько шагов от нас, и дядюшка ловко оттеснил отца к стене. Великий, славный, храбрый царь

Дьюматсена был слеп, совсем слеп; он не остановился, не свернул в сторону. Неловко качнувшись, он ударился о стену... О Савитри! — воскликнул юноша.— До сих пор у меня в ушах стоит этот странный глухой звук. Мой отец, самый добрый, самый смелый человек, сердечный, чистый, правдивый, налетел на стену, точно ребенок. Он ушиб лицо и колено. Мы с матерью подбежали к нему, но было уже поздно. «Слепой!..— завопил мой дядюшка.— Слепой!.. Слепой!.. Вы все видите: он ослеп!..» И потом он еще кричал людям: «И этот жалкий слепец хочет править царством?.. Неужели вы верите, что этот несчастный слепец — храбрый человек?.. И что он способен выиграть битву?.. Для чего слепому дворец?.. Убейте его!.. Убейте его!..» — потеряв голову от страха, надрывался он уже где-то далеко от нас в покоях дворца.

— А ты? — спросила почти беззвучно Савитри.

— Не волнуйся! — улыбнулся ей юноша.— Мы были уже далеко. Ведь когда дядюшка в первый раз закричал: «Слепой!» — мой отец тотчас направился к дверям. Он шел так уверенно, будто прозрел. Никогда не выступал он с таким достоинством. И с трудом согласился, чтобы мы взяли его под руки. «Убейте его!..» — вопил за нашей спиной дядюшка. Но никто не внял ему. Люди расступились, давая нам дорогу. И мы шли, шли прочь из дворца, прочь из города, прочь от людей. Верные слуги несли за нами кое-что из наших вещей. По просьбе моей матери они вынесли тайком из дворца ее любимую шкатулку в золотых обручах. С тех пор мы и живем здесь, под баньяном в лесу Чамкавати. Изгнанный слепой царь, который был так богат, что ослеп от блеска драгоценностей, проклятый безвестным нищим. Здесь состарился мой отец, здесь превратилась в живой труп моя мать. Милая Савитри, что еще хочешь ты узнать?

— Ты уже все рассказал мне,— ответила просто девушка.

Они встали с земли.

Они шли среди папоротников по ложбинке в долину. Потом свернули к холму. У его подножья их обступили кусты жасмина.

Савитри остановилась.

— Ты всегда такой грустный?

Юноша сломал ветку жасмина и протянул ее девушке.

— В детстве мне приснилось однажды,— опять заго-

ворила Савитри,— что кто-то подарил мне луну. А потом я проснулась, и оказалось, что у меня ничего нет. Ведь когда я вспоминала о приснившейся мне луне, все представлялось мне ничтожным.

На голой вершине холма от выжженной добела земли рябило в глазах. Они шли, а жара все усиливалась. Здесь не было ни деревьев, ни кустов, ни родника — ничего, что хоть немного поглощало бы солнечные лучи.

Они шли вчетвером: молодая девушка, юноша, а позади них две тени. Точно два мрачных стража.

Сатьяван спросил:

— Какая ты была в детстве?

Савитри, не раздумывая, ответила:

— Я всего боялась. Моя мать умерла при моем рождении. Я вечно жила в одиночестве.

— А твой отец, царь Мадры?

— Он такой хороший, такой простой человек. Но, наверное, и он жил в страхе. Девятнадцать лет молил он богов даровать ему ребенка. Он хотел иметь сына. Но богиня послала ему только меня. Дочь.

Юноша взял Савитри за руку. Его тень сделала то же самое.

— Почему тебе было страшно?

— Потому что я всегда жила в одиночестве. Днем я чувствовала себя еще сиротливей, чем ночью.

— У тебя не было в детстве друзей?

— Никогда не было. Кто будет играть с единственной дочерью царя?

Сатьяван отпустил руку девушки. Его тень сделала то же самое.

— Моими друзьями были только ночные светильники,— сказала Савитри.— И щербатая плитка пола в самом большом зале нашего дворца. Я забивалась в угол и разговаривала с плиткой. Но этот зал служил для приема подданных, там мой отец принимал тех, кто приходил к нему с какой-нибудь жалобой, и меня часто выпроваживали оттуда. Даже щербатая плитка не принадлежала мне.

— Почему, Савитри, ты всегда была такой одинокой?

— Видишь ли, из-за одиночества мне всегда было страшно... Почему я такая одинокая? Кто обрек меня на это? Когда я подросла, то узнала, что существуют боги и божья кара. И тут я испугалась остаться навсегда одинокой. Такова воля богов, подумала я, такова их кара.

— Но за что?

— Несколько недель назад один старый отшельник открыл мне, что за всякий грех есть своя кара. Кто украл необмолоченное зерно, станет крысой в будущей жизни. Кто совершил убийство, превратится в кабана. Кто познал запретную любовь, будет блуждать по сумрачному лесу и острые мечи поразят его насмерть.— Помолчав немного, она продолжала: — Но в чем грешна я? Какой грех карают боги одиночеством? Все отстраняются от таких, как я. Неужели в наш смертный час мы сможем говорить только с щербатой каменной плиткой?

Они повернули назад.

Две тени уже не следовали за ними. И не шли впереди. Тени слились с ними.

И тогда Савитри сказала:

— Я знала тебя и раньше, Сатьяван. Ты явился мне однажды во сне на одно мгновение. Когда я проходила по огромной пустыне, ты поднес мне напиток. И тут же исчез.

И они опять сидели на траве. Сидели на берегу совсем маленького ручейка, и крошечные золотые рыбки гонялись в воде друг за дружкой.

Савитри и Сатьяван смотрели не отрываясь на проворных рыбок.

— Тебе очень тяжело быть одной, Савитри?

— Очень тяжело.

— Ты больше не хочешь быть одна?

— Не хочу, Сатьяван.

— Тогда скинь свое расшитое золотом нарядное платье и останься со мной, здесь, в лесу.

Девушка затрепетала, словно тень бабочки.

— С тобой?

— Со мной.

И тут из папоротника и кустов жасмина вышел великий Кама, бог любви, а вслед за ним появилась его супруга, заклинательница и колдунья Рати, богиня весны, и Кама сказал, обращаясь к холму, деревьям, сияющему послеполуденному солнцу:

— Преклонитесь перед любовью.

Все услышали это, только Савитри и Сатьяван ничего не слыхали.

Глубокая тишина воцарилась вокруг, лишь дикая пчела жужжала неподалеку. И выпрямились примятые травинки на небольших следах в траве, оставленных девушкой и юношей. Рассеялась легкая дымка над дальним лесом. Косуля взглянула на них, затаив дыхание, и понеслась вверх по холму.

Кама натянул тетиву своего лука, и цветок вонзился в грудь Савитри.

Девушка вдруг почувствовала, как огромная тяжесть, невыносимая тяжесть спала с ее души. И можно было от этого умереть. И можно было кричать, ликуя.

Кричать, кричать!..

И она закричала:

— Я люблю тебя!

Пчела уже не жужжала, и косуля убежала далеко; все исчезло вокруг. И от сверкающего послеполуденного мира остались только они вдвоем.

— Как ты могла полюбить меня? — спросил Сатьяван.— Меня, сына изгнанного слепого царя. Меня, нищего дровосека. Меня, кому лучше скрывать свое имя, чтобы спастись от врагов. Меня, у кого от прошлого остались одни шипы. Меня, у кого будущее печальней и однообразней, чем пески в пустыне. Как ты могла полюбить меня?

— Но никого другого я не могу любить! — возразила девушка.— Ведь в прошлом ты принадлежал мне, но тогда я тебя не любила по-настоящему. Мы были разлучены. А теперь я буду любить тебя по-настоящему и никогда, никогда не покину тебя!

Юноша положил голову на грудь царевны.

— Я боюсь, Савитри! Когда я расстанусь с тобой, одиночество станет еще ужасней!

Сатьяван привлек к себе девушку, крепко обнял ее. Он не мог вымолвить ни слова.

Старый слепой царь сидел под сал-деревом, тянувшимся к небу. Подле него сидела молчаливая царица.

— Я уже никогда не покину этого леса,— тихо сказал царь Дьюматсена и повернулся в ту сторону, откуда доносился голос Сатьявана.

Савитри покорно склонила голову перед царем. Рядом с ней стоял Сатьяван.

— Мое теперешнее царство простирается от старого баньяна до сал-дерева. Прекрасное царство! В него входит яркое небо Индры.— Он поднял глаза кверху, словно действительно видел над собой голубое небо.— Мой царский дворец — это маленькая тростниковая хижина,— продолжал он немного погодя.— Ее построил мой сын. Тут я хочу умереть, в этом уголке, где много-много лет стоит моя постель.

Он обернулся. Словно действительно видел маленькую хижину, прилепившуюся к стволу баньяна, и в углу постель, устланную травой.

Наступила полная тишина.

— Что ты хочешь, девушка? Увести с собой моего сына? Пожалуйста!.. Судя по голосу, ты молода и красива. А по молчанию моего сына я догадываюсь, что он полюбил тебя. Веди его, куда хочешь.

— Я никогда не покину тебя, отец! — сказал тогда Сатьяван и взял царевну за руку.— Она тоже дала обет никогда не покидать меня. Ты так говорила, Савитри?

— Да! — решительно ответила девушка.

Потом снова разлилась тишина.

Слепой царь, не проронив ни слова, выслушал их. Они не знали, дремлет он или задумался, а может быть, заблудился в чаще своих дум и не находит обратного пути.

Молчаливая царица молча смотрела на них.

Уже стемнело, когда царь Дьюматсена заговорил наконец:

— Савитри, разве ты могла бы остаться здесь?

— Да,— ответила просто девушка.

— В лесу?

— Да, здесь, в лесу.

— И могла бы покинуть в одиночестве своего отца, раджу Мадры?

— Парвати повелел, чтобы девушки покидали своих отцов.

— Ты все обдумала? Сможешь ли ты расстаться с блестящим и утонченным двором своего отца?

— Мне никогда не захочется вернуться обратно!

— А знаешь ты лес?

— Я неделями блуждала по нему.

— Ты знаешь красивый и душистый лес. Но видела ли ты его, когда льют дожди?

— Хижина Сатьявана укроет и меня от непогоды.

— Знаешь ли ты диких лесных зверей? Удушливую жару? Унылую тишину?

Девушка улыбнулась.

— Сатьяван всегда будет со мной!

И тогда молчаливая царица поднялась с места и поцеловала Савитри.

Рассвет был здесь иным, чем в Мадре. Он был похож на вуали, сотканные из тонких, как паутина, золотых нитей. Они будто протянулись повсюду: между деревьями, над травой, над ближайшим холмом. А между колышущимися вуалями клубилась золотая дымка.

Савитри и Сатьяван сидели под смоковницей.

На дереве резвились две карликовые обезьянки в серебристых шубках. Они проворно гонялись друг за дружкой, но вдруг застыли на месте: увидели Савитри и Сатьявана. Увидели и засмеялись. Та, что была побольше, схватила засохший прошлогодний инжир и запустила им в девушку. Другая обезьянка прицелилась в юношу.

— Здесь! — обрадовалась Савитри.— Здесь выстрой наш дворец! Эти две обезьянки будут будить нас, если мы разоспимся. Они будут бросать плоды на крышу нашего тростникового дворца.

— Когда ты вернешься, здесь будет стоять наш дворец,— сказал Сатьяван.

— А ты вернешься? — спросил юноша с замиранием сердца.

Савитри уже стояла на колеснице, белые кони нетерпеливо переминались с ноги на ногу.

— Я должна поехать к моему отцу и сказать ему, что встретила тебя.

— А ты вернешься? — спросил ее во второй раз Сатьяван.

Царь Мадры, славный Ашвапати, принимал в это время гостя, мудреца Нараду.

Нарада славился как предсказатель. Он прожил больше ста лет, и сами боги открыли ему свои тайны.

— Ты красавица, Савитри,— сказал с улыбкой предсказатель девушке.— Ты красавица, и лицо твое светится.

— Твое лицо светится,— отвечал царь Мадры на приветствие дочери.— И твое светящееся лицо говорит мне, что ты нашла себе супруга.

Девушка стояла перед ним, раскрасневшись, как цветущее коралловое дерево, все в трепещущих на ветру розовых и красных цветах.

Царь Ашвапати привлек к себе дочь, поцеловал ее.

— А теперь скажи, кто его отец?

— Он был царем,— ответила тихо Савитри.

— Почему ты говоришь «был»? Разве он умер?

— Он жив, но ослеп.

— Где его царство?

— Под баньяном.

— Назови его имя!

— Великий Дьюматсена.

— Дьюматсена? — побледнев, прошептал предсказатель.

— Дьюматсена...— со вздохом произнес в задумчивости царь Ашвапати.— Я знал его в молодые годы. Он был великим царем... А ты ездила в Шальву, дочка?

— В Шальве правит уже другой царь, не Дьюматсена,— сказала поспешно Савитри.— У слепого царя Дьюматсены Шальву отобрал его младший брат. Старый слепой царь живет теперь покинутый всеми в лесу. В лесу Чамкавати. Он лишился престола, лишился всех своих сторонников. С ним только его жена и сын.

— И ты избрала сына Дьюматсены?

— Я люблю его!

Царь Ашвапати приласкал дочь.

— Я отправил тебя, Савитри, в этот путь. Я сказал тебе, найди себе мужа. И я приму твоего избранника. А теперь назови его имя.

— Сатьяван.

— Повтори еще раз! — воскликнул старый предсказатель.

— Сатьяван.

— Царь, славный царь! — запричитал Нарада.— Выбор Савитри неудачен! Она жестоко ошиблась!

— Потому что он беден? — спросила девушка.— Потому что он беден, как дровосек, живущий в лесу?

— Нет...— покачал головой предсказатель.

— Почему же он недостоин моей дочери? — спросил царь, подавшись вперед всем телом.

— Нет, нет! — повторил предсказатель.

Савитри и царь Ашвапати едва поняли бормотание Нарады. Но его страшный испуг, убежденность были красноречивей всяких слов.

— Я избрала Сатьявана! Сатьяван будет моим мужем! — закричала Савитри.

Она снова вспыхнула, порозовела, как прозрачный кристалл, освещенный разгоревшимся пламенем. И тут же упала в ноги царю Мадры.

— О, прости меня, отец, я так недостойно и громко говорила с тобой.

Она коснулась лбом холодного мраморного пола.

— А теперь помолчи, Савитри.— Царь Ашвапати помог дочери подняться с полу.— Говори! — обратился он к Нараде.

— Мне тяжело говорить... Не дозволено говорить...— пробормотал, запинаясь, предсказатель.

Словно непосильный груз пригибал его к земле; лицо подергивалось от боли.

— Говори же, мой старый друг,— продолжал умолять его царь.— Отбрось свои сомнения. Скажи, что тебя тревожит.

— Сатьяван!.. Сатьяван!..— Нарада не мог произнести ничего, кроме имени лесного царевича. Он беспрестанно твердил: — Сатьяван!.. Избери кого угодно, только не его. Любого другого, только не Сатьявана, сына слепого царя Дьюматсены.

Девушка обратилась к прорицателю:

— Мудрый Нарада, ты знаешь Сатьявана?

— Я знаю о нем все.

Царь Ашвапати испуганно спросил:

— Может быть, он трус?

— Это мой Сатьяван?! — воскликнула Савитри.— Даже тигры обходят его стороной.

Нарада молча кивнул головой.

— И ты утверждаешь, что Савитри не должна быть его женой? — спросил снова царь.

— Да.

— Может быть, он вспыльчив?

Савитри не успела ответить: ее опередил Нарада.

— Он не ведает гнева. Ему чужды грубые страсти.

— Может быть, он безобразен? У него уродливое тело? Некрасивое лицо? — в страхе допытывался царь.

Предсказатель только отрицательно качал головой.

— И, однако, ты настаиваешь на том, чтобы она не возвращалась к нему? — продолжал спрашивать царь.

— Только это могу я сказать,— упрямо твердил предсказатель.

Царь Ашвапати встал с места.

— Ты должен ответить, Нарада, почему Савитри не следует выходить за него замуж. Мне необходимо знать причину. Почему?

Предсказатель обратил свой взор ввысь.

Словно дни или целые годы протекли прежде, чем он раскрыл рот. Наконец он сказал:

— Потому что Сатьяван вскоре умрет.

Царь Ашвапати привлек к себе дочь, обнял ее.

И предсказатель теперь уже неумолимо, поспешно договорил все до конца:

— Он вскоре умрет. Ровно через год придет за ним Яма, великий бог смерти и справедливости, с веревкой в руке, свяжет его и уведет с собой в царство мертвых.

У старого царя задрожали колени, он бессильно опустился на мягкий широкий диван. По сверкающему роскошью залу пролетела птица. Все вздрогнули, словно она коснулась их.

— Ты останешься здесь, моя крошка Савитри. Я не отпущу тебя в лес Чамкавати.

— Отец, не гневайся на меня! Я поеду туда! Не гневайся на меня, отец, но я не покину его! — услышали царь Ашвапати и предсказатель.

— Он скоро умрет,— рыдал старый царь.

— Неужели ты не поняла, несчастная? — восклицал в отчаянии Нарада.— Через год он умрет.

— Год я буду его женой.

Царь Ашвапати обнял плачущую Савитри:

— Завтра мы отправимся к царю Дьюматсене в лес Чамкавати. Ты выйдешь замуж за Сатьявана, ни за кого другого. Я обещаю тебе это.

И на другой день они отправились в далекий, далекий лес Чамкавати, где изгнанный раджа, слепой Дьюматсена, блуждал в чаще снов.

Они ехали не на колеснице молодой царевны, а в экипаже, сопровождаемые большими повозками.

Царь Ашвапати взял с собой своих придворных священников; повозки были нагружены приданым Савитри.

Выйдя им навстречу и проведя целый день в пути,

Сатьяван уже слышал хруст веток и скрип медленно приближающихся к нему повозок.

К приезду невесты молчаливая печальная царица сплела из трав большой ковер. Ковер получился огромный, мягкий, пестрый и душистый; его украшали белый жасмин, красный мак, синие и желтые крокусы. Там прекрасно сочетались пышный амарант и скромный ноготок.

На этом ковре под сал-деревом сидел царь Дьюматсена и ждал своих гостей.

Старые цари горячо обняли друг друга. Они оба плакали. Ашвапати — потому что дочь его будет такой несчастной. Слепой Дьюматсена — потому что сын его будет таким счастливым.

На следующий день брамины устроили свадебную церемонию. Савитри и Сатьявану словно снилось все это: покорно, с торжественной неторопливостью обошли они вокруг священного огня. Царевна точно парила в облаке фаты, в благоухании камфоры и сандала. На шее, на запястьях рук и ног у нее сверкали дорогие украшения. Высоко взвивалось пламя, поглощая принесенные в жертву рис и коровье масло. Три раза обошли они вокруг священного огня. Потом жених, согласно обряду, бросил на платье невесты самое красивое кольцо. И девушку окропили ароматными маслами.

Еще не кончилась свадебная церемония. И сон.

Но огонь вдруг ярко вспыхнул, речь браминов зазвучала громче,— Савитри вздрогнула. Заглушая треск огня и песнопение, до нее неожиданно долетели слова предсказателя, страшные слова Нарады: «Через год он умрет!»

Она испуганно посмотрела по сторонам.

Остальные пели, никто ничего не слышал. С щемящим сердцем заглянула она в лицо Сатьявану. Он был молод, красив, счастлив. Он не спускал с нее глаз.

На другой день уехал ее отец; вместе с ним уехали и брамины.

Новобрачных оставили одних.

— Савитри, что ты делаешь?

Это спросила молчаливая царица. Она стояла за спиной царевны и, по-видимому, уже давно наблюдала за ней.

Савитри застал врасплох вопрос царицы, и она не смогла сразу же ответить.

Она складывала свои вещи.

— Почему ты складываешь вещи? Ты уезжаешь?

— Я убираю свое приданое. Зачем мне здесь, в лесу, мои шелка и массивные украшения?

И тогда царица заметила, что Савитри уже сняла свое нарядное платье.

Молодая царевна стояла перед ней в одежде лесных жителей: бедра ее прикрывала красная лубяная юбочка. Ее юное девичье тело робко, стыдливо дрожало от холода.

И тогда молчаливая печальная царица во второй раз поцеловала Савитри.

— Почему, Савитри, ты смотришь на все с таким любопытством?

Это спросил Сатьяван. Ведь Савитри подолгу с удивлением рассматривала все вокруг.

Она считала, что хорошо знает своего мужа и только теперь заметила у него на лбу тонкую вертикальную морщинку. Морщинку, говорящую о постоянных заботах. Ведь Сатьявану приходилось думать обо всем. Об их хижине. О диких зверях. О смене времен года. Обо всем.

А теперь она увидела на его стройной обнаженной ноге шрам и свежие ранки. Их приносил ее муж из леса.

Теперь она узнала пожатие его сильной руки. Разглядела большие рубцы возле левого локтя. Он поранил себя, натягивая тетиву лука.

Теперь Савитри услышала его смех.

Однажды ночью она проснулась. И долго, долго сидела на травяной постели. Смотрела, как спит Сатьяван. Тогда впервые услышала она его дыхание.

И ночь здесь была не похожа на ночи в Мадре. Тяжелая, густая тьма. Все вокруг сжалось от страха, даже распускающиеся кроны деревьев. И вдруг этот голос! Этот все заглушающий голос, низкий, разящий, как удар меча. И вслед за ним короткий, отрывистый лай. Затем тихое приближающееся чириканье.

— Что это такое? — Молодая женщина в испуге принялась будить среди ночи мужа.

Сатьяван прислушался, потом растянулся на спине.

— Это дикие лебеди,— с улыбкой ответил он и привлек к себе Савитри.

А ночные ливни! Когда бесконечно долго хлещут потоки воды по листве. И дождь барабанит по крыше. И бормочущие, журчащие ручейки пробегают перед порогом.

И в лесной чаще плачет какой-то зверь. И ветер налетает на дождь. Глухой стук, потом снова лепет, всплеск. Кто осмелится в одиночку взглянуть в лицо такой ночи? Молодая женщина судорожно обнимала мужа и рыдала от счастья, что она не одинока. И думала о бесконечном сиротстве, которое придет, когда Сатьявана уже не будет с ней.

В другие ночи налетал ветер. Он приносил с собой запах грибов, опавших листьев, мха. Ветер был горьковатый и чистый. Веселый и сильный. Он разгонял тоску.

Рассветало, и новый день шагал к ее двери гордо, как павлин. Савитри провожала взглядом Сатьявана, направляющегося в лесную чащу.

Она еще не совсем знала своего мужа. Не знала, как он любит шутить.

Недавно Савитри была смелой. Чуткой, немногословной, послушной и смелой. Теперь она стала робкой и даже трусоватой.

Прежде на своей легкой колеснице ездила она одна по лесам, по пескам пустыни, по многобашенным городам, где жили чужеземцы, по неведомым странам. Теперь же она предпочитала не расставаться с баньяном, со слепым царем и молчаливой царицей. Или сидела под своей смоковницей.

Если Савитри отваживалась уйти одна подальше от дома, то тайком делала на деревьях зарубки: две тонкие горизонтальные черточки. Чтобы найти дорогу обратно.

Сатьяван увидел эти зарубки и улыбнулся.

— Ты заблудишься,— сказал он.— Такие же знаки оставляют на деревьях олени, когда трутся о ствол своими замшелыми рогами.

Савитри приняла это к сведению и стала делать другие зарубки: кружки, рассеченные горизонтальной чертой. И это не ускользнуло от внимания Сатьявана.

Чаще всего молодая женщина решалась углубиться подальше в лесные заросли в поисках зеленых гранатов. Она приправляла ими рис. Блуждая по лесу, Савитри полюбила маленьких черных медвежат. Иногда после полудня она по нескольку часов наблюдала за ними. Как они борются друг с дружкой или кувыркаются на склоне холма, поросшего редким лесом. Она хохотала, когда они, словно на санках, скатывались вниз, в пропасть.

Как-то раз она отправилась за гранатами.

Сатьяван незамеченный пошел за ней следом.

Он стесал с деревьев все зарубки Савитри, а потом, отойдя далеко от дома, стал вырезать на стволах кружки, ведущие совсем в другую сторону.

Через некоторое время Савитри набрала полную корзину гранатов и повернула обратно.

Она шла, шла, а смоковница все не показывалась. Савитри шла вниз по долине, вверх по незнакомым тропам; с изумлением и страхом глядела по сторонам, недоумевая, как попала сюда. Но кружки, пересеченные черточкой, указывали ей путь. И она доверчиво брела дальше.

Наконец она очутилась в глубоком ущелье, в густом кустарнике, чередующемся с карликовыми деревьями. Лозы обвивали ей ноги, словно хотели ее удержать. Она испуганно смотрела, не прячется ли кто-нибудь в кустах. Там никого не было. Савитри отгибала одну ветку, а другая вероломно хлестала ее по лицу. Так обошелся с ней кустарник.

Как только Савитри выбралась оттуда, места стали совершенно незнакомыми. А ущелье еще более чужим и враждебным.

Наконец она поняла, что заблудилась.

Но как могли заблудиться вместе с ней зарубки на деревьях?

С тревожно бьющимся сердцем оглянулась она назад. Куда же теперь идти по этой коварной тропе? В чащу, перевитую вьюнком и другими растениями? Или в другую сторону? Но докуда? А что, если зарубки на деревьях уведут ее еще дальше от дома?

Тропка резко свернула в глубь ущелья.

А на дне его что-то шевелилось. Сначала кусты. По их трепетанию, по треску веток можно было догадаться, что кто-то пробирается через них. Вот уже сквозь заросли проступили очертания какого-то огромного существа.

И наконец оно показалось во весь свой рост.

Это был большой черный медведь. Не маленький медвежонок, из тех, что с повизгиванием скатывались в пропасть, а взрослая медведица. Она передвигалась на задних лапах, мрачная, угрюмая.

Савитри знала, что теперь ей надо спасаться бегством. Но знала также, что попытки ее будут тщетны. Медведица все равно догонит и схватит ее.

Савитри испуганно впилась глазами в огромного зверя. Испуганно и изумленно. Ведь медведица держала в левой

лапе большой деревянный кубок, полный дикого риса. Она с поклоном подошла к молодой женщине.

— Прими, Савитри,— сказала она дружелюбно и совершенно отчетливо на человеческом языке. На Савитри нашло какое-то странное оцепенение.— Прими мой скромный подарок, дикий рис к зеленым гранатам.

Протягивая деревянный кубок, медведица стояла перед ней уже совсем близко.

И тут с нее спала медвежья шкура.

Это был Сатьяван, державший в руке кубок с диким рисом. Сатьяван переоделся медведицей. Он заманил Савитри в это ущелье, чтобы тут внезапно напасть на нее.

Вся любовь Савитри вылилась в радостном крике.

Такого Сатьявана она раньше не знала.

Савитри пела.

Старый слепой царь просил молодую невестку спеть что-нибудь. И Савитри пела в одном из просторных залов дворца под баньяном или присев под сал-деревом.

Царю Дьюматсене больше всего нравилась шуточная песенка о буйволе. Волшебница, богиня Майя, наделила черного буйвола человеческими глазами, чтобы он узрел мир в его первозданной красоте. И после этого ленивый, неповоротливый, толстый буйвол не мог пройти мимо цветущего миндального дерева, чтобы не спеть о нежном шелке его розовых лепестков. Он становился на колени перед распустившимися лотосами на берегу озера. С благоговением смотрел на утреннюю зарю. И влюбился. Влюбленный в звезды, хотел выловить их ночью из реки...

Царь Дьюматсена забывал о раскаянии и священном трепете перед богами. Он беззаботно смеялся над буйволом, который опустился на колени перед цветущим, розовым миндальным деревом...

— Нет, я спутал...— со смехом поправлялся он.— На берегу озера стоял на коленях буйвол.

Савитри пела.

Но иногда ее пронимала дрожь от горя и страха. Она вспоминала предсказание Нарады: «Через год он умрет...»

Сатьяван тоже сидел рядом с ней и потешался вместе со своим отцом над глупым буйволом.

Шкатулка с золотыми обручами стояла в траве перед молчаливой царицей. Шкатулка, в которой давно сгнило дерево и остались только перевитые обручи, служила теперь клеткой.

Но эта клетка уже не пустовала. В ней всегда обитало несколько птичек. Разноцветных птичек с чудесным оперением. Они переливались красками, как огромные, с кулак, сапфиры, алмазы, рубины, топазы и изумруды. Как неведомые, загадочные лунные и солнечные камни.

Это действовали чары Савитри.

Молодая царевна была такая красивая, простодушная, беззащитная и в то же время строгая, что птицы повиновались одному ее взгляду. Понимали, о чем она просит их.

А она просила, чтобы порхающие птички посидели несколько дней в клетке с золотыми обручами. И так трогательно просила, что птицы ее слушались. Клетка всегда была полна их сверкания и блеска.

Красноголовый королек уживался там с крапивником, овсянка — с варакушкой, огненно-красный снегирь — с горихвосткой, жаворонок — с синеголовой крачкой, райская мухоловка — с дроздом, милый тростниковый сверчок — с розоватым зябликом и красношеяя камышовка — с трясогузкой.

Шкатулка молчаливой печальной царицы превратилась в настоящую шкатулку с сокровищами. В ней сверкали и щебетали драгоценные камни.

Царица улыбалась.

— Савитри, к чему ты прислушиваешься?

— К журчанью ручья.

Савитри сидела на траве. Сатьяван стоял рядом с ней.

Уже миновали недели дождей. Трава стала свежей, мягкой, зеленой. Ручей громко, назойливо журчал.

Сатьяван наклонился к жене:

— Помнишь, мы сидели здесь год назад...

Перебив его, Савитри воскликнула, закричала:

— Год не прошел еще... Не прошел!..

Но сильней всего затосковала она, когда услышала, как плачет бамбуковое деревце.

Летом в чаще лесной часто вспыхивали пожары. Стоило сверкнуть в небе молнии, как уже пылало несколько кустов или деревьев.

Иной раз лишь небольшое пространство, как комната в доме, заполнялось пеплом и дымом. Но подчас шипящие красные огненные реки устремлялись вниз по горным склонам. Тогда обращались в бегство обезумевшие от страха птицы. Тяжелый запах гари проникал повсюду. И дым, дым! Ветер вздымал его ввысь, как огромную вуаль. Но дым был слишком тяжел, он снова опускался на землю. Разносил копоть, окутывал и душил все. Он любил ползти, как змея. И, расплескав вокруг красное пламя, вдруг умчаться дальше.

Как прекрасно умел Сатьяван защищать их дом от огненной стихии!

Иногда достаточно было выдернуть загоревшиеся кусты. Иногда ему приходилось расчищать от деревьев целые участки леса. Комок подступал к горлу, и отчаянно билось сердце в тот ответственный час, когда надо было запалить встречный огонь. Когда огненная река устремлялась прямо на Савитри и Сатьявана и казалось, она прокатится по баньяну и смоковнице. В этих случаях Сатьяван заранее приготовлял все необходимое и, сообразуясь с направлением ветра, быстро разжигал встречный огонь. И огонь, их маленький огонек, поднявшись из травы, бежал вперед, как преданная собака вслед за хозяином. Сначала он был небольшой, но потом взвивался кверху и обрушивался на мчавшуюся навстречу красную лавину. В вышину вздымались снопы пламени, две огненные реки душили друг друга. Они кружились, ревели, отступали, а потом вдруг снова взмывали в небо. Но встречный огонь уже успевал выжечь большую полосу леса, и это поле пепла не мог преодолеть угрожающий людям красный поток. Две огненные реки в борьбе убивали друг друга.

Но молодое бамбуковое деревце Сатьяван однажды не сумел спасти.

Савитри вблизи наблюдала его гибель.

Прежде чем на него успел напасть огонь, ветер взлохматил длинные кудри его зеленой кроны. Казалось, деревце машет на бегу своими ветками. Вдруг пламя взбежало по стволу до самой верхушки. Будто атакующий тигр, оно впилось в дерево, стало раздирать его.

И тогда бамбук перестал гнуться. Он застыл, точно парализованный. Стоял твердо, совершенно неподвижно. На его зеленой кроне вдруг взвились десятки золотых змеек. Деревце осталось таким же, как было: не изменилось очер-

тание ствола, красивый узор веток и листьев. Но оно обуглилось, превратилось в трепещущий красный остов.

А прежде чем это произошло, бамбуковое деревце заплакало. Савитри совершенно отчетливо слышала его плач. Оно плакало, как ребенок. Роняло горючие слезы.

Когда на другой день Савитри прикоснулась к нему, оно тут же упало. Целиком рухнуло на землю. От него остался лишь маленький холмик пепла.

«Неужели и я буду так же плакать? — спросила себя Савитри.— Неужели и я так же рухну на землю?»

Месяцы пролетали, точно на крыльях. Они взвивались в вышину, улетали стаей. Это было чудесное лето. Не донимала сильная жара, не засохла преждевременно зелень.

Однажды ночью Савитри внезапно проснулась в тревоге: осталось всего три дня.

Всего три дня осталось жить Сатьявану. Три дня!

Неужели он должен умереть?

Ведь может вмешаться Вишну, хранитель жизни! Грозный Шива может пощадить Сатьявана!

Она будет молиться богам. Соблюдать пост. Впереди еще целых три дня; три дня проведет она в постах и молитвах.

На заре пришла она к баньяну и попросила у старого слепого царя разрешения поститься три дня.

— Ты слабенькая, Савитри. Почему ты хочешь три дня поститься?

Молодая женщина молчала.

— Время самого строгого поста еще не пришло. Почему ты выбрала именно эти три дня?

Савитри не поднимала на него глаз. Тогда старый царь Дьюматсена понял, что коснулся тайны и не вправе расспрашивать больше.

Он прижал к своей груди голову молодой женщины.

— Если ты дала обет, то сдержи его.— Немного помолчав, он спросил:— А Сатьяван знает, почему ты собираешься поститься?

— Нет.

В это время к баньяну пришел Сатьяван, чтобы принести утреннюю жертву. Слепой царь сказал ему:

— Я хочу, чтобы Савитри три дня соблюдала пост.

И Савитри, хрупкая, как птичка, три дня простояла неподвижно, точно превратилась в смоковницу.

Она заклинала Шиву помиловать ее мужа.

Про себя молила она Шиву: «О могущественный, из любви и жадности к жизни ты уже девять раз рождался заново, отведи же смерть от Сатьявана!»

Но боги не слышали ее вздохов, а слова не слетали с ее губ.

На третью ночь ей явилось видение. Перед ней предстал предсказатель Нарада.

— Ты несчастная!..— начал он.

У Савитри потемнело в глазах. Но у нее достало силы прогнать от себя видение.

На рассвете в тот лес случайно забрел один скитающийся по миру отшельник. Он увидел, как на фоне разгорающейся зари, клубящейся золотыми парами, стоит молодая женщина лучезарной красоты. С почтением приветствовал он ее, как подобает приветствовать на заре молодых женщин:

— Желаю тебе не быть никогда вдовой.

Тут наконец, по прошествии трех дней, Савитри пошевельнулась. Глубоко вздохнула, удовлетворенная, усталая.

Голос отшельника прозвучал глухо, надтреснуто, точно обломившаяся прошлогодняя ветка. Но Савитри показалось, будто смилостивившийся над ней Шива сказал: «Ты не станешь вдовой!» И хранитель жизни, освещающий мир Вишну кивнул в знак согласия: «Да будет так!»

На мгновение она закрыла глаза.

И тогда снова явилось видение. Опять перед ней стоял Нарада. Насмешливо, грозно и беспощадно он произнес:

— Желаю тебе не быть никогда вдовой!

Но в устах Нарады это приветствие получило иной смысл: «Желаю тебе не быть никогда вдовой, потому что это ужасная участь!»

Савитри попыталась раскрыть глаза, но у нее не хватило на это сил.

Она упала на землю. Но тут же снова встала, застыв на месте.

— Я споткнулась,— спокойно сказала она Сатьявану, который, услышав громкий голос отшельника, поспешил к жене.

Савитри мерещилось, что вокруг ее головы с жужжанием кружится рой ос, но она все же улыбнулась мужу.

— Ты ведь знаешь, какая я неловкая. Не тревожься!

Она лишь взглянула на Сатьявана. Неужели они последний день вместе? Так взглянула на него, словно вот-вот должна его лишиться. Потом с трепетом вцепилась в мужа.

Сатьяван тоже как будто заразился ее волнением. Он прижал Савитри к груди и долго ее не отпускал.

— Савитри, я должен идти в лес. Береги себя!

— Ты уходишь? — Молодая женщина широко раскрыла глаза.

— Я иду за дровами и лесными плодами. К полудню вернусь домой.

— И я пойду с тобой!

Голос у нее был твердый, как камень.

Она знала: сейчас решается их судьба!.. Сейчас... нельзя оставить его одного!

Савитри испугало, что голос ее прозвучал так твердо. Что, если этой твердостью она все погубит!

— Позволь мне пойти с тобой!..— стала она умолять мужа.

— Мой отец, наверное, не позволит,— нерешительно возразил Сатьяван.

Молодая женщина побежала к слепому старому царю.

— О, разреши, разреши мне пойти с ним! Ведь ты разрешаешь?

Царь Дьюматсена услышал взволнованный голос невестки и снова почувствовал, что здесь кроется тайна.

Он беспомощно развел руками:

— Ты, Савитри, собираешься в лес? После трехдневного поста?

— Я не могу отпустить его одного! — вырвалось у Савитри.

Царь Дьюматсена долго хранил молчание, словно испрашивал совета у своих снов.

Молодая женщина не спускала с него обезумевших глаз.

— Я не могу отпустить его одного!

— Тогда ступай...— проговорил наконец слепой царь.— Целый год ты ни о чем не просила, и мы не вправе отказать тебе в твоей просьбе.

Было еще раннее утро. Кое-где на верхушках деревьев заспавшиеся лентяи павлины, испуская крики, чистили свои перышки и трясли отяжелевшими от сна головами.

Потом Савитри и Сатьяван видели скворцов, синих и желтых скворцов.

Сатьяван взял с собой топор для рубки леса и колки дров. Савитри — плетеную корзину для сбора лесных плодов.

Точно огромная яркая птица взвилась в вышину. Они посмотрели на небо. Это взошло солнце.

Савитри и Сатьяван пробирались среди деревьев.

Еще никогда не видели они такого свежего, нежного и прохладного леса. Их провожало журчание родника. На берегу мелкого озерка им попалась стая чирков, коричнево-белых чирков-свистунков.

— Смотри, Савитри, чирки! — закричал Сатьяван.— Жаль, что я не прихватил с собой лук. Как высоко они взлетели!

Савитри посмотрела им вслед.

— Смотри, Савитри, бабочки!— воскликнул он немного погодя.— Взгляни на эту темно-синюю! На темно-синюю в рыжую крапинку! Наклонись, она у твоих ног.

Савитри наклонилась.

— Ты слышишь, Савитри? Ястребы! Ты слышишь их громкие скрипучие голоса?

Савитри прислушалась к крику птиц.

Сатьяван был такой беззаботный, по-мальчишески веселый.

— Смотри, Савитри, ручей! Наш ручей! Здесь он убегает от нас, низвергается в ущелье.

Савитри посмотрела на ручей. Но она не слышала ни журчанья бегущего по камням ручья, ни голосов ястребов. Она не видела ни чирков, ни бабочек.

Ужалит ли его змея? Упадет ли на него срубленное дерево? Закружится ли у него голова на краю пропасти?

Она крепко сжала руку мужа. Посмотрела по сторонам.

Когда это произойдет? Откуда обрушится на них несчастье?

Все произошло совсем иначе. Они были уже в березовой роще, хотели заготовить березовых дров.

— Вали эту!.. И эту!.. И эту!..— кричала Савитри, забегая вперед.

И она делала зарубки на совсем молоденьких березках. Эти не опасно валить. Они легкие, как бабочки, и не могут повредить ее мужу.

Сатьяван улыбался.

— Хорошо!.. Эту!.. И эту... И эту...

И упала на землю первая молодая березка. А Сатьяван продолжал улыбаться. Затрещало второе деревце. И ничего не случилось.

Свистел топор, хрустели ветки.

Потом внезапно воцарилась тишина.

Савитри поглядела на мужа. Он опустил топор, утер вспотевший лоб. Все лицо его было покрыто потом.

Она подбежала к нему, крепко обняла его. Сатьяван покорно смотрел на нее. Она осторожно посадила его на землю, он не противился.

— Мой милый, что с тобой?

Сатьяван попытался улыбнуться.

— Ничего, ничего!.. Но от этого удара топором... от этого удара... У меня заболела голова...

— Ты весь дрожишь!

— Скоро пройдет.

Они замолчали. Лес вокруг тоже молчал. Сразу наступила зловещая тишина.

— Очень больно,— сказал через некоторое время Сатьяван.

— Положи голову мне на колени.

Побледнев, молодая женщина обеими руками обхватила красивую голову любимого, стала нежно гладить его, целовать.

— Словно кол вбили мне в лоб...— снова заговорил Сатьяван.— Очень больно!..

Савитри не отвечала, лишь ласкала и целовала мужа.

Лес молчал, она в страхе прислушивалась.

И Сатьяван произнес всего лишь пять фраз:

— Я не могу пошевельнуть рукой...

— Мое сердце...

— Я чувствую, как оно разрывается на части.

— Хорошо бы поспать.

Долгое, долгое молчание отделяло одну фразу от другой.

И потом он прошептал в заключение:

— Савитри, Савитри...

Сатьяван замолк, не смог закончить последней фразы. Он больше не говорил, не шевелился.

И Савитри сразу поняла: вот оно! Это мгновение!

Она бережно положила на мох голову мужа. Своего Сатьявана. Единственного. Незабвенного.

Потом встала и только теперь заметила, что у нее за спиной стоит какой-то мужчина. Очень высокий мужчина

в пурпурной одежде, и на голове его сверкает драгоценными камнями золотая корона. Лицо у него смуглое, глаза горят рыжими огоньками. Это был удивительно рослый, удивительно высокий мужчина.

Он стоял с длинной веревкой в руке и уже давно не спускал глаз с побледневшей молодой женщины.

Савитри вздрогнула, но в сердце у нее не было страха.

— Я знаю, ты бог,— с почтением приветствовала она незнакомца. Потом печально спросила:— Скажи, что ты хочешь?

Высокий мужчина молчал.

— Кто ты такой? — тихо проговорила Савитри.

Тогда мужчина в пурпурном одеянии, с золотой короной на голове ответил с прискорбием:

— Я Яма. Бог смерти.

— Что тебе от меня надо?

— От тебя — ничего.

— Ты знаешь, кто я?

— Ты Савитри.

— Мой муж спит,— прошептала женщина, указывая на Сатьявана.— Не будем нарушать его сон.

— Твой муж мертв,— сказал свысока бог.— Я пришел за ним.

— Могущественный Яма, что тебе надо от него? — спросила Савитри, загородив собой мужа.

— Я заберу его душу в царство мертвых. Кто умер, там его место.

— О, оставь мне Сатьявана, моего Сатьявана!— громко и с таким простодушием взмолилась прекрасная молодая женщина, что задрожали деревья в лесу. Они закачались от ее крика.

— Я не могу это сделать,— печально ответил бог.

Он наклонился над неподвижным Сатьяваном, сильной рукой вырвал душу из его оцепеневшего тела. И эту дрожащую от холода душу крепко связал длинной веревкой.

— О, не уходи! Отдай мне Сатьявана! — еще громче закричала Савитри.

Приникшие к земле травинки, притаившиеся в лесу звери точно ждали, что же ответит бог.

— Я не могу это сделать...— повторил Яма и зашагал, унося с собой связанную душу Сатьявана.

Белое тело юноши осталось лежать на мху. Савитри с рыданием припала к нему. Но потом вскочила и побежала за богом.

Могущественный Яма направился вниз по сумрачной долине.

Савитри пустилась за ним вдогонку.

Куда бы ни шел бог, Савитри шла за ним по пятам.

— Что ты хочешь от меня? — спросил, оглянувшись, Яма.— Почему ты следуешь за мной?

— Величайший Яма, я следую не за тобой. Я не отстаю от тебя лишь потому, что дала обет никогда не покидать моего Сатьявана.

— Сатьяван остался там, в березовой роще.

Савитри смиренно возразила:

— Сатьяван здесь, с тобой.

Бог молча зашагал дальше.

— Постой, Яма! — с замирающим сердцем взмолилась тогда Савитри.

— Что ты хочешь?

— Не волоки за собой по земле моего связанного Сатьявана.

— Он не чувствует боли.

— Очень прошу, все же не делай этого.

Тогда Яма легко забросил себе на плечо душу Сатьявана.

— Я восхищен твоей любовью, преданностью, мужеством. Попроси меня о чем-нибудь... Я исполню твою просьбу.

— А ты не можешь отдать мне Сатьявана?

— Нет.

Савитри сомкнула веки, но задумалась лишь на мгновение.

— Сделай так, чтобы прозрел царь Дьюматсена... И получил обратно свое царство.

— Сейчас царь Дьюматсена уже видит! А завтра получит обратно свое царство! — громко, повелительно произнес бог.— А теперь иди обратно, Савитри!

— Я не могу!

Тут Яма вступил в смолисто-черный мрак глубокой-преглубокой пропасти и стал огромными шагами удаляться от молодой женщины.

Спотыкаясь, едва дыша, с тревожно бьющимся сердцем бежала за ним Савитри.

Яма держал путь на юг, в свое далекое царство.

Пропасть осталась позади, теперь он взбирался на гору. По узкой тропе среди скал и круч.

На склоне горы бог остановился.

— Савитри, не иди дальше за мной! Ты слабенькая, тебе не подняться на вершину.

— Когда Сатьяван рядом со мной, я делаюсь сильной.

— Тебе с твоими слабыми силенками не одолеть этой кручи.

Но Савитри уже перестала задыхаться, она почувствовала в себе прилив новых сил.

— Я ходила с Сатьяваном вокруг свадебного костра. Отныне его путь — это мой путь. Куда ты его унесешь, там будет и мое место.

— Неужели ты успела так полюбить его за год?

— За год? — Молодая женщина покачала головой.— Если люди созданы друг для друга, им достаточно первой встречи. Я полюбила Сатьявана с первого взгляда.

Яма сбросил ношу со своего плеча.

— Савитри, а что такое любовь? Что так пленяет душу? Вкус поцелуя?

— И вкус поцелуя.

— Сладость объятий?

— И сладость объятий.

— Радость?

— Несказанная радость.

— Это и есть — любовь?

— Это?.. Лишь крохи!

— Но скажи мне, что связывает тебя с Сатьяваном? Что за сильное чувство?

— Тебе ли не знать, могущественный Яма? — ответила Савитри, глядя в горящие глаза бога.— Ты спрашиваешь, что такое любовь? Обретенный мир! Где поцелуй — лишь кроха. И радость — лишь кроха. Как-то раз я сказала Сатьявану...— Лицо молодой женщины содрогнулось от страшной боли, боли воспоминаний, но на нем сияла счастливая улыбка.— Как-то раз?.. Нет, в первый же день, когда мы встретились! Я сказала ему тогда: я обнимаю тебя так, словно вместе с тобой обнимаю цветущее дерево, нагретые солнцем травинки, загорающиеся звезды! И все, что нас окружает. Вот почему я переродилась. Ведь любовь освобождает людей от рабства. От себялюбия. Как ужасно, когда мир человека ограничен им самим и так же мал, как он. А любовь не знает границ. Пока мы одиноки, мы можем лишь предаваться мечтам. Но мир прекрасней, чем мечты. В жизни у каждого свое бремя, в радости свои шипы; к счастью ведет всегда трудный путь. И этот сложный мир прекрасней, чем легковесные мечты.— Она про-

должала смотреть в глаза богу.— А ты, Яма, отнял у меня все это! Оторвал меня от этого мира! Отнял не только Сатьявана, но и всех людей. Ты похитил у меня не только радость, но и эту травинку, и это облако, все малое и великое, что вызывает радость. Живой мир снова превратился в мир теней. Наконец, ты отнял у меня даже лесные плоды, которые я нарвала для Сатьявана. И ни к чему теперь вопрос, который я для него приберегла и на который только он мог ответить. И печаль моя только ему на этом свете могла причинить боль...

Она замолчала, не в силах была продолжать.

Сострадание заговорило в боге.

— Этот мир, Савитри, остался твоим. Ты узнала его и не можешь покинуть.

— Но он мне больше не нужен! — воскликнула она.— До сих пор мы вдвоем несли бремя жизни. Как я справлюсь одна с этой ношей? Слишком она велика, непосильна, а я слабая. Нет, нет!..

Яма подал знак солнцу не светить так ярко. И тихим свистом позвал самый юный, самый легкий ветерок, чтобы он приласкал Савитри.

— Чем я могу помочь тебе, Савитри? Пожелай чего-нибудь, я исполню.

Молодая женщина подставила лицо нежному, треплющему волосы ветру.

— Могу я попросить тебя вернуть мне Сатьявана?

— Нет.

Она на минуту склонила в задумчивости голову, но тут же ее подняла:

— Жизнь моего отца очень печальна. Он всегда просил в молитвах дать ему сына, а вы, могущественные боги, ниспослали ему только меня. Утешь моего отца, Яма. Пусть родится у него сын! Пусть он будет счастлив и не прекратится род царя Ашвапати!

— Ты, Савитри, хорошая и преданная дочь. Твой отец не будет больше печалиться. У него родится сын!.. Сколько сыновей ты желаешь ему?

Савитри улыбнулась.

— Сотню.

— Еще сто лет ему царствовать, и пусть родится у него сто сыновей!— Нагнувшись, Яма поднял связанную душу Сатьявана и опять взвалил себе на плечо.— Вернись к его телу, Савитри. Доставь его домой и похорони, как положено. Примирись, так должно было случиться.

Она робко возразила:

— Там уже нет Сатьявана, великий Яма. Мой Сатьяван здесь, у тебя. Я останусь с ним.

И они пошли дальше, по-прежнему на юг.

Молодая женщина почтительно следовала за грозным богом.

— Савитри, подойди ко мне! — позвал ее через некоторое время Яма.

Она поспешно приблизилась к нему.

— Ты не боишься? — спросил, глядя на нее, могущественный бог.

— Кого?

— Меня.

— Тебя? Почему я должна тебя бояться?

— Я бог смерти.

Савитри лишь теперь заметила на лице бога следы печали. Это была не мимолетная, а вечная печаль.

— Я не боюсь тебя,— тихо, но твердо ответила она.

Яма остановился.

— Ни один смертный не говорил мне этого. До сих пор все с робостью, с беззвучным плачем или с громким криком лишь заглядывали мне в лицо. Даже самые смелые. Только ты не боишься меня. Так попроси же у меня еще что-нибудь... Ты права, одиночество ужасно. Попроси у меня что-нибудь, раз ты отважилась идти за мной.

Савитри думала о похищенном богом Сатьяване, у которого отняли весь мир.

— Пусть родится у меня сын от Сатьявана, чтобы не было впереди страшного одиночества.

Печальный бог в пурпурном одеянии кивнул головой.

— Да будет так! Да будет у тебя сын от Сатьявана!

Прошли долгие часы.

Наконец Яма остановился.

— Ты сказала, что не боишься меня.

— Да, так я сказала.

— А почему, Савитри, ты не боишься меня? Ты должна объяснить мне и это.

На лице молодой женщины снова появилась грустная улыбка.

— Ты испытываешь меня? Как бы взвешиваешь на своей ладони?

— Я любопытный. Боги тоже бывают иногда любопытны.

В красной лубяной юбочке, едва прикрывавшей ее юное, нежное тело, Савитри стояла перед Ямой, простодушная и чистая, как цветок.

— Сначала я не испугалась, потому что умоляла тебя и смотрела тебе в глаза, чтобы мои мольбы дошли до твоего сердца. Потом я поняла: ты лишь высший исполнитель приказа... Не ты жесток, жестока наша судьба. Кто бросит камень, на того этот камень и падет. Я взглянула на тебя и сразу поняла: ты не только грозный бог смерти, но также бог правосудия и порядка. Чудесный, справедливый бог! Что было бы с нами, если бы ты не являлся к нам с веревкой и сетью в руке? Как расплодились бы сорняки и грехи наши! Как от неумеренного роста переродились бы красота и добро! Как безобразно распухло и вздулось бы все на земле! Но ты приходишь, перерезаешь нить жизни и сохраняешь правильные пропорции в мире. Ты заботишься о том, чтобы все обновлялось, совершенствовалось, хорошело... Чтобы плохое, безобразное, ужасное стало красивым, подлинным, чистым. Ты грозный бог. В твоих руках правосудие, порядок, красота и справедливость спасенного тобой мира. Ты чудесный бог. Отчего же мне бояться тебя? — Вдруг она вскрикнула, как птица, взмывающая в небо: — Я не хочу расставаться с Сатьяваном! Я не могу жить без него! Я хочу умереть!.. Ты понял? Я хочу умереть! Возьми меня с собой! Отчего мне бояться тебя?

И тогда печальный бог в последний раз склонился над кричащей, рыдающей женщиной.

— Ты одна поняла меня. Что бы ты ни попросила, я все исполню.

— Отдай мне Сатьявана! — закричала Савитри.

— Да будет так! — сказал Яма и развязал веревку.— Сатьяван жив, он снова твой. И царь Дьюматсена прозрел и получит обратно свое царство. И род твоего отца расцветет, даст сто новых побегов; родится сто сыновей у царя Ашвапати. Все будет так, как ты пожелала. Живи, Савитри, хорошо и счастливо. Живи со своим Сатьяваном. Вы проживете четыреста лет. Ты родишь много сыновей и будешь счастлива. Так повелел Яма, бог смерти, который, как ты поняла, также извечный хранитель закона и порядка. Ты, Савитри, была преданной и смелой. А закон таков: кто смел и предан, должен жить.

Пока они странствовали, наступил вечер и удлинились тени. Они стояли на травянистом склоне горы. Яма стал такой огромный, что касался облаков. Доставал до неба.

— Савитри, возвращайся назад. Иди по этой тропке, и скоро ты найдешь своего Сатьявана. Он ждет тебя. Не бойся!

Так сказал Яма и скрылся. И тут же исчезла душа Сатьявана. Лишь одна тропка вела обратно в долину.

Савитри бежала.

Она не смотрела, куда ступает. Не боялась упасть в пропасть. Не страшилась наступающей тьмы.

Она бежала, бежала и внезапно остановилась.

Перед ней лежал Сатьяван на нагревшейся за день траве; голова его покоилась на мху. Вокруг простирался лес, молодая березовая роща.

Савитри склонилась над любимым, и тут Сатьяван открыл глаза.

— Савитри...— тихо проговорил он, стряхивая с себя сонную одурь. Он сел и окинул взглядом лес, подернутый мглой.— Я долго спал. Почему ты не разбудила меня?

— У тебя очень сильно болела голова... Ты заснул, положив голову мне на колени.

— Да, когда я рубил эту березу, у меня заболела голова. Словно раскаленные колья вбивали мне в лоб. Было очень больно.— Он обнял дрожащую, раскрасневшуюся Савитри.— Какой страшный сон мне приснился! Будто огромный мужчина в пурпурной одежде связал меня и забрал с собой. Мы все шли и шли, но я знал, что ты идешь следом за нами. Я слышал твой голос. Ты говорила с тем человеком в пурпурной одежде... Как хорошо, что ты не покидала меня в моем сне!

— Не думай больше о сне. Проснись, Сатьяван!

Они встали с земли. Был уже вечер.

В темном знойном небе грянуло два-три раската грома. Неподалеку вспыхнула молодая березка и осветила вокруг себя красивую большую лужайку.

И тогда Савитри и Сатьяван увидели, что на склоне горы горит еще несколько берез. Казалось, пылают огромные факелы, огонь перебегал от одного дерева к другому.

— Горят деревья вдоль тропы! — с удивлением воскликнул Сатьяван.

Савитри сразу поняла: их зажег Яма, чтобы осветить ей путь к дому.

— Идем,— тихо сказала она.

Они были уже недалеко от дома, когда заметили приближающихся к ним людей с зажженными факелами.

— Сюда! Сюда! — указал им путь какой-то высокий незнакомец с сильным звучным голосом.

В темноте Савитри и Сатьяван не могли разглядеть его лица.

За ним шли два человека с факелами в руках.

Они осторожно пробирались сквозь чащу, освещая каждый кустик.

— Сюда! Сюда! Здесь надо свернуть к березовой роще,— раздавался голос высокого незнакомца. Потом он добавил:— Сатьяван не раз объяснял мне дорогу...

Савитри и Сатьяван застыли на месте, окутанные мраком. В волнении сжали друг другу руки.

— Это мой отец! — в изумлении воскликнул Сатьяван.

Савитри молчала. Она еще раньше узнала царя Дьюматсену.

Сатьяван впился глазами в черную, как смоль, тьму, потревоженную светом факелов.

— Посмотри, Савитри! Посмотри на его лицо!.. Неужели это мой отец?

— Это он,— подтвердила Савитри.

Она крепко держала мужа за руку, голова у нее кружилась от счастья. Неужели царь Дьюматсена прозрел? Неужели он вместе с людьми, освещающими факелами дорогу, разыскивает их? Неужели он настолько помолодел, окреп и снова стал великим царем? Яма сотворил чудо! И этого чуда добилась она...

После прилива радости в ней заговорила скромность. Нет! Никто никогда этого не узнает. Не узнает, чем обязан ей царь Дьюматсена... Что она спасла его... До самой смерти будет она хранить эту тайну. Даже Сатьявану ее не откроет. До самой смерти это останется тайной.

Теперь Савитри и Сатьяван узнали людей, сопровождавших царя.

Следом за ним факел несла царица. Молчаливая, печальная царица, которая помолодела за то время, что они ее не видели. Она стала величественной и прекрасной. Другой факел нес странствующий отшельник, который утром забрел к ним и приветствовал Савитри словами: «Желаю тебе никогда не быть вдовой!» Савитри захотелось припасть к его груди.

Сатьяван бросился к отцу, потом в растерянности остановился.

— Отец? — смущенно пробормотал он, сомневаясь, узнал ли его отец.

Царь Дьюматсена смотрел на него.

В лесу, окутанном черной, как смоль, мглой, разрываемой лишь танцующими огоньками факелов, у них у всех на секунду замерло сердце.

— Я вижу! — закричал царь Дьюматсена сыну.— Я вижу! — Он обнял Савитри.— Мой сын, пятнадцать лет я был слепым и наконец прозрел.

Он отдал свой факел отшельнику, который поднял оба факела высоко над головой.

— Савитри,— тихо позвал царь, вглядываясь во мрак.

И тогда молодая царевна тоже вышла на освещенное факелами пространство.

— Какая ты красивая! — не мог отвести от нее глаз царь Дьюматсена.— Какая ты красивая! Как цветущий миндаль...— Он улыбнулся.— Не обо мне ли поется в твоей песенке? Может быть, я тот самый неуклюжий, толстый черный буйвол, который вдруг прозрел? А потом он то и дело падает на колени перед деревьями, усыпанными розовым цветом... на берегу озера поклоняется лотосам... ловит звезды в ночных реках... Не надо мной ли потешалась ты тогда? Я боюсь тебя, Савитри! Ведь мне хочется во всем подражать твоему черному буйволу... Я преклоняюсь перед всем миром!

Эта ночь была просто чудесной. Они сидели у костра под старым баньяном.

— Самое удивительное, что я и сам не заметил, как прозрел,— сказал царь Дьюматсена.— Я смотрел на дневную картину природы... Вы столько раз рассказывали мне, как тут замечательно после полудня. Рассказывали о баньяне, о нашем дворце и его залах, о том сал-дереве, о травяных коврах, о тропинках, о холме, о лесе, о смоковнице, о розовом цветении и о зелени... Мне померещилось, что я

вижу во сне этот послеполуденный мир. Точно так же, как все остальное...

— А все же... что ты увидел наконец? Как ты понял, что снова прозрел? — спросил Сатьяван.

Лицо царя Дьюматсены стало грустным, но на этом грустном лице сияла улыбка.

— Вдруг я увидел какую-то чужую женщину... С ней никогда прежде я не разговаривал. Она сидела рядом со мной, бледная и молчаливая. С любовью смотрела на меня и молчала. Никогда раньше не видел я эту красивую печальную женщину, похожую на цветок, лишенный солнечного света... Я вспомнил о своей супруге. Она была такая же красивая, но высокая, величавая, полная жизни и сил. А женщина, сидевшая рядом со мной, светилась любовью, грустью и красотой, но жизни в ней не было... Она не спускала с меня глаз, я тоже не спускал с нее глаз... Наверно, долго смотрели мы друг на друга. И наконец я понял, кто сидит подле меня. И понял также, что начал видеть... Ведь эта красивая чужая женщина не являлась мне в сновидениях. Глядя на нее, я стал догадываться, что прозрел... Что это уже не сон, а явь, правда!

— Мама, это была ты?

— Да, я,— кивнула царица.

Савитри молча смотрела на них.

Прошло несколько дней.

И сразу явились два вестника из двух стран. Из Шальвы и Мадры.

Вестник из Шальвы прибыл первым. Он тяжело дышал.

— Царь Дьюматсена! Твой порабощенный народ восстал наконец против твоего брата... Самозванца царя уже нет в живых. Он убит одним из своих фаворитов... Народ зовет тебя на царство. Я принес наказ твоих подданных, чтобы ты снова стал их царем... Хотя ты и слепой, но ты поистине великий царь.

Молчаливая царица поднялась с места. Она выпрямилась и сразу стала выше ростом.

— Передай народу, царь Дьюматсена прозрел,— сказала она.

Вестник преклонил колени перед царской четой.

— А когда, великий царь, ты вернешься в Шальву?

— Я подумаю и потом решу,— ответил царь Дьюматсена.

Но тут прибыл вестник из Мадры. Он разыскивал Савитри.

— Я принес тебе привет от твоего отца, доблестного царя Ашвапати. И великую весть: у тебя родился брат.

— Скажи моему отцу, доблестному царю Ашвапати, что я от всего сердца рада.

Царь Ашвапати пригласил Савитри и Сатьявана в Мадру. Царь Дьюматсена и помолодевшая, красивая суровая царица — в Шальву.

А ночью Савитри спросила Сатьявана:

— Ты любишь города, мой милый?

— Я люблю тебя!

— Ты любишь дворцы?

— Я люблю тебя!

— А роскошь, власть, упоительное право повелевать?

— Я люблю тебя!

Савитри прильнула к его груди.

— Тогда, Сатьяван, давай останемся здесь. Мне хотелось бы четыреста лет прожить в этом лесу, где я познакомилась с тобой. Тут все по-прежнему будет с нами: деревья, ручей, тропинки. Черные медведи, которые приносят мне рис и гранаты. Березовая роща...— Она крепче прижалась к мужу.— Четыреста лет пробегут так скоро!

И снова Савитри почувствовала то же, что и тогда, когда Кама впервые натянул тетиву своего лука... Такая же огромная, ужасная, невыносимая тяжесть спала с ее души. И можно было умереть от этого. А скорее, можно было жить. Жить и ликовать от радости.

1956

Перевод Б. Гейгера

Aki szeretni gyáva, 1964.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Тамаш Шолтес, инженер.
Ева, его жена.
Золтан Кернер, инженер.
Эрвин Лукич, физик.
Андреа Морваи, счетовод.
Агнеш Холлоди, судья.
Понграц, начальник отдела кадров.
Седечи, главный технолог.
Фабиан, юрисконсульт.
Дёмёк, прораб.
Стенографистка.
Вера, **Юдит**, **Клари** — студентки.
Студент-моралист.
Завистливая девушка.
Студент-циник.

Действие происходит в наши дни в Будапеште.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Квартира Тамаша Шолтеса в одном из новых кварталов Будапешта. Она лишь обозначена. Нет ни стен, ни окон, ни дверей. В кабинет Шолтеса, где будет происходить действие, можно пройти слева из холла и справа из комнаты Евы. В кабинете современная мебель: письменный стол, стулья, обитые цветной тканью, журнальный столик, торшер. Инженеру Тамашу Шолтесу двадцать восемь лет. Это стройный, подвижной человек с хорошими манерами, держится несколько высокомерно. Он относится к тем людям, о которых говорят, что они себе на уме. Пользуется успехом у женщин, легко заводит знакомства, вступает в связи. Трест по монтажу подвесных дорог, где он работает, находится в Будапеште, а монтажные бригады этого треста — в различных районах страны, поэтому Шолтес часто выезжает на периферию. Тамаш уже пять лет как женат. Его жене Еве двадцать шесть. Она красивая, цветущая, но пятилетнее замужество все же наложило свой отпечаток. Ева — сотрудница какого-то крупного учреждения, работает переводчицей.

Когда открывается занавес, комната погружена в апрельский предвечерний сумрак. На письменном столе неистово звонит телефон. Торопливо входит Тамаш Шолтес, за ним — Ева, но она не заходит в комнату, а останавливается как бы на пороге.

Тамаш *(подбегает к телефону)*. Алло, квартира Шолтеса. Алло! Алло! *(Кладет трубку.)*

Ева *(встревоженно)*. Кто звонил?

Тамаш. Не знаю. Уже повесили трубку.

Ева. Я еще на лестнице слышала звонок... Как ты думаешь, кто бы это мог быть?

Тамаш *(пожав плечами)*. Откуда мне знать? Надо — еще позвонят. *(Включает электричество.)*

Ева все так же стоит в дверях. В их отношениях чувствуется натянутость.

Да, денек нынче не ахти какой удачный. *(Наливает в стакан воду.)* Подумаешь, невидаль — Фелдебрёйский храм с луковичным куполом да византийские фрески в церквушке — ничего особенного. *(Пьет воду.)*

Ева *(спокойно)*. Я всегда вожу туда иностранцев, им нравится.

Тамаш. Так и должно быть. Пусть себе восхищаются за свои собственные денежки, а я у себя дома и меня все эти древности не волнуют.

Ева по-прежнему молчит.

(Садится за стол.) А вот тебе почему-то не понравился обед в Эгере... Ты почти ничего не ела... Мне тебя жаль, жаркое было превосходным.

Ева продолжает молча стоять на том же месте.

(Не обращая на нее внимания, начинает перелистывать филателистический бюллетень.) Что ты стоишь истуканом? Свари лучше кофе, да покрепче.

Ева направляется к себе в комнату. Тамаш включает транзистор, стоящий на письменном столе. Тихо звучит музыка. Это может быть Вивальди или Рамо. Тамаш закуривает сигарету и погружается в чтение филателистического бюллетеня, затем достает из ящика письменного стола толстую книгу в красном переплете — известный каталог Иверта и перелистывает его, сверяя старые и новые цены на марки.

Возвращается Ева. Садится. Оба некоторое время молчат.

Невероятно! Стоимость лихтенштейнских марок растет... Лихтенштейн и Ватикан — вот два фаворита. *(Заглядывает в каталог.)* Если сравнить по каталогу Иверта нынешние и прошлогодние цены... *(Оборвав себя на полуслове.)* Помнишь мою Вадузскую серию? Два года назад она котировалась в пятьсот западногерманских марок. Нынче *(ткнув пальцем в бюллетень)*... знаешь, сколько за нее предлагают?

Ева *(раздраженно)*. Оставь... Очень тебя прошу, перестань!..

Тамаш *(с наигранным удивлением)*. Что с тобой?

Ева *(сожалея, что выдала себя)*. Да ничего, ничего.

Тамаш. По-моему, ты нервничаешь.

Ева. Нет, уже прошло.

Т а м а ш. Если прошло, зачем раздражаться?

Ева молчит.

(Возвращается к бюллетеню.) Словом, за свою Вадузскую серию я мог бы сейчас сорвать тысячу двести западногерманских марок. Я, пожалуй, здорово сглупил, что ее продал. Да, продешевил на сей раз! *(Взглянув на Еву.)* Ты меня не слушаешь. О чем я сейчас говорил?

Е в а. О Вадузской серии марок.

Т а м а ш *(раздраженно)*. Ты все еще думаешь о своем типе?

Е в а *(равнодушно)*. Уже нет.

Т а м а ш. Позволь тебе не поверить.

Е в а. Да, да, я думала о нем.

Т а м а ш. Значит, опять за свое.

Ева не отвечает.

(Включает радио.) Ну что ж, пожалуйста! Что еще нового ты можешь мне сказать?

Е в а. Это не имеет значения. *(Запальчиво.)* Я твоя сообщница и теперь никогда не смою с себя позорное клеймо!

Т а м а ш. Сообщница? В каком таком преступлении? Или я задавил этого несчастного?

Е в а *(тихо)*. Нет, нет...

Т а м а ш. Или перепугал его насмерть? Неожиданно дал резкий сигнал? Прижал к кювету?

Е в а. Нет.

Т а м а ш. Что же в таком случае?

Е в а *(кричит)*. Но ты оставил его на произвол судьбы!.. Мы бросили его в беде!

Т а м а ш. Прости, но я бы резюмировал это происшествие иначе... Мы ехали в Фелдебрё и на подступах к Тотфалу заметили, что кто-то лежит в кювете, а рядом валяется перевернутый мотоцикл «Чепель»...

Е в а. Его лицо было залито кровью...

Т а м а ш. Это не имеет значения. Главное, что он был просто пьян. Вспомни. Я остановил машину, мы вышли, я наклонился над ним и сразу же почувствовал, что от него несет перегаром. А за рулем пить нельзя.

Е в а. И все же нам не следовало оставлять его там.

Т а м а ш. А что мы могли бы сделать? Я же не врач.

Е в а. Отвезти его в Эгер, в больницу.

Тамаш. Но мы спешили в Фелдебрё.

Ева. Повернули бы назад... А церквушку осмотрели бы в другой раз. Ну не увидел бы Фелдебрё — беда невелика!

Тамаш. Ты сама вызвалась показать ее мне.

Ева. Да, но не такой ценой.

Тамаш. Я ведь уже разъяснял тебе, что мы ехали по двести четырнадцатому шоссе, где оживленное движение, а не по глухой лесной просеке. Минут через пять — десять наверняка подоспела другая машина... его подобрали, отвезли в вытрезвитель, привели в чувство, перевязали, а если нужно, то и прооперировали. Можешь быть спокойна, он уже там не валяется.

Ева. А если другой машины не было?

Тамаш. Должна была быть.

Ева. А если она подъехала слишком поздно... а он тем временем скончался?

Тамаш. Значит, ему не повезло — он получил столь тяжелую травму, что и мы ничем не смогли бы помочь.

Ева. А если никто не подобрал его?

Тамаш *(пожав плечами)*. Кто-то в конце концов должен был подобрать.

Ева *(живо)*. Но почему не мы?

Тамаш. А ты подумала о последствиях? *(Нервно расхаживает по комнате, затем останавливается.)* О том, какие неприятности свалились бы на нас?

Ева *(язвительно)*. Запачкал бы кровью новые чехлы на сиденьях?

Тамаш. Не о чехлах речь, а о нас самих. Ведь дело не закончилось бы больницей. За ней последовал бы допрос в полиции. А как доказать, что это не я его сшиб? Кто может подтвердить?

Ева. Он! Он, пострадавший, оправдал бы нас.

Тамаш. А если бы не смог? Если б оказался лишенным такой возможности?

Ева молчит.

Ладно, допустим. Рассмотрим наиболее благоприятный исход. Пострадавший не станет утверждать, что я его сбил, но что дальше? Следствие, бесконечные протоколы, судебные разбирательства, свидетельские показания. И всей этой канители месяцами не будет конца. Нам только этого не хватало. Разве не благоразумнее было дать полный газ? Кто может подтвердить, что я видел

пострадавшего? Я вел машину и следил за дорогой. Только за дорогой. *(Жестко.)* Пойми же, я отвечаю за нас с тобой, а не за этаких незадачливых лихачей.

Ева *(отчужденно, почти с отвращением смотрит на мужа)*. Мне частенько приходилось слышать от тебя подобное... До сих пор казалось — что ж, человек с характером, мужества ему не занимать... Теперь вижу, что ошиблась. Ты лишен элементарных нравственных устоев.

Тамаш. Элементарные нравственные устои — все это не более чем громкие слова... Только попробуй посочувствовать людям, и тебе же это выйдет боком.

Ева. Не фиглярничай, Тамаш! Мы поступили скверно и переиграть уже нельзя. Мы оставили этого несчастного на шоссе, и для нас с тобой он навсегда останется там.

Тамаш *(с нетерпением)*. Опять ты усложняешь нашу жизнь, копаешься в душе.

Ева. Копаюсь в душе?

Тамаш. Не сердись — но это так.

Ева. Пять лет я твоя жена, но сейчас словно впервые тебя вижу.

Тамаш *(пытается взять жену за руку, но Ева отдергивает ее)*. Послушай, Ева... Ты меня превратно понимаешь. Видишь ли, мы сами определяем темп нашей жизни. И в нынешней безудержной гонке и суете очень важно выбрать наиболее разумную скорость. Нельзя легкомысленно жить на износ, безрассудно транжирить жизненные силы. Вот в чем тут дело, понимаешь? А вовсе не в наличии или отсутствии моральных устоев, не в стремлении уйти в кусты, не в трусости...

Ева *(перебивает)*. Для опошления жизни трусость не обязательна, вполне достаточно быть сверхосторожным.

Тамаш. Будь умницей, выслушай, что я тебе скажу... Человека, потерпевшего аварию, мы действительно могли бы вытащить из канавы и доставить куда-нибудь в медпункт. Но погляди вокруг,— разве он один попал в беду в этом мире? Разве он один наскочил на дерево или придорожный столб? И если я в самом деле стану принимать близко к сердцу людские судьбы, мировые события, всю ту уйму бед, зла и мерзости, невольным свидетелем которых нам ежедневно приходится быть... если начну шуметь, кричать, предъявлять претензии... если возьму

на себя роль воинственного и доброго самаритянина... Ну, как ты думаешь, чем все это кончится?.. Рано или поздно мне свернут шею... Надеюсь, ты этого не хочешь...

Ева. Нет, нет!

Тамаш. Что означает твое «нет»?

Ева. В последнее время у меня появилась какая-то потребность говорить тебе нет. На все, чего бы ты ни захотел, чего бы ни попросил. Теперь хочу положить конец.

Тамаш *(с недоумением)*. Положить конец — чему?

Ева. Я и сама толком не знаю — всему!

Тамаш. Но что, собственно говоря, произошло?

Ева. Не могу я больше так жить!

В это мгновение раздается телефонный звонок. Некоторое время оба стоят, уставившись на телефон, затем Тамаш хватает трубку.

Тамаш *(почти кричит)*. Шолтес слушает!.. Громче, не понимаю! *(Несколько удивленно.)* Это ты, Золи?.. Что я делаю? *(Покосившись на Еву, медлит с ответом.)* Ничего особенного, просматриваю каталог Иверта...

Пауза.

Сегодня вечером? Увы, сегодня вечером не могу — лучше в другой раз...

Пауза.

Так важно?.. Откуда ты говоришь? Очень важно? Ну что ж, так и быть, заходи на четверть часика. Только не обижайся, в моем распоряжении действительно не более часа. Мы идем на концерт...

Пауза.

Ладно, ладно, оставим. Жду. *(Кладет трубку. Еве.)* Это Золи Кернер, хочет заскочить. *(Недовольно.)* Вот уж некстати.

Ева *(удивленно)*. Золи? Давненько он к нам не заглядывал.

Тамаш. Ты слышала? Я сказал, что мы идем на концерт. Иначе от него не отвяжешься.

Ева. Все-таки кофе мы его угостим?

Тамаш. Не возражаю. Но после кофе я сразу же выставлю его за дверь.

Ева уходит направо. Тамаш продолжает стоять, задумчиво барабаня пальцами по столу. Неуверенный звонок в дверь.

Е в а *(вернувшись)*. Звонят. Ты что, не слышишь?

Т а м а ш *(вздрогнув от неожиданности)*. Неужто он уже заявился? Вот принесла нелегкая.

Е в а. Мне пойти открыть или ты сам?

Т а м а ш. Пожалуй, я сам...

Оба выходят. Из холла доносится голос Тамаша: «Пожалуйста, проходите сюда... сюда, направо». Неуверенно входит А н д р е а М о р в а и, за ней Ш о л т е с. Андреа — тонкая, миловидная девушка лет двадцати. Она работает счетоводом расчетной части управления по монтажу подвесных дорог.

А н д р е а *(смущенно осматривается. Обращаясь к Шолтесу)*. Простите за неожиданное вторжение...

Т а м а ш *(с недоумением)*. Как вы сюда попали, Андреа? Садитесь, пожалуйста! *(Садится сам.)*

А н д р е а *(продолжает стоять)*. Я хотела сначала позвонить. Даже пыталась, но у вас никто не отвечал...

Т а м а ш. Нас не было дома.

А н д р е а *(робея от неприветливого тона Тамаша)*. Да, вы вчера говорили, что возьмете отпуск...

Т а м а ш *(резко)*. Садитесь же! Вы видите, я сижу.

Андреа быстро садится.

А теперь говорите, что вам угодно. Только, пожалуйста, побыстрее. Мы должны уходить.

А н д р е а *(мнется, не знает, как начать)*. Видите ли, сегодня я слышала в управлении... *(Слова как бы застревают у нее в горле.)* Сегодня мне сказали, что вы, товарищ Шолтес, не завизировали...

Т а м а ш. Что?

А н д р е а. Мою характеристику для поступления в вечерний университет.

Т а м а ш. Да, не подписал. Кстати, от кого вы об этом узнали?

А н д р е а. От Эсти.

Т а м а ш. Какая Эсти? Та, что работает в секретариате управления?

А н д р е а. Да.

Т а м а ш. Я привлеку ее к ответственности.

А н д р е а *(испуганно)*. Нет... Прошу вас, не делайте этого... Эсти хотела только добра... Она сказала: попытайся поговорить с товарищем Шолтесом, потому что если старший инженер бригады не поддержит твою просьбу, то управление не станет рекомендовать тебя в универ-

ситет. Я только потому и осмелилась прийти к вам домой, что моя характеристика уже лежит в папке на подпись управляющего... *(Торопливо.)* Если мне в тресте откажут — нынешний учебный год пропал...

Т а м а ш. А теперь-то вы от меня чего хотите?

А н д р е а. Чтоб вы все-таки завизировали мою характеристику.

Т а м а ш. Я не могу этого сделать.

Тягостное молчание.

А н д р е а. Почему вы не хотите, чтобы я училась?

Т а м а ш *(раздраженно)*. Дело не в том, чего я хочу или не хочу... А в том, что я могу и чего не могу сделать. Этого я делать не должен.

А н д р е а. Но почему?

Т а м а ш. Сейчас объясню. Кем вы хотите стать?

А н д р е а. Археологом.

Т а м а ш. Ну вот видите! Именно поэтому я и не поставил свою подпись. Если вам во что бы то ни стало хочется учиться, почему бы не поступить в какой-нибудь технический вуз? Вот тогда я, пожалуй, поддержал бы ваше заявление. Тогда бы вы учились для нас. А так... Что нам за польза от того, что мы отпустим вас в университет?

А н д р е а. Но если я...

Т а м а ш *(обрывает ее)*. Знаю, мечтаете стать археологом. *(Жестко.)* Но зачем вы в таком случае поступили к нам в строительно-монтажный трест?

А н д р е а. Потому что после выпускных экзаменов меня направили сюда на работу.

Т а м а ш. И вы рассчитывали отсидеться здесь годик-другой и с нашей помощью пробраться в университет; пусть, мол, идут на жертвы, предоставляют льготы, делают поблажки... а потом, воспользовавшись нашей поддержкой, вы со своим дипломом смотаете удочки, найдете себе теплое местечко, а мы останемся с носом. Так вы рассчитали?

А н д р е а *(дерзко)*. Но разве это преступление?

Т а м а ш. Не преступление, а грубый просчет, любезная Андреа Морваи. *(Берет девушку за подбородок, слегка приподнимает ее голову и в упор смотрит в глаза с уничтожающим высокомерием.)* Послушайтесь моего совета... Оставайтесь-ка лучше там, где вы есть. И дорожите своим местом.

Андреа *(неправильно истолковав жест Тамаша, с детской наивностью)*. Вы в самом деле не подпишете?

Тамаш *(уже отпустив девушку)*. Нет.

Андреа. А если я вас очень попрошу... Я всегда мечтала стать археологом, меня интересовала...

Тамаш *(ехидно)*. Уже с детства.

Андреа. Да, с детских лет.

Тамаш. Да откуда ребенку знать, что такое археология? В сущности, он даже не понимает, чего хочет. Это же не более чем детские мечты. *(Решительно.)* А теперь ступайте домой и поразмыслите над тем, что я сказал.

Андреа *(встает в нерешительности)*. Спасибо за совет. *(Собирается идти направо.)*

Тамаш. Не туда. *(Ведет ее налево.)* Сюда.

Андреа *(тихо)*. Спокойной ночи.

Тамаш. Спокойной ночи. *(Провожает девушку, затем возвращается, ставит стулья на место.)*

Входит Ева

Ева *(страстно)*. Ну и разнос ты устроил. Этакая отповедь, должно быть, действует убийственно. Не смей ни о чем мечтать, ничего желать. Кто ты есть, тем и оставайся. Уйди в свою скорлупу, уймись, перестань быть сама собой... Это же смерти подобно!

Тамаш. Ты слышала наш разговор?

Ева. Да.

Тамаш. Вот видишь, и с подобными дурочками я вынужден работать.

Ева. Почему же дурочками?.. Тебя удивляет, что она к чему-то стремится?

Тамаш. Одержимая какая-то.

Ева. Потому что о чем-то мечтает?

Тамаш. Через месяц-другой все равно бросит занятия...

Ева *(повысив голос)*. Ну и что с того, что бросит, все равно ей надо помочь. Представляю, что стало бы со мной, если б мне не помогли поступить в университет, а затем устроиться в студенческом общежитии.

Тамаш *(иронически)*. И чего ты добилась при такой мощной поддержке? Спустя полтора года тебя все-таки вытурили.

Ева *(задетая за живое)*. Только из общежития.

Т а м а ш. Ты, кажется, хотела стать врачом, а работаешь гидом-переводчиком. Вот на какую высоту подняла тебя великая солидарность отзывчивых людей.

Е в а *(запальчиво)*. Тамаш, кому, как не тебе, знать... почему моя судьба сложилась неудачно!

Т а м а ш. Кто за тебя тогда вступился?

Е в а. Тогда никто. Именно потому я и хотела бы помочь этой девушке; уж я-то знаю, как плохо, когда никого нет рядом в нужный момент, когда никто не поддержит в трудную минуту.

Т а м а ш. Ты нынче на редкость чувствительна, все принимаешь близко к сердцу, но пойми, встать на твою точку зрения означало бы взвалить на себя непосильное да и ненужное бремя — вникать не только в деловые, моральные качества своих сослуживцев, но и во все сложности их душевных переживаний. Разве это осуществимо? *(Берет телефонную трубку.)* Для меня телефон — просто аппарат, состоящий из микрофона, мембраны и диска для набора нужного номера. Не больше. А ведь я знаю, какой это сложный прибор.

Е в а. Да, да... Счетовод всего лишь счетный работник, но при этом может быть яркой натурой. Человеческая душа сложна, многогранна. И ты обязан считаться с этим.

Т а м а ш. Возможно... Но я никогда не стремился быть причисленным к лику святых.

Е в а. Только теперь я по-настоящему поняла, какой ты циник.

Т а м а ш. Ты, увы, старомодна... Ни дать ни взять горшок цветущей герани.

Е в а *(устало)*. Сдаюсь. *(Взглянув на ручные часы.)* Половина седьмого. Еще пять минут ждем Золи Кернера и садимся пить кофе.

Т а м а ш *(тоже смотрит на часы)*. В самом деле, пора бы ему прийти. *(Достает бутылку палинки и стопки.)*

Е в а *(подходит к столу, перелистывает каталог)*. Это и есть каталог Саммлердинста?

Т а м а ш. Нет, это Иверт, французский каталог.

Ева продолжает перелистывать страницы каталога.

Чего ты ищешь?

Е в а. Ничего. Твои марки меня не интересуют. *(Захлопнув каталог.)* Вот коллекция марок вашего главбуха дядюшки Рейтер мне понравилась. И квартира его понра-

вилась, как уморительно она выглядела в тот день... Помнишь? Эти натянутые через все комнаты проволочки со множеством зажимок, и в каждой по сохнущей марке... Выглядело это презабавно, словно белье, развешанное на узкой итальянской улочке...

Тамаш *(презрительно)*. Тоже мне филателия, коллекционирование марок по методу «сушки пеленок».

Ева. А ты сидишь над этими каталогами, зачитываешься ими как биржевый маклер сводками курса акций. У тебя не коллекция, а биржевые акции. Твоя серия с орхидеями — сущий банковский вклад.

Тамаш. Чего ты злишься? Потому что я серьезно, на научной основе занимаюсь коллекционированием марок? К слову, у меня уже давно нет орхидейной серии, теперь я переключился на более ходовой товар — старинные венгерские марки — литографированные экземпляры; это куда перспективнее. А ты с такой брезгливостью называешь это вкладом.

Ева. Лишь для сравнения.

Тамаш. Банковский вклад даже как сравнение весьма привлекателен. Это и шикарная машина, и комфортабельная, обставленная современной мебелью квартира, и длительное заграничное путешествие — вот что он может нам дать,— неужто все эти блага для тебя ничего не стоят? Ты не желала бы ими пользоваться?

Ева. До чего же ты расчетлив, до чего ловок... Как хочется хоть раз увидеть тебя с забрызганной грязью физиономией, с шишками на лбу. Глупости, конечно... Где уж тебе...

Тамаш. С запачканной физиономией? Нет уж, увольте. Я всегда и во всем соблюдаю правила личной гигиены.

Ева. Беда моя в том, что я не в силах с тобой примириться. Временами хочется разбить тебя, словно аляповатую керамику... А потом наплывают другие чувства — попробовать начать жизнь с тобой заново,— авось посчастливится и все обернется к лучшему...

Тамаш порывисто привлекает ее к себе, целует. Ему кажется, что спор проще всего закончить таким образом.

(Не отвечая на поцелуй, тщетно пытается вырваться из его объятий.) Оставь меня!

Тамаш. Сейчас?.. Когда ты призналась, что хорошо бы начать жизнь заново... *(Не выпускает ее.)* Ну не вы-

рывайся... не спорь... Табула раза — сотрем с доски и кучу скверных, вздорных слов... Забудь все, что было...

Ева. Пусти!

Тамаш. Не глупи... Ты обворожительна. Меня влечет к тебе...

Ева *(раздраженно)*. Все еще влечет? Как к сигарете? Вынешь из пачки, затянешься разок-другой и погасишь окурок. Но ты ошибся — на этот раз со мной так не пройдет.

Тамаш. Почему ты побледнела? Я тебя обидел?

Ева. Не удалось.

Тамаш. Если я ненароком чем-то обидел тебя, прости.

Ева. Излишне.

Тамаш. Поверь, я вовсе не хотел.

Ева. Избавь, пожалуйста! И не проси прощенья! Звонят! Должно быть, Золи.

Тамаш. Наконец-то! *(Встав, идет налево и останавливается.)* Кофе можешь подать хоть сейчас. *(Уходит.)*

Ева, не проронив ни слова, выходит.

Спустя несколько мгновений Тамаш Шолтес возвращается. С ним Золтан Кернер. Кернер — инженер, сотрудник Научно-исследовательского института стали. Когда-то он был однокурсником Тамаша, и в то время они дружили. Позже их дружеские отношения разладились. Еву он тоже хорошо знал еще до замужества. Он трусоват, но вместе с тем не прочь идти ва-банк, любопытен, его всегда интересуют чужие раздоры, словом, он из тех, кто любит ловить рыбку в мутной воде.

Кернер *(осматривается)*. У вас ничего не изменилось за это время.

Тамаш. А почему, собственно, должно было измениться? Выпьем? Вот привез из Цегледа. Пить можно, палинка что надо.

Кернер. В таком случае налей.

Тамаш *(наливает две стопки)*. Будь здоров.

Кернер. За твое здоровье.

Стоя чокаются.

(Снова осматривается по сторонам.) Ты один?

Тамаш. Присаживайся.

Кернер. Благодарю.

Садятся.

Я бы хотел поговорить с тобой наедине.

Тамаш. Ева дома. *(Предлагает ему сигарету.)* Закуришь?

Кернер. Я уже полтора года не курю.

Тамаш *(присвистнув)*. Вот это да! Полтора года — срок нешуточный. *(Закуривает.)*

Кернер *(повторяет)*. Тамаш, мы должны поговорить наедине.

Тамаш. Как тебе будет угодно... Но сначала выпьешь чашечку кофе? А вот и Ева, уже несет.

Кернер. Вы очень гостеприимны.

Ева приносит на подносе три чашки кофе.

(Вскочив.) Сервус, волшебная красавица!

Ева. Давно мы тебя не видели, Золи. *(Ставит поднос на столик.)* Ты нас совсем забыл, неверный друг-приятель.

Кернер. Не стану отпираться, виноват, простите. *(Ждет, пока хозяйка сядет.)*

Ева. Сколько сахару положить?

Кернер. Благодарю, предпочитаю без сахара.

Ева. А сигарету?

Кернер. Тоже воздержусь.

Тамаш. Он уже полтора года как бросил курить. Только что признался.

Ева. Что же произошло?

Кернер. Оказался трусом. Меня напугали, я и бросил.

Ева. Печальная история. Расскажи что-нибудь повеселее. Я слышала, ты прошлым летом ездил на машине в Италию.

Кернер. Постой, постой! Давным-давно у тебя была собачка. Ее звали Фигуркой. Она еще существует?

Ева *(удивленно)*. Да, конечно.

Кернер. Тогда хорошо. Вот эти гостинцы я привез из Италии. *(Достает из кармана две коробочки, передает Еве.)*

Ева. Что это?

Кернер *(ткнув пальцем в одну из изящных, ярко раскрашенных коробочек)*. Это собачий корм — рыба, мясо, витамины. Лучшее лакомство для собак. Пища богов — амброзия. *(Ткнув пальцем в другую коробку.)* А это мыло с амброй. Тоже изготовлено для Фигурки. Купай собачку с душистым мылом.

Ева. Ты очень мил. Фигурка будет благодарна. *(Кладет обе коробочки на столик.)*

Кернер. Помимо всего прочего, в моем итальянском багаже превосходная история с сногсшибательной концовкой. Послушайте... В Риме в одном из универмагов я видел старуху воровку. Она казалась вполне приличной опрятной старушкой лет семидесяти. Контролер застал ее на месте преступления, когда она засовывала в сумку краденое, и уже собрался было препроводить ее в контору для проверки документов, но тут вмешался благоверный старушонки. Почтенный, вполне респектабельного вида господин, тоже, пожалуй, лет семидесяти. Он закатил старушенции такую оплеуху, что детективу, должно быть, стало жаль бедняжку, он только махнул рукой и отошел от них.

Ева. Ну что ж, дело обернулось вполне благополучно.

Кернер. Погодите, это еще цветочки, а ягодки впереди. Отгадайте, что сперла старушка?

Ева. Шелковые чулки.

Кернер. Не то, совсем не то. Красть шелковые чулки — банально.

Тамаш. Пудру с губной помадой.

Кернер. Тоже неудачно, избитый прием. Придумайте что-нибудь этакое, из ряда вон выходящее, экстравагантное. Нечто такое, отчего человеку должно взгрустнуться.

Ева. Тщеславная семидесятилетняя старушка стащила зеркальце.

Кернер. Нет.

Тамаш. Купальное трико.

Кернер. Фи, какое извращенное воображение!

Ева. Погоди минутку. *(Думает.)* Пачку лечебного чая для похудения.

Кернер. Это ей без надобности, и без того худущая.

Ева. Пистолет, чтоб прикончить своего благоверного.

Кернер. Метко. Но пистолет она не украла.

Тамаш. Лиловый парик.

Кернер. Нелепость.

Ева. Соску с погремушкой.

Кернер. Нет.

Тамаш. Гвозди для гроба.

Ева. Скорее венок из цветов померанца.

Кернер. Нет, нет!

Ева. Бутылку палинки. Джина, виски, рома.

Кернер. Не то.

Тамаш *(теряя терпение)*. Офицерский крест Французского ордена Почетного легиона.

Кернер. Тут уж не до шуток, друзья.

Ева. Что же украла эта несчастная?

Кернер *(ухмыляясь)*. Не знаю.

Ева *(с возмущением)*. Не знаешь?

Кернер. Забыл.

Тамаш. Палинка ударила тебе в голову, старина.

Ева. Ты в самом деле не знаешь? Разыгрывал нас?

Кернер *(переходит на серьезный тон)*. Ребята, не сердитесь, но я, ей-богу, забыл. Истинная правда. Там я давился от смеха. «Забавнейшая история! — думал я.— Будет что рассказать дома друзьям!» А потом завертелся в калейдоскопе событий, то да се. Попытал счастья в спортивном пари «тото». Видел превосходный стриптиз в ночном клубе «Флорида». Съездил на морской курорт в древнюю Остию и искупался в море. Успел осмотреть даже новые городские кварталы, пил, ел... К тому же мне везло — я всегда находил удобные стоянки для машины. Время пролетело быстро, и, только вернувшись домой, я спохватился, что же тогда стащила эта старая карга? Совершенно вылетело из головы, а ведь это было нечто диковинное! Я надеялся, авось вы угадаете и я вспомню.

Тамаш. Ты ничуть не изменился.

Кернер. Клянусь, рассказал все как на духу.

Ева. А тебе известно медицинское определение этой патологической аномалии?

Кернер. Амнезия — потеря памяти.

Ева. Ошибаешься, старческое слабоумие. Ну, будь здоров! У меня дела, вряд ли увидимся. *(Уходит.)*

Кернер *(смотрит ей вслед)*. Евушка как всегда очаровательна, ни дать ни взять сказочная принцесса.

Тамаш молча наблюдает за Кернером.

У тебя все еще «шкода»?

Тамаш. Нет, поменял на «симку».

Кернер. И как?

Тамаш. Терпимо. А у тебя?

Кернер. Старый «оппель».

Тамаш. Ну и как?

Кернер. Вполне сносный.

Тамаш. С кем ты ездил в Италию?

К е р н е р. Да подцепил одну бабенку в институте.

Т а м а ш. Ну и как, ничего?

К е р н е р. Мне такие нравятся. Трезвость их по душе, деловитость, этакий, знаешь ли, ультрасовременный реализм. После первого же ужина она спросила: «Ну, а на десерт ты, конечно, предпочитаешь меня?»

Т а м а ш. Что называется, не мудрствуя лукаво, сразу быка за рога. Без лишних слов, без лишних эмоций... Сразу суть дела.

Оба молчат.

К е р н е р. Ты прав. Ни пустословия, ни предисловья, сразу к сути. Так что давай-ка и мы перейдем к сути.

Т а м а ш. Слушаю тебя.

К е р н е р. Я пришел по делу канатной дороги в Иванде.

Т а м а ш. Вот оно что!

К е р н е р. Догадываешься почему?

Т а м а ш. Пока еще нет.

К е р н е р. Мне как эксперту пришлось дать заключение.

Т а м а ш *(с непроницаемым видом)*. Экспертизу произвел Научно-исследовательский институт стали.

К е р н е р. Но заключение подписал я. Ты разве не знал?

Т а м а ш. Кажется, теперь припоминаю.

К е р н е р. Где документы экспертизы?

Т а м а ш. У меня.

К е р н е р. Вот и превосходно.

Короткая пауза.

Послушай, Тамаш, вынь из досье заключение экспертизы.

Т а м а ш *(явно ждал этого)*. Вынуть? Почему?

К е р н е р. Потому что я поставил на нем свою подпись. Изыми *(показывает жестом)* — и мы быстренько ее похерим.

Т а м а ш. Чтоб и следа не осталось?

К е р н е р *(с заметным нетерпением)*. Ну разумеется. *(Вскочив от волнения.)* Заключение по качественному анализу канатов может поставить меня в щекотливое, более того — в безвыходное положение.

Т а м а ш *(спокойно)*. Я не могу этого сделать, Золи. Зря пыжишься, не выйдет.

Кернер. Мы с тобой были однокурсниками, вспомни, сколько раз мы выручали друг друга! Вместе повесничали, волочились за красотками. *(Вдруг вспомнив.)* Даже за Евой вместе приударяли, помнишь?

Тамаш. Не забыл.

Кернер. Ну то-то же! Слава богу, что не забыл. Такая дружба даже годы спустя кое к чему обязывает.

Тамаш. Значит, по-твоему, это по-дружески — сваливать вину на других? Дружба, между прочим, это...

Кернер *(вспылив)*. Теперь не время рассуждать о том, что такое дружба. Сперва выручи, а там уж выясним наши отношения.

Тамаш. Короче говоря, надо выкрасть из досье твое экспертное заключение?!

Кернер. Да.

Тамаш *(серьезно, убедительно аргументируя)*. Послушай... за кого ты меня принимаешь? Я построил для базальтовой каменоломни в Иванде канатную дорогу. А спустя две недели ее пришлось демонтировать, потому, что, как выяснилось, канаты оказались негодными. Линию построил я, а заключение о качестве канатов дал ты. Ты подтвердил пригодность канатов. И теперь я, видите ли, должен выкрасть твое экспертное заключение и тем самым помочь тебе выйти сухим из воды,— дескать, ты тут ни при чем. Все шито-крыто.

Короткая пауза.

Впрочем, да будет тебе известно, управление треста привлекло меня к дисциплинарной ответственности.

Кернер *(нервозно)*. Пустая формальность.

Тамаш. Да. Но лишь до тех пор, пока я могу предъявить заключение экспертизы.

Кернер. Кто может счесть тебя виновным?

Тамаш. Меня это не волнует, покуда я могу постоять за себя.

Кернер *(в отчаянии)*. Но мне будет трудно защищаться.

Тамаш *(грубо)*. Чего ты скулишь? Ошибся, и все тут. Всякий может ошибиться.

Кернер. Речь идет совсем о другом. Ты же прекрасно знаешь.

Тамаш *(с усмешкой)*. Ну да, понимаю, положение у тебя довольно щекотливое. Будучи адъюнктом Научно-

исследовательского института стали, ты взялся работать по совместительству на канатном заводе, хотя эти должности несовместимы. Тем не менее ты и тут и там свой человек. И тебе, эксперту, пришлось дать заключение о качестве канатов, поставленных твоим же заводом. Понимаю, ситуация крайне неприятная. Скажи-ка, сколько ты получил от завода за такую экспертизу?

Кернер. Почему это тебя интересует?

Тамаш *(нарочито спокойно)*. Да нет, собственно, уже не интересует.

Кернер. Тамаш! Прошу тебя, вынь из досье мое заключение, я знаю, ты можешь преспокойно его изъять.

Тамаш. Вопрос решен и больше не обсуждается.

Кернер. Бумагу можно изъять легко и без всякого риска: ты всегда был педантом и потому одновременно затребовал два заключения. Второе — от Института физики металлов. И они прислали такое же письменное заключение, что и я.

Тамаш. Откуда это тебе известно?

Кернер. Неважно! Знаю. Тебя выгородит и одна экспертиза. А мою изыми.

Тамаш *(сухо)*. Не могу.

Кернер. Прошу тебя, мне ужасно неприятна вся эта история.

Тамаш. Так-то оно так, но уж как-нибудь уладь все это сам.

Кернер. Ты же знаешь — при разборе любого дисциплинарного дела не хватает обычно какого-нибудь документа, справки, а там глядишь, и замяли дело, из-за которого сыр-бор загорелся. Сперва откладывают, а потом постепенно все затихает. Не только радиоактивный пепел, но и обычная канцелярская пыль может все засыпать. Особенно досье по дисциплинарным делам. Ну, образумился?

Тамаш. Весьма сожалею, но изъять твое заключение я не могу.

Кернер. Нет?

Тамаш. Последний раз говорю — нет!

Кернер *(пытаясь задеть его)*. Это все из-за Евы. Ты изменился с тех пор.

Тамаш *(выждав несколько секунд)*. Не понимаю. Выскажись яснее.

Кернер. Ты никак не можешь забыть, что с Евой, собственно, я тебя свел.

Тамаш *(с иронией)*. Ты?

Кернер *(с расстановкой, делая короткие паузы)*. По правде говоря, мне следовало бы затаить обиду на тебя. Ведь — если вдуматься как следует — ты ее, в общем-то, у меня отбил.

Тамаш. Ну и?

Кернер *(оживленно)*. И ты же меня ненавидишь. Да, не отпирайся: ты ненавидишь меня. Не желаешь помочь мне в беде. А что я, собственно, у тебя прошу? Сущий пустяк. Но даже в этом ты мне отказываешь.

Тамаш *(резко)*. Ответь мне, пожалуйста, какое отношение ко всему этому имеет Ева?

Кернер. Никакого.

Тамаш. В таком случае зачем ты ее впутываешь?

Кернер *(нагло)*. Впутываю?

Тамаш. Брось вилять! Говори прямо — какое отношение ко всему этому имеет Ева?

Кернер. Ты думаешь, между нами что-то было? Я бы сказал... А почему бы и нет... Мы же не ханжи, в конце концов, и живем не в эпоху строгих филистерских нравов... К сожалению, между нами ничего не было.

Тамаш. Ну, будет! Уходи отсюда!

Кернер. Ничего не было, понимаешь? Ровным счетом ничего. Не дури.

Тамаш. Иди. А то нарвешься на грубость.

Кернер *(делает шаг-другой)*. Что ж, могу и уйти... Раз ты так настаиваешь. *(С иронией.)* Но ты спроси и у Евы. Она подтвердит...

Тамаш *(кричит)*. Довольно! *(Поскольку Кернер не двигается с места, кричит еще громче.)* Слышишь? Хватит! *(Делает движение, словно собираясь его вытолкнуть.)*

Кернер. Ты что, на колючку напоролся? Советую вытащить занозу. *(Уходит.)*

Тамаш *(стоит посредине комнаты. Затем подходит к правой двери)*. Ева!.. Ты можешь уделить мне минутку-другую?

Голос Евы *(из другой комнаты)*. Ушел?

Тамаш. Ушел наконец.

Ева *(входит в купальном халате и шлепанцах)*. Даже под душем было слышно, как вы орали. Чего ему надо? Небось попал в передрягу?

Тамаш. Откуда ты знаешь?

Ева *(беспечным тоном)*. Иначе зачем бы ему сюда являться?

Т а м а ш. Откуда ты знаешь, что он влип в скверную историю?

Е в а. Достаточно было на него взглянуть. Я знаю его как облупленного. Мы же когда-то были закадычными приятелями.

Т а м а ш. Ты говорила с ним в эти дни? Встречалась?

Е в а. Как-то он заходил к нам в управление.

Т а м а ш. И о чем вы говорили?

Е в а. Да он вовсе не ко мне приходил. *(Раздраженно.)* А что тебе, собственно, нужно?

Т а м а ш. Просто хочу тебя предостеречь. Прежде чем я выгнал этого типа, он позволил себе проехаться на твой счет.

Е в а *(удивленно)*. Ты выставил Золи за дверь?

Т а м а ш. В сущности, этот пижон сказал, что ты была его любовницей.

Е в а *(остолбенев)*. Любовницей?

Т а м а ш. Он говорил не прямо, а обиняками, прозрачно намекнул и тут же на попятный. Словом, преподнес все в самой гнусной форме.

Е в а. Я была его любовницей? Когда это я была его любовницей?

Т а м а ш. До того, как мы с тобой познакомились. А может, и позже, когда я тебя уже хорошо знал. В уточнение деталей он не вдавался.

Е в а. Наглая ложь!

Несколько мгновений оба молчат.

Т а м а ш. Что же, ты меня успокоила.

Е в а. А ты разве сомневался?

Т а м а ш. Дело было так давно, что, в сущности, не имеет никакого значения, правда это или не правда.

Е в а. И ты легко примирился бы с этим?

Т а м а ш. Мужчина, склонный ревниво копаться в прошлом своей жены, попросту глуп. Мне не известны муки ревности, они не отягощают сладких снов, когда в предрассветной дреме мне грезится нечто неизъяснимо приятное. Прошлое мне безразлично, ибо что такое прошлое? Сон, полусон, дым? Рукой не ухватишь — рассеивается.

Е в а. Значит, тебе безразлично мое прошлое?

Т а м а ш. Этого я не говорил. Однако какую-то ясность следует все же внести.

Е в а. Зачем?

Т а м а ш. Чтоб впредь не попадать в неловкое, а то и дурацкое положение, если доведется встретиться с кавалерами, которые ехидно зубоскалят за моей спиной.

Е в а. Ты полагаешь, их было несколько?

Т а м а ш. Этого я знать не могу. Но о Кернере я никогда не думал.

Е в а. И ты хочешь быть уверен, что больше не попадешь в неловкое положение?

Т а м а ш. Надеюсь, тебе это понятно.

Е в а. Вполне.

Т а м а ш. Стало быть...

Е в а *(решительно)*. Выходит, тебе достаточно было бы удостовериться в том, что у меня с ним был роман. Ничто другое тебя не заботит?

Т а м а ш *(холодно.)* Это что — признание или психологический этюд?

Е в а. И то и другое.

Т а м а ш. Прошу ясности.

Е в а. Ну, а если я скажу «да»?

Т а м а ш. Приму к сведению.

Е в а. И на том покончим?

Т а м а ш. Покончим.

Е в а. Ну нет! *(Все пережитое за день приводит ее в сильное волнение.)* Сожалею, но на твою долю выпало более тяжкое бремя. Нет! Я не была его любовницей.

Т а м а ш. Увы, это звучит не слишком убедительно.

Е в а *(даже не слушая его)*. Я всегда знала, что Золи — трус. Он струсил и на сей раз. Так и не решился напоследок бросить тебе в лицо то, что хотел.

Т а м а ш. Что именно?

Е в а *(с вызовом)*. Что я сейчас его любовница! Понимаешь? Не в прошлом. Не во сне или в твоих предрассветных грезах. Не семь или восемь лет тому назад. А теперь! *(Выжидательно смотрит на Тамаша. Поскольку тот молчит, повторяет.)* Да, теперь!

Т а м а ш *(вызывающе оскорбительным, высокомерным тоном)*. И тебе это доставляет удовольствие?

Е в а *(оторопев)*. Еще как. Тьму удовольствий.

Т а м а ш *(неизменно спокоен)*. Так кто же подаст на развод? Ты или я?

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Зал заседаний со столом и стульями. Здесь разбирается дело о привлечении Тамаша Шолтеса к дисциплинарной ответственности. Слева зал судебного заседания, на возвышении — судья, перед ним небольшой стол, два стула — здесь происходит бракоразводный процесс Евы и Тамаша. Сцены заседания дисциплинарной комиссии и бракоразводного процесса поочередно сменяют друг друга. Освещается только та часть сцены, где происходит действие. При открытии занавеса на середине авансцены в свете прожекторов лицом к зрительному залу стоят Ева и Тамаш. Освещен и судейский стол. Часть сцены, где будет разбираться дисциплинарное дело, погружена в темноту.

БРАКОРАЗВОДНЫЙ ПРОЦЕСС

Холлоди *(судья, ведущий бракоразводный процесс, сидит за столом на возвышении)*. Слушается иск о расторжении брака Евы Шолтес, урожденной Евы Хорват, с Тамашем Шолтесом. Судом установлено, что стороны — истица и ответчик, а также лица, вызванные в качестве свидетелей, явились и присутствуют в зале суда.

Судейский стол погружается в темноту. Ева и Тамаш все еще стоят на середине авансцены.

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДИСЦИПЛИНАРНОГО ДЕЛА

Теперь освещается другая часть сцены, где стоит стол дисциплинарной комиссии. Перед столом юрисконсульт Фабиан.

Фабиан *(официальным тоном)*. Приказом управляющего строительно-монтажного треста привлекается к дисциплинарной ответственности бригадир монтажни-

ков — старший инженер Тамаш Шолтес за халатность, допущенную им при строительстве подвесной канатной дороги ивандского карьера по добыче базальта. *(Садится, разбирает бумаги.)*

Свет, освещавший Еву и Тамаша, гаснет. К столу заседаний подходят П о н г р а ц, С е д е ч и и с т е н о г р а ф и с т к а. Усаживаются. Непринужденно беседуют.

П о н г р а ц *(ему лет пятьдесят пять. Он кадровый рабочий, выдвиженец. Уже шесть лет заведует отделом кадров строительно-монтажного треста)*. Ну, что скажете?

С е д е ч и *(главный технолог, на вид ему не менее пятидесяти. Старый опытный инженер)*. За полчаса, пожалуй, управимся.

Ф а б и а н *(значительно моложе других, ему лет тридцать — тридцать пять)*. В крайнем случае за три четверти часа. Дело ясное.

С е д е ч и. Процедура рассмотрения этого дисциплинарного дела — пустая формальность. Шолтес тут ни при чем.

П о н г р а ц. Не спеши! Больно уж ты торопишься с выводами. *(С некоторой иронией.)* Мы еще посмотрим... Посмотрим...

С е д е ч и *(берет под защиту Тамаша)*. Что ты хочешь этим сказать? Думаешь, он что-нибудь скрывает?

П о н г р а ц. Ну, скрывать-то ему особенно нечего — напротив... *(Фабиану.)* Если судить по справкам, которые ты собрал, все в полном порядке.

Ф а б и а н. Когда приходится отбиваться от исков о взыскании с нас неустойки — на душе всегда муторно. Во избежание сутяжных дел я предпочитаю подряды, выполняемые бригадой Шолтеса. Его технические проекты, схемы монтажа всегда ясны, оформление подрядных договоров — четкое. Тамаш человек надежный, на него всегда можно положиться.

П о н г р а ц. Погоди-ка! Допустим, положиться на него можно. Но объясните мне, почему его не любят?

С е д е ч и. Кто не любит?

П о н г р а ц. Ну ясно — люди, которые с ним работают.

Ф а б и а н. На него жаловались?

П о н г р а ц *(осторожно)*. Тебе-то это должно быть известно. Ведь в отдел кадров поступает немало жалоб. *(Стенографистке.)* Вот и вы, Жужика, однажды на него пожаловались. А в чем было дело?

Стенографистка. Он дал мне обидное прозвище — мужичок с ноготок.

Общий смех.

Седечи. Ах он, такой-сякой, этот Тамаш.

Понграц. А почему он вас так прозвал?

Стенографистка. В то время я у него работала и однажды после обеда вынуждена была отпроситься, мне должны были привезти дрова...

Седечи. На него жалуются одни прогульщики да лодыри. *(Стенографистке.)* К вам, Жужика, это не относится. *(Остальным.)* Шолтес деловит, точен, строго соблюдает график монтажных работ, он требовательный руководитель, не терпит расхлябанности, распущенности.

Понграц. Я считаю его стиль работы неверным.

Фабиан. Но зато он точно соблюдает договорные сроки, этого нельзя забывать. Ивандскую канатную дорогу тоже сдал в срок.

Седечи. Тамаш работает честно. Можно голову дать на отсечение: взялся — сделает.

Понграц. Я предпочел бы сохранить свою голову и поспорить на кружку пива — по крайней мере, хоть удовольствие получишь. *(Фабиану.)* Ну что ж, пожалуй, пора начинать. Этот инженер Кернер уже пришел?

Фабиан. Я видел его здесь.

Понграц. А тот, другой? Физик?

Фабиан. Я посадил его в бюро технической информации. Не хотелось бы, чтоб они с Кернером видели друг друга.

Понграц. Правильно.

Седечи. Больше свидетелей нет?

Фабиан. Кое-кто вызвался выступить. Сами понимаете... Рекламации с требованием возмещения миллионных убытков вызывают ажиотаж, они способны многих взбаламутить.

Понграц. Я вызвал из Иванда Дёмёка.

Седечи *(удивленно)*. Дёмёка? А его-то зачем?

Понграц. Он уже прораб бригады Шолтеса, его нам обходить никак не следует. *(Обводит глазами присутствующих.)* Ну как, можно приступать?

Фабиан. Что ж, начнем.

Понграц. Жужика, пригласите сюда Шолтеса.

Стенографистка выходит.

Седечи. Что ты хочешь от этого Дёмёка?

Понграц *(иронически)*. Послухаем, послухаем.

Тут же входит стенографистка, за ней Тамаш. Все приветствуют друг друга: «Привет-привет».

Садись.

Тамаш садится. Он спокоен, держится уверенно, почти высокомерно.

(Официальным тоном.) Товарищ Шолтес! Начальник строительно-монтажного управления по строительству канатных подвесных дорог своим приказом назначил комиссию по рассмотрению твоего дисциплинарного дела в составе главного инженера товарища Седечи и юрисконсульта Фабиана, а руководство комиссией возложил на меня. Хочешь дать отвод кому-нибудь из членов комиссии?

Тамаш. Нет, персональных отводов не имею.

Понграц. В таком случае попрошу юрисконсульта изложить суть дела.

Стенографистка записывает.

Фабиан *(раскладывает на столе документы)*. Предыстория этого дела нам всем хорошо известна. Наш трест взял на себя подряд — сооружение канатной подвесной дороги протяженностью в четыре километра на территории карьера по разработке безальтовых пород. Не прошло и двух недель после пуска дороги в эксплуатацию, как канатная дорога на всем своем протяжении вышла из строя. Стальные канаты стали расщепляться, разрываться. И чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию, пришлось произвести полную реконструкцию дороги.

Седечи. Кстати, работы по реконструкции уже завершены.

Фабиан *(подняв глаза кверху)*. Разумеется. В связи с предъявленным иском о взыскании с подрядчика неустойки и возмещения убытков Центральная арбитражная комиссия обязала наш строительно-монтажный трест заменить забракованные канаты кондиционными и возместить убытки в сумме одного миллиона двухсот сорока девяти тысяч шестисот семидесяти пяти форинтов.

Понграц. Теперь нам следует разобраться, кто несет персональную ответственность за случившееся. Монтаж-

ными работами руководил ты, товарищ Шолтес. Признаешь ли ты свою вину?

Т а м а ш *(категорически)*. Нет, я не считаю себя ответственным за это дело.

П о н г р а ц. Кто же виноват?

Т а м а ш. Поставщики отгрузили нам негодный канат, а эксперты утверждали, будто некондиционный канат вполне доброкачествен.

П о н г р а ц. На строительстве подвесной дороги использованы два сорта каната, не так ли?

Т а м а ш. Да, два сорта.

На столе два образца каната примерно полуметровой длины.

П о н г р а ц *(разглядывает один из образцов)*. Вот это и есть спиральный канат с более толстым поперечным сечением?

С е д е ч и. Да, сорокадвухмиллиметровый для линии с загруженным подвижным составом.

П о н г р а ц *(протягивает руку за другим образцом)*. А это — для порожнего подвижного состава?

С е д е ч и *(Фабиану)*. Зачитай-ка технические данные.

Т а м а ш *(упредив Фабиана)*. Поперечное сечение — двадцать восемь миллиметров, вес погонного метра — три целых сорок четыре сотых килограмма, прочность на разрыв — сто двадцать.

П о н г р а ц. Мы заказывали такие канаты?

С е д е ч и. Да, такие.

П о н г р а ц. И такие же поставили?

С е д е ч и. Да! Точно такие.

П о н г р а ц *(переводит взгляд на Шолтеса)*. В таком случае... как все это могло случиться?

Т а м а ш. Оба сорта каната имели серьезный изъян.

П о н г р а ц. В чем он заключался?

Ф а б и а н *(читает заключение экспертизы)*. «Неправильная термическая обработка, неудачная структура, плохое кручение». Словом, заводские, технические дефекты.

П о н г р а ц. Кто это установил?

Ф а б и а н. Технологический институт транспортного машиностроения.

П о н г р а ц *(Шолтесу)*. Если канат был бракованным, зачем же мы использовали его при монтаже?

Т а м а ш. Потому что нам он казался кондиционным, без изъянов.

П о н г р а ц. И ты довольствовался кажущейся кондицией?

Т а м а ш. Я приглашал для технической экспертизы двух специалистов, и они заверили меня, что отгруженные заводом-поставщиком канаты соответствуют проектным заданиям.

П о н г р а ц. А кто был приглашен в качестве экспертов?

Ф а б и а н. Сперва канаты были испытаны сотрудником Научно-исследовательского института стали Золтаном Кернером. Вот его заключение о результатах проведенной экспертизы.

Понграц берет заключение, читает его.

Вторым экспертом был физик Эрвин Лукич, адъюнкт Института физики металлов. А вот и его заключение.

П о н г р а ц *(бросив беглый взгляд на заключение Лукича)*. Два эксперта... *(Шолтесу.)* Почему понадобилось два эксперта?

Т а м а ш. Потому что я не доверял Кернеру.

П о н г р а ц. А зачем же в таком случае ты к нему обратился?

Т а м а ш. Мы обратились в Институт стали, а там уж поручили провести экспертизу ему.

Ф а б и а н *(листает досье)*. Вот и переписка.

П о н г р а ц *(Шолтесу)*. А почему ты не доверял Кернеру?

Т а м а ш. Потому что считаю его малосведущим инженером. Он был когда-то моим однокурсником, и уж я-то хорошо его знаю.

С е д е ч и *(Шолтесу)*. А что ты можешь сказать о канатном заводе?

Т а м а ш. Я как раз собирался об этом сказать. Дело в том, что Кернер связан с канатным заводом. Он работает там по совместительству.

П о н г р а ц. Как? На том самом заводе, который поставил нам канат?

Т а м а ш. Да.

П о н г р а ц *(громко)*. Повтори еще раз.

Т а м а ш. Да, на том самом заводе.

П о н г р а ц. Стало быть, если я правильно понял, получается так: Кернер, представляющий Научно-исследовательский институт стали, контролирует Кернера — работника канатного завода, и этот последний успокаивает

Кернера, ученого эксперта,— дескать, спи спокойно, старина, все в полном порядке. Между тем ему следовало бы встревожиться — ведь он-то знает, что дело обстоит далеко не благополучно.

Фабиан То-то и оно.

Понграц. А ну, послушаем-ка этого Кернера! *(Стенографистке.)* Жужика, пригласите его сюда.

Стенографистка выходит.

Ну, может быть, кто-нибудь из вас хочет крепко выругаться, а? Отведите душу, не стесняйтесь. В протокол не занесут.

Все молчат.

Или вы бережете свое возмущение для протокола? Что ж, не возражаю, можно и так. *(Тамашу.)* Ты, пожалуй, выйди. Лучше, если тебя здесь не будет. Чуть позже мы тебя вызовем.

Тамаш. Как вам угодно. *(Уходит.)*

Входит стенографистка, за ней Кернер. Она садится на свое прежнее место. Кернер кланяется и неуверенно останавливается.

Понграц. Спасибо, что пришли. Присядьте, пожалуйста.

Кернер садится.

В связи с крупными дефектами, обнаруженными на ивандской подвесной дороге, против руководителя монтажной бригады нашего треста Тамаша Шолтеса возбуждено дисциплинарное дело. Вы исследовали поставленный подрядчиком канат и о результатах произведенной вами экспертизы дали письменное заключение. Вы остаетесь при своем мнении?

Кернер *(заранее подготовив ответ)*. Я установил, что упомянутые канаты были изготовлены согласно принятым техническим стандартам. Об этом я и написал в своем заключении.

Понграц. Лаборатория Технологического института траспортного машиностроения впоследствии пришла к иному заключению.

Кернер. Мне об этом ничего не известно.

Понграц. А известно ли вам, что смонтированная канатная дорога две недели спустя вышла из строя?

Кернер. Да, я что-то слышал об этом.

П о н г р а ц. И что вы по этому поводу думаете?

К е р н е р. У меня нет на этот счет каких-либо суждений.

П о н г р а ц. А все же... может быть, есть? Какие-нибудь?

К е р н е р *(пожимает плечами)*. Возможно, была допущена чрезмерная перегрузка линии.

С е д е ч и. Как установлено проверкой — перегрузки не допускались.

К е р н е р *(нервозно)*. Я могу сказать лишь одно — представленные на экспертизу канаты соответствовали техническим нормативам и принятым стандартам.

Ф а б и а н. В отличие от вашего заключения экспертиза технологического института установила разрывы стальной нити, трещины и другие дефекты.

К е р н е р *(все больше нервничая)*. Быть умным задним числом — проще всего.

П о н г р а ц. Видимо, следовало бы все-таки подвергнуть канаты более тщательной экспертизе?

К е р н е р. Это могли бы сделать и другие.

С е д е ч и. Кто, например?

К е р н е р. В частности, Шолтес.

С е д е ч и. А почему именно он?

К е р н е р *(уже понимает, что может выпутаться только с помощью беззастенчивой лжи)*. Потому что я предупреждал его об этом.

Все изумленно переглядываются.

П о н г р а ц. Шолтеса? Дело принимает весьма любопытный оборот. Точнее, о чем конкретно вы его предупреждали?

К е р н е р. Чтобы он привлек к экспертизе и физика.

П о н г р а ц. Следовательно, новая экспертиза была произведена после вашего предупреждения?

К е р н е р. Да.

П о н г р а ц. Послушаем, что скажет Тамаш Шолтес. *(Стенографистке.)* Жужика, будьте добры — пригласите сюда Шолтеса.

Стенографистка выходит.

К е р н е р *(в замешательстве)*. Прошу вас... Может, в моем присутствии нет необходимости?

П о н г р а ц. Напротив, вам необходимо остаться!

К е р н е р. Но мне нечего прибавить к уже сказанному.

П о н г р а ц. Хотите уйти. Непонятно. Вы сделали весьма важное заявление, и в ваших же собственных интересах знать, что ответит на это Шолтес.

К е р н е р. Признаться... Я не подумал о том, что встречусь здесь с ним. Сюрприз неприятный.

П о н г р а ц. Если то, о чем вы сейчас нам рассказали,— верно, почему встреча с Шолтесом столь неприятна для вас?

К е р н е р *(увиливая)*. Потому что... собственно говоря... с некоторых пор мы с ним в натянутых отношениях.

С е д е ч и. Из-за этого дела?

К е р н е р. Нет... по другой причине.

Некоторое время все молчат. Понграц играет карандашом. Фабиан перелистывает бумаги. Седечи что-то чертит на листе.

(Немного помявшись.) Я с готовностью пришел на заседание комиссии в связи с разбором этого дисциплинарного дела. Но, собственно говоря, обязан ли я участвовать в очной ставке, подвергнуться перекрестному допросу? Ведь это еще не судебное разбирательство.

П о н г р а ц *(твердо)*. Действительно — это не судебное разбирательство... И вы можете уйти хоть сейчас... Но мы полагали, товарищ Кернер, что вы непременно примете участие в выяснении обстоятельств этого дела. Народному хозяйству нашей страны причинен миллионный ущерб, и вы в известной мере причастны к этому...

К е р н е р. Разумеется, если вы настаиваете, я останусь. Но позвольте напомнить — канатную дорогу строил не я.

П о н г р а ц. Это нам всем хорошо известно.

Входит с т е н о г р а ф и с т к а, следом за ней Т а м а ш.

С т е н о г р а ф и с т к а. Пил кофе в буфете... Еле отыскала. *(Садится.)*

Тамаш остается стоять. Они с Кернером не здороваются.

П о н г р а ц. Я пригласил тебя для того, чтобы сразу же выяснить одну важную деталь — товарищ Кернер утверждает, будто он обращал твое внимание на дефекты канатов.

Т а м а ш *(очень спокойно)*. Неправда.

К е р н е р *(быстро перебивает)*. Вернее, не на дефекты... а на то, что канаты внушают сомнение и не плохо бы подвергнуть их более тщательному исследованию... там,

где для этого имеются соответствующие условия... Например, в Институте физики металлов.

Понграц *(Тамашу).* Это верно?

Тамаш *(не глядя на Кернера, вызывающе категорично).* Утверждение насквозь лживое.

Кернер *(Тамашу).* Разве ты не помнишь того разговора по телефону... погоди-ка, я взгляну в свою записную книжку... *(Достает блокнот.)*

Тамаш *(Понграцу еще более категоричным тоном).* Золтан Кернер не звонил мне ни по этому делу, ни по какому-либо другому поводу... Такого разговора никогда не было — все это неправда! Ложь!

Кернер *(прерывающимся голосом).* Прошу оградить меня от подобных выпадов... взять под защиту... поскольку Тамаш... Тамаш Шолтес — мой недоброжелатель... он питает ко мне неприязнь... уже много лет только и ждет удобного случая, чтобы подставить мне ножку.

Понграц *(Тамашу).* Это правда?

Тамаш. Нет, тоже неправда.

Кернер *(коварно, исподтишка).* Или ты станешь отрицать, что ненавидишь меня из-за Евы?

Тамаш *(поворачивается к Кернеру).* Что ты сказал?

Кернер. Да, из-за Евы!

Тамаш *(Понграцу).* Теперь я прошу оградить меня от оскорбительных выпадов.

Понграц. Кто такая Ева?

Тамаш. Моя жена.

Все ошеломлены.

Понграц *(Кернеру).* Какова роль жены товарища Шолтеса в этом деле?

Кернер. В сущности, она к нему не имеет никакого отношения. Я всего лишь хотел дать понять...

Понграц *(энергично).* Раз она не имеет к этому отношения — нечего ее и впутывать. *(Шолтесу.)* Я прошу ясного ответа — предупреждал ли тебя товарищ Кернер, да или нет?

Тамаш. Меня никто ни о чем не предупреждал. Проводя повторную экспертизу, я действовал по собственной инициативе. И не потому, что кондиционность канатов внушала сомнение — просто я не доверял эксперту.

Понграц. Почему?

Тамаш. Потому что эксперт Кернер работает по совместительству консультантом того самого завода-под-

рядчика, который поставил нам канат. Услуги эксперта Кернера завод-поставщик щедро оплачивал.

Недоуменное молчание.

Понграц *(Кернеру)*. Вы действительно работаете по совместительству на канатном заводе?

Кернер *(с трудом)*. Я консультирую там и получаю за это скромное вознаграждение в соответствии с установленными законом ставками. Только и всего.

Фабиан. И сколько же, в частности, вы получили за подобную экспертизу?

Кернер. На это я отвечать не обязан.

Седечи. Может быть, вы откроете нам секрет — каков ваш месячный заработок на заводе?

Кернер *(крайне нервозно)*. Это тоже к делу не относится.

Седечи *(шепотом Фабиану)*. Пожалуй, тысячи три, не менее...

Понграц *(Седечи)*. Прошу соблюдать тишину. *(Кернеру.)* От имени комиссии благодарю вас за разъяснения. Подождите, пожалуйста, пока отпечатают протокол. Вам надо его подписать.

Кернер *(сдержанно)*. Что же, могу подождать.

Понграц. Потрудитесь пройти сюда, в соседнюю комнату. *(Показывает Кернеру, куда ему идти.)*

Кернер уходит.

(Тамашу.) А тебя попрошу сохранять спокойствие.

Тамаш. Полагаю, вам известно — я развожусь с женой. И все же мне как-то неловко,— он так бесцеремонно приплел ее.

Понграц. Насчет этого будь спокоен — ее имени он больше не назовет. А теперь снова попрошу тебя выйти, я должен вызвать другого важного свидетеля.

Седечи *(добродушно)*. Кстати, выпьешь в буфете еще чашечку крепкого кофе.

Тамаш, не отвечая, уходит.

Понграц *(Седечи)*. О чем это вы тут шушукались, когда я расспрашивал Кернера?

Фабиан. Да о том, сколько он ежемесячно заграбастывает на заводе.

Понграц. Ну и сколько же?

Седечи. Тысячи три, должно быть, не меньше.

П о н г р а ц. Откровенно говоря, вел он себя довольно подозрительно. Любопытно, на чью сторону станет физик, который дал второе письменное заключение. Кого он будет оправдывать, Шолтеса или Кернера?

С е д е ч и. Ты сомневаешься в Шолтесе?

П о н г р а ц. Мы еще не доиграли партию. Докопаемся до сути, а уж потом я выскажусь.

Ф а б и а н. Жужика, прошу вас... Физик дожидается в бюро...

Стенографистка выходит.

С е д е ч и. Вы были в курсе этой амурной интрижки?

П о н г р а ц. Какую бы цель ни преследовал Кернер, получилось некрасиво, гнусно.

Стол заседаний дисциплинарной комиссии погружается в темноту.

БРАКОРАЗВОДНЫЙ ПРОЦЕСС

На освещенной левой стороне сцены снова виден на возвышении с у д ь я, разбирающий бракоразводное дело. Перед ним друг против друга стоят Е в а и Т а м а ш.

Х о л л о д и *(оторвавшись от бумаг. Еве)*. Еще раз спрашиваю, согласны ли вы примириться с мужем?

Е в а *(просто)*. Нет.

Х о л л о д и. Вы вступили в брак по любви, не так ли?

Е в а. Да.

Х о л л о д и. А теперь вы не любите своего мужа?

Е в а. Попытаться заставить себя снова полюбить его равносильно самоубийству.

Х о л л о д и. Что же произошло между вами? Попробуем разобраться. Как явствует из искового заявления, вы встретились и сошлись совсем молодыми.

Е в а. Да, еще в студенческие годы. Тамаш заканчивал институт, а я училась на втором курсе медицинского факультета университета. В тот год зима была суровой. У кого не было денег на кафе-эспрессо или кондитерские — а откуда деньги у обитателей студенческого общежития? — тот всего охотней укрывался от стужи в библиотеке Сечени. Теплые читальные залы, хорошо отапливаемые коридоры, и все задаром.

Х о л л о д и. Стало быть, там вы и познакомились?

Т а м а ш. Да, там. Я, правда, не часто посещал эту библиотеку. Но однажды в читальном зале встретил Еву.

Она оказалась моей соседкой по столу. Поставив перед собой черную плюшевую собачку, Ева сосредоточенно штудировала книгу по анатомии. А когда она вышла в коридор покурить, я пошел за нею. Мы разговорились...

Двадцатилетняя Ева и двадцатитрехлетний Тамаш подходят к шкафчику для каталогов. Стол судьи погружается в темноту.

Т а м а ш. Как зовут вашу собачку?

Е в а *(сдержанно)*. Откуда вы знаете, что у меня есть собачка?

Т а м а ш. Видел в читальном зале. Вы поставили ее перед собой, а прежде чем выйти сюда, запрятали в сумочку. Должно быть, вы очень ее любите?

Е в а *(вынув собачку из сумки)*. Да, люблю. Между прочим, ее зовут Фигурка.

Т а м а ш. Овчарка?

Е в а *(строго)*. Вы ничего не смыслите в собаках. Неужели не видите, что это венгерская пули?

Т а м а ш. А какая разница?

Е в а. Как между небом и землей. Когти пули покрыты шерстью, а у овчарки нет. *(Показывает собачку.)* Видите когти?

Т а м а ш. Нет.

Е в а. Фигурка — породистый песик.

Т а м а ш. И что умеет делать ваша собачка?

Е в а. Она совсем еще несмышленая, и мне приходится знакомить ее с окружающим миром.

Т а м а ш. А вы разве уже познали его?

Е в а. Изучаю.

Т а м а ш. Мир?

Е в а. Да, мир.

Т а м а ш. И Фигурка учится вместе с вами?

Е в а. Вы же видели. Даже анатомию изучает.

Т а м а ш. Счастливое существо ваша Фигурка.

Е в а. Нет, это я счастливая. Потому что есть кто-то, кто слушает меня, с кем я всегда могу поделиться впечатлениями, доверить самые сокровенные мысли.

Т а м а ш. А Фигурка учится только у вас? Не мог бы я, например, чему-нибудь ее научить?

Е в а. Боюсь, что Фигурка понимает только меня.

Т а м а ш. О, я бы научил ее вполне доступным и приятным вещам.

Е в а. Например?

Т а м а ш. Например, закону Оппенгеймера. Оппенгеймер в процессе разработки квантовой теории обнаружил...

Е в а *(прерывает)*. Погодите — это физика?

Т а м а ш. Да, физика.

Е в а. В таком случае не стоит... Фигурка боится физики.

Т а м а ш. А между тем я умею объяснять ее в весьма популярной и увлекательной форме. *(Протягивает руку за собачкой.)* Можно на минутку?

Е в а *(помедлив, отдает ее)*. Пожалуйста.

Т а м а ш *(берет собачку левой рукой, правой жестикулирует)*. Посмотри вокруг, Фигурка! Сколько книг! Одни только шкафы для каталогов заполняют целый коридор! Но мир куда богаче. Окружающий мир беспрерывно ширится, и нам грозит опасность притупления восприятия неисчерпаемых богатств мироздания. Мы уже не в состоянии постичь все многообразие вселенной, нам доступна всего лишь крохотная ее частичка. Никогда еще в истории человечества не наблюдалось столь непримиримого противоречия между отдельной личностью и гигантским миром.

Е в а. Это, мой песик, весьма сомнительное открытие.

Т а м а ш. Это ужасающий конфликт. Послушай меня, Фигурка. Можно найти этому объяснение, найти выход. Вместо всеобъемлющего познания мира разумнее ограничиться изучением лишь какой-то его части, замкнуться в себе, уйти в свою скорлупу, иначе потонешь в гигантских, бескрайних просторах вселенной, запутаешься в умопомрачительно сложных взаимосвязях причинности явлений. *(Все это он говорит с игривой пылкостью, порою в ироническом тоне, стараясь понравиться Еве. Однако в такой шуточной форме он фактически излагает свое кредо. Сообразно этим взглядам он и мыслит строить дальше свою жизнь.)*

Е в а. Мой песик отвергает такое жизневосприятие. Фигурка считает, что она задохнется в тесной конурке. Ей нужен весь мир. Пули ведь охраняет стада на степных просторах, ей требуется приволье.

Т а м а ш. Это оттого, что ты, Фигурка, еще не знаешь, сколь приятно обособиться от целого, необъятного. Я тебе рекомендую, зажмурь глаза и восприми ограниченную сферу окружающего мира в пределах терпимого, не более. Все остальное не заслуживает внимания, оно не должно тебя интересовать.

Ева. Это уж своеобразная житейская мудрость, философия, не так ли?

Тамаш. Да. Ты, Фигурка, как видно, существо понятливое, восприимчивое. Это действительно целостная, проверенная жизненным опытом философия. Рационалистическая философия профильтрованного мира. Путеводитель по жизни, расщепленной на мельчайшие частицы. *(Возвращает собачку Еве. Меняет тон.)* Кстати, вы любите танцевать?

Ева. Кто? Фигурка?

Тамаш. Я спросил собачкину хозяйку.

В этот момент к ним подходит Золтан Кернер.

Кернер *(в изумлении, несколько раздраженно).* Привет, Евушка.

Тамаш *(с удивлением узнает своего однокурсника).* Привет, Золи.

Кернер *(уставившись на них).* Вы знакомы?

Ева, не проронив ни слова, демонстративно поворачивается и уходит.

Тамаш *(смотрит вслед девушке. Кернеру).* Чем это ты ее спугнул?

Кернер. Мы в ссоре, и Ева все еще на меня дуется.

Тамаш. Теперь моя очередь спросить — вы с ней знакомы?

Кернер *(не отвечая на вопрос, в свою очередь, спрашивает — настойчиво, требовательно).* О чем это вы тут так оживленно беседовали?

Тамаш. О всяких пустяках. Поначалу о ее собачке, затем о теории Оппенгеймера.

Кернер. Я тебя предупреждаю, эта девушка — занята.

Тамаш. Принимаю к сведению. Кстати, как ее фамилия?

Кернер. Это не должно тебя интересовать. Я же сказал — она занята.

Тамаш *(с чувством собственного превосходства).* Ты просто глуп. Я уже все о ней знаю. И она меня заинтересовала.

Кернер торопливо бросается вслед за Евой.

Холлоди *(со своего места за судейским столом).* Вы и в самом деле заинтересовались ею? Или только хотели досадить Кернеру?

Т а м а ш. Ева была обаятельной девушкой, хорошенькой, да к тому же она показалась мне умницей. И я сразу решил, еще там, в коридоре, что добьюсь ее расположения. Я заручился ее согласием провести вместе ближайший субботний вечер.

Освещение меняется. В комнате студенческого общежития три девушки наряжают Еву, ее пока не видно.

Ю д и т. Ой, осторожно, чего доброго чулок порвешь.

В е р а. Не вертись, стой прямо!

Ю д и т. Ты только посмотри, какая у нее ладная, стройная фигурка!

В е р а. В этом наряде ты очень изящна, и прехорошенькая. Я верю — ты произведешь неотразимое впечатление и пленишь любого самого взыскательного кавалера.

Г о л о с Е в ы *(ее не видно)*. А я и мечтаю пленить.

Ю д и т. Кого же? Ты все еще не назвала нам его имени.

В е р а *(Юдит)*. Тебе она тоже не открыла тайну?

Ю д и т. Послушай, Ева, ты не получишь золотых сандалет, если сейчас же не откроешь нам, для кого мы тебя наряжаем?

Е в а *(выходит из окружения девушек. Она нарядна и в самом деле очень привлекательна)*. Завтра расскажу! Завтра обо всем узнаете.

В е р а *(придирчиво оглядывает ее платье)*. Сидит на тебе как влитое.

К л а р и. Пожалуй, только чуть-чуть ярковато.

Ю д и т. Вот и хорошо, что яркое.

Е в а *(целует Веру)*. Спасибо за платье, Верочка. Буду беречь как зеницу ока.

К л а р и *(Еве)*. Покажи ножки.

Ева приподнимает юбку.

(Торжествующе.) Что я вам говорила? К васильковому цвету очень идут чулки цвета загара.

Е в а. Спасибо за чулки, Кларика. *(Целует Клари.)*

Ю д и т. Зря так ласково целуешь, чулки цвета загара уже вышли из моды.

Е в а *(целует Юдит)*. Спасибо за сандалеты, Юдит.

В е р а. И до чего у тебя стройные ножки!

Е в а. Спасибо за комплимент, да и за платье, Верочка.

Ю д и т. Платье в самом деле сидит на тебе прекрасно.

(Вере.) Смотри — она вся какая-то воздушная, того и гляди, вспорхнет да улетит.

Вера. От Золи Кернера уже упорхнула.

Юдит. Скажи только одно — ты дала ему отставку?

Ева. Завтра! Завтра все узнаете! *(По очереди целует Юдит, Веру и Клари.)* За все, за все спасибо. Вы — душеньки, дорогие мои подружки! *(Кружится.)* Я понравлюсь? В самом деле я могу понравиться?

Слышится тихая музыка. Ева кружится в такт музыке. Девушки исчезают. Появляется Тамаш. Подхватив Еву, кружит ее в танце.

Тамаш. Как обращаться к тебе, на «ты» или на «вы»?

Ева. Ты уже говорил мне «ты».

Тамаш. У тебя завидная память. Значит, великодушно разрешаешь задним числом?

Ева. Разрешаю. Давай выпьем на брудершафт. *(Поднимает невидимый бокал.)* Будь здоров!

Тамаш *(тоже поднимает бокал, как бы чокаясь с ней)*. Будь здорова!

Пьют до дна.

Будь доброй к Тамашу, будь ласковой с беднягой!

Ева *(посмеиваясь)*. Бедняга ты, бедняжка, бедняжечка.

Тамаш *(прикидываясь раздраженным)*. Что это ты заладила?

Ева *(ласково)*. А потому что слышала, будто каждой девице-красавице, которую ты хочешь обольстить, очаровать, ты нашептываешь на ушко: «Будь паинькой, доброй, будь ласковой с беднягой...»

Тамаш. От кого ты слышала подобную чушь?

Ева. От многих.

Тамаш. Все они завистливые злопыхатели. *(Пытается поцеловать ее.)*

Ева отстраняется.

Ну что ты! Я хочу тебя поцеловать. *(Долго и страстно целует ее.)*

Ева с трудом вырывается.

Какие сладкие у тебя губы! Аппетитные! *(Снова пытается обнять ее и поцеловать.)*

Ева. Ты меня задушишь.

Тамаш. Ну, полно, дорогая, давай-ка лучше потанцуем. *(Сделав несколько па, останавливается.)* Послушай, Ева. Мне очень хочется, чтоб ты полюбила меня. Хотя то, чего я так жажду,— несусветнейшая глупость, чистейший вздор. Ведь что такое любовь? В сущности — цепь нелепых осложнений.

Ева *(с наигранной обидой)*. Ну, если ты так считаешь...

Тамаш. Погоди, погоди! Раз тебя это шокирует, могу выразиться более изысканно: любовь — это трепетное ожидание с замиранием сердца, можно захлебнуться от счастья, но можно и зачахнуть от любовной тоски.

Ева. Ах, бедняжка Тамаш. У тебя слишком заигранные пластинки. *(Умильно передразнивая.)* «Захлебнуться от счастья», «трепетное ожидание», «с замиранием сердца», «зачахнуть от любовной тоски»! Такой высокопарный стиль был модным разве что в пору юности моего прадеда.

Тамаш *(шепотом, приблизившись к ней)*. Скажи, ты хотела бы долго жить?

Ева. Да.

Тамаш. Ну и напрасно ты строишь иллюзии. *(Упоен собой.)* Посуди сама. Если, к примеру, продлить жизнь человека лет этак на сто, что же получится? Тебе, скажем, стукнет сто двадцать, а мне сто двадцать три... Мы ни на что уже не будем способны. Дряхлый, немощный старец, я уже не в силах буду целовать, любить тебя... В таком возрасте нельзя быть полноценными людьми... Жить полнокровной жизнью...

Ева *(упорствуя)*. Все равно хочется жить долго-долго.

Тамаш. Зачем?

Ева. Чтобы долго быть счастливой. *(Пересилив себя.)* Ну и сентиментальная же я, как моя бабушка.

Тамаш. Помолчи-ка лучше! *(Снова целует ее.)*

Ева *(освобождаясь от объятий)*. Как грустно будет очнуться от этого волшебного сна...

Тамаш. Очнуться? От этого сна, дорогая, очнуться невозможно. Оно уже существует в нас — чудное, бесценное, неповторимое сокровище... Его не купишь ни за какие деньги. И от него теперь уж никуда не денешься. Никто не в силах истребить это чувство.

Ева *(смотрит ему в глаза)*. Даже ты не в силах?

Тамаш. Мой дед ответил бы так: «Вот пристала, как колючий репей, ты меня совсем не любишь».

Ева. А моя бабка тут же отпарировала бы: «Любовь зла, полюбишь и козла. Это ты меня не любишь».

Тамаш. Но мой дед возразил бы: «Нет, люблю, люблю, и мне жаль каждую упущенную нами минуту, ведь жизнь человека так быстротечна и безвозвратна».

Ева. Моя бабушка взмолилась бы: «Не буди спящую. Пусть ей, блаженной, грезятся радужные мечты».

Тамаш. Ты совсем захмелела, моя дорогая.

Ева *(гордо)*. Моя бабка никогда не пила хмельных напитков.

Тамаш. Но мы выпьем.

Ева *(поднимая свой невидимый бокал)*. За тебя!..

Тамаш. За тебя!.. *(Тоже поднимает свой бокал.)*

Чокаются и пьют.

Свет медленно гаснет.

ЗАСЕДАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

Яркий свет освещает сидящих за столом. Молодой физик Эрвин Лукич сидит напротив Понграца, рядом с которым Седечи, Фабиан и стенографистка.

Лукич *(запинаясь, сбивчиво)*. Видите ли... Начну сразу вот с чего... Я и не предполагал, в какую скверную историю влипну... А о том, каково будет ее продолжение, я и понятия не имел... Я...

Понграц. Спокойно, не волнуйтесь, товарищ Лукич. *(Стенографистке.)* Пишите, Жужика... Тибор Лукич сообщает...

Лукич *(перебивает)*. Простите... Эрвин. *(Совсем сконфуженный.)* Эрвин я.

Понграц *(еле сдерживая улыбку)*. Итак, Эрвин Лукич сообщает... *(Лукичу.)* Вы работаете в Институте физики металлов?

Лукич. Да, там.

Понграц. Вы провели испытания?

Лукич. Да, эта работа была возложена на меня.

Понграц. В своем заключении вы написали, что качество канатов безупречное.

Лукич *(нехотя, неопределенно)*. Да... я так написал.

Понграц. Но теперь-то вам уже известно, что после монтажа канаты вскоре стали рваться?

Лукич. Да, я что-то слышал об этом.

Понграц. Могу ли я узнать, каково ваше мнение на этот счет?

Лукич *(набравшись храбрости).* Извольте, я буду откровенным... Эта экспертиза была первой моей самостоятельной работой... а времени на ее выполнение почти не дали... Испытание канатов на прочность пришлось провести буквально за один день... И... и эти испытания дали каким-то образом негативный результат.

Понграц. Негативный?

Лукич. Словом... Было похоже на то... что определенная часть канатов не вполне кондиционна... Но мне стало известно, что аналогичную экспертизу провел инженер Кернер... А Кернеру я доверял... его знаниям, профессиональному опыту... Как я мог оспаривать компетентность авторитетного специалиста Кернера?

Понграц. Значит, вам было известно о заключении Кернера?

Лукич. Да, я знал о нем.

Фабиан. И каким образом вам удалось ознакомиться с содержанием этого документа?

Лукич. Я был у Кернера.

Фабиан. Для чего?

Лукич. Чтоб проконсультироваться с ним.

Понграц. Итак, вы с ним консультировались. Ну, а потом?

Лукич. Я с ним посоветовался... и он одернул меня за излишнее рвение. Заверил, что все, мол, в полном порядке, и незачем создавать трудности, быть не в меру придирчивым... Он обезоружил меня, убедил своими доводами.

Понграц. Значит, у вас были опасения, сомнения?

Лукич. Да, я колебался.

Понграц. А вы не подумали о возможных последствиях? Не предполагали, что дефектные канаты могут оборваться?

Лукич. Меня крайне огорчает вся эта история... Я не стану оправдываться... Я позорно провалился, уронил свое достоинство и в собственных своих глазах, и в глазах коллектива института... Я сознаю свою вину...

Седечи. Итак, вы утверждаете, что советовались с Кернером?

Лукич. Да, советовался.

Понграц. И у вас не закралось подозрения?

Лукич. Какие подозрения у меня могли возникнуть?

Мне было сказано, задание, мол, срочное, неотложное, в интересах народного хозяйства, его выполнение нельзя затягивать. Сроки поставки партии канатов сжатые. Не стоит, мол, тянуть волынку, канителиться, как некоторые позеры, зазнайки, я-де сумею покончить с экспертизой за несколько часов... Словом, я обратился к Кернеру всего лишь за советом.

Фабиан. Вы и прежде знали друг друга?

Лукич. Встречались у моей тетушки.

Седечи. Вы родственники?

Лукич. Нет.

Понграц *(Лукичу)*. Скажите, вы получили от Кернера вознаграждение?

Лукич *(остолбенев, испуганно протестует)*. Да что вы! Нет! Ничего я не получал... С какой стати? Он это утверждает?

Понграц. Нет. Не утверждает. Не обижайтесь, но мы считаем нужным выяснить и это обстоятельство. Значит, денег вы от него не получили.

Лукич. Нет, нет, нет!..

Понграц. Больше у нас нет вопросов. Еще раз благодарю, что вы потрудились сюда прийти.

Лукич *(встает, стоит в нерешительности)*. Позвольте спросить... Это правда, будто в Иванде... когда произошла авария на канатной дороге... никто не пострадал.

Понграц. Да, верно, никто не пострадал.

Лукич. Благодарю. *(Поклонившись, уходит.)*

Фабиан. Сопляк!.. *(Стенографистке.)* Этот нелестный эпитет тоже можете записать.

Седечи *(Понграцу)*. Что я говорил? Чью правоту подтвердил физик?

Понграц. А почем ты знаешь, что он сказал правду? Все они лукавят, ловчат. Да, дело несколько запутывается... *(Стенографистке.)* Пригласи Кернера.

Стенографистка выходит.

Седечи *(Понграцу)*. Ты ему скажешь, о чем тут говорил Лукич?

Понграц. Что я, белены объелся?

Возвращается Кернер, следом за ним стенографистка.

(Не приглашая Кернера сесть.) К сожалению, протокол еще не готов, мы перешлем его вам позже. Но прежде чем вы уйдете, я хотел бы еще кое-что выяснить.

Кернер. Пожалуйста, я к вашим услугам.

Понграц. Вы знали, кто был вторым экспертом?

Кернер. Нет.

Понграц. Физик Эрвин Лукич из Института физики металлов.

Кернер. Я этого не знал.

Понграц. Стало быть, вы никогда не говорили с Лукичем об испытаниях канатов под нагрузкой и на разрыв?

Кернер *(с тревожной ноткой в голосе)*. Нет... не говорил.

Понграц. Спасибо. Я прошу занести это в протокол.

Кернер. Можно мне, наконец, уйти?

Понграц. Пожалуйста.

Кернер, поклонившись, уходит.
Сидящие за столом молча провожают его взглядом.

Седечи *(торжествующе)*. Ну вот и этот наконец раскрылся! Он же нагло врет. Вконец изолгался.

Фабиан *(спокойно)*. По-моему, новые показания Кернера проливают свет на все неясные до сих пор вопросы. Конечно, он дал ложное заключение ради денег, а Лукич — по недомыслию.

Понграц. А Шолтес?

Фабиан. Шолтес здесь ни при чем.

Седечи. С этим делом пора кончать. Ведь ясно как божий день — Шолтес невиновен, он держался корректно, работал, как всегда, аккуратно, добросовестно.

Понграц. Да не торопитесь вы... Я считаю — эту партию необходимо доиграть до конца.

Фабиан. Не понимаю — что ты намерен еще выяснять?

Понграц. Самое существенное. Подумайте... Кернер знал, что канаты негодны, Лукич — подозревал, эту истину мы выяснили. Но почему Шолтес проявил слепоту? Он что, ничего не видел?

Седечи. В его задачу входило только одно — обеспечить выполнение монтажных работ в срок.

Понграц. Даже при наличии негодных канатов?

Фабиан. У него на руках имелись заключения двух экспертов, в них черным по белому было зафиксировано — канаты годны к монтажу.

Понграц *(с раздражением стукнув кулаком по столу)*. Черт побери!.. Смотрел бы лучше не на бумажки, а на канаты! *(Стенографистке.)* Позовите Дёмёка!..

Правая часть сцены погружается в темноту.

Снова освещена левая часть сцены.

Холлоди *(Еве)*. Итак, в первый субботний вечер вы мило провели время, танцевали, и с тех пор часто встречались. А теперь расскажите нам, пожалуйста, о том субботнем вечере, когда вы болели и Тамаш навестил вас в студенческом общежитии...

Свет из зала суда переключается на ту часть сцены, где находится изолятор студенческого общежития. За столиком в домашнем халатике сидит Ева, читает. Рядом с ней — Вера. Она листает большой альбом. Обе некоторое время молчат.

Ева *(вынимает из-под мышки градусник, смотрит на него)*. Тридцать восемь и два.

Вера *(поднимает глаза)*. Пустяк.

Ева *(прячет градусник в футлярчик)*. Тридцать восемь и два, по-твоему, пустяк?

Вера. Конечно, пустяк.

Ева. Посмотри-ка горло. *(Раскрывает рот.)* А-а-а-а!..

Вера. Еще красное.

Ева. Очень?

Вера. Как дивный венецианский пурпур. *(Показывает открытый художественный альбом.)* Гляди, вот такой... как у Тициана, ярко-красный. Нравится?

Ева *(раздосадованная, отворачивается)*. Да ну тебя.

Вера продолжает листать альбом.

(Минуту спустя.) С кем ушла Клари?

Вера. Поехала в Оперу с новым знакомым.

Ева. А Юдит?

Вера. Укатила за город с доктором на его «вартбурге».

Снова молчат. Читают.

(Спустя несколько мгновений закрывает книгу.) А правда, в общежитии очень уютно сейчас? Кругом тишина, комнаты пустые. Сиди себе и почитывай. А жар — это даже приятно... Тридцать восемь и два... Как будто стаканчик джина выпила...

Ева *(ворчливо)*. Дурочка! С умом хоть утешай. Нет ничего хуже, как прозябать в одиночестве в общежитии, да еще в субботний вечер. Все развлекаются с друзьями... Танцуют, слушают музыку, гуляют по набережной Дуная, а то и кейфуют в уютных эспрессо... Кружат друг другу

головы... Пьют вино, а не полощут горло кипяченой водичкой... Знаешь, я стараюсь по субботам освобождать себя от неприятностей. Все беды, огорчения, заботы прячу в шкатулочку, весь скопившийся за неделю хлам выбрасываю в окошко... и с легким сердцем ухожу из этой тихой обители. А ты меня убеждаешь, будто здесь приятно сумерничать в это время, да еще в полном одиночестве. Скажи, а почему ты в субботу всегда остаешься дома?

Вера *(тоскливым взглядом окинув свои ноги)*. С этакими-то ходулями? С окулярами в шесть диоптрий? Помилуй, кто же пригласит такую страшную уродину?

Ева *(неожиданно воскликнув)*. Тамаш!

Действительно входит Тамаш.

Как ты здесь очутился?

Тамаш. Неважно.

Вера. Зайцем проскочил?

Тамаш. Ухитрился. *(Еве.)* Чуть было не наскочил на дежурную. Я ведь не знал, что ты в изоляторе. Что с тобой?

Ева. Представь себе, невезение, как назло заболела гриппом — в мае-то!

Тамаш. Температура?

Ева. Тридцать восемь и два.

Тамаш. Пустяк!

Вера. Вот и я говорю.

Тамаш. Вы не могли бы оставить нас одних?

Вера. А я и сама хотела... *(Обиженная уходит.)*

Ева. Зачем ты обидел девушку?

Тамаш *(цинично)*. Чтоб не была дурочкой.

Ева. Как хорошо, что ты здесь!.. *(С тревогой.)* Тебя в самом деле никто не заметил?

Тамаш. Не волнуйся, никто. Проскочил незамеченным.

Ева. А я уже отчаялась, думала, не получится субботнего вечера... Тебе нельзя здесь оставаться, Тамаш.

Тамаш. Я и не намерен. Одевайся и поехали.

Ева. Куда?

Тамаш. Ах да, ты еще не знаешь... Фери Тёрёк нынче вечером собирается съездить на своей машине в Дёпдёш. И нас с тобой прихватит. Фери симпатичный парень, обещал подбросить нас в горы Матра. Там, в курортном кабачке Матра-Фюреда, мы перекусим, выпьем чарочку-другую доброго винца и потанцуем всласть до самого за-

крытия. *(Беспечно.)* И знаешь, там есть укромный уголок... Мы сможем побыть наедине... Ведь нам так редко это удается...

Ева *(грустно)*. Вот было бы чудесно.

Тамаш. В таком случае собирайся!

Ева. Увы, мой дорогой, это невозможно.

Тамаш. Почему?

Ева. Я не могу удрать из изолятора.

Тамаш *(раздраженно)*. Да ты с ума сошла! У нас есть машина, понимаешь? И Фери на рассвете подбросит нас домой, он тоже всего лишь на ночь едет в Дёндёш. Его там ждут.

Ева. Но меня же выставят из общежития, если узнают.

Тамаш. Да не трусь ты!

Ева. Конечно, съездить бы здорово. Но что поделаешь, придется отложить до другого раза.

Тамаш. В другой раз у нас не будет машины. Было бы глупо ею не воспользоваться.

Ева. А если меня выставят отсюда, где я смогу устроиться?

Тамаш. Когда еще нам выпадет такая редкая удача — субботний вечер с попутной машиной?

Ева. Что для тебя, в конце концов, важнее — попутная машина или я?

Тамаш *(вдруг подчеркнуто холодно)*. Ладно, раз так, я больше не настаиваю. Ты взрослая — вольна поступить как угодно, можешь вовсе выйти из игры.

Ева. Ты что, сердишься?

Тамаш. Обойдемся без мелодрамы. Коль ты — кисейная барышня, затворница, оставайся в своей келье, а я ухожу.

Входит Вера, неся Еве одежду.

Вера. Простите, если помешала. *(Еве.)* Я принесла твое зеленое платье. Ну что, угадала?

Тамаш *(прижимая ее к себе)*. Ты ангел!

Вера *(с грустью)*. Так я и знала, что этим кончится. Весь вечер придется томиться в полном одиночестве. *(Тамашу.)* А теперь быстро сматывайте удочки, не то, чего доброго, еще заметят.

Тамаш *(Еве)*. Жду тебя в машине, «фольксваген» стоит на углу.

Снова освещается другая часть сцены — зал судебного заседания. Тамаш подходит к судейскому столу.

Холлоди. Итак, куда вы направились в тот вечер?

Тамаш. В горы Матра.

Холлоди. И вас нисколько не тревожило, что у вашей спутницы высокая температура?

Тамаш. Это весьма условно. Таблетка аспирина — и температура падает. Все в наших руках.

Холлоди. Да прими она даже дюжину таблеток, это не оправдывает вашей безответственности. Вы увели больную девушку из изолятора. И вернулась она в общежитие не в воскресенье, как вы обещали, а только в понедельник, в полдень.

Тамаш. Потому что Фери Тёрёк оказался дубиной! Решил, верно, удружить мне и внезапно исчез. Поверьте, мы с Евой все воскресенье безуспешно разыскивали его в Дёндёше, так и пришлось возвращаться в Будапешт ночным поездом.

Ева *(подходит к судейскому столу)*. А спустя неделю мне, разумеется, отказали в общежитии, к тому же нашлись этакие моралисты, мнящие себя людьми современными и просвещенными, которые осудили меня. Девушка, мол, должна вести себя благоразумно, а уж если ты влипла в скверную историю, изволь это скрыть. Но я не могла скрыть, да и не хотела, потому что ни хитрить, ни ловчить не умею. Я сразу признала свою вину. Теперь-то мне ясно, что я сглупила, но тогда не могла поступить иначе. Это была трудная для меня пора. Тамаш исчез, оставил меня одну, и я тяжело это переживала.

Тамаш незаметно выходит из освещенной части сцены.

Холлоди. Как же вы жили в то лето?

Ева. Сдав экстерном экзамены по иностранным языкам — английскому и немецкому, я поступила работать гидом-переводчицей. Лето в тот год выдалось чудесное, и я часто выезжала с туристическими группами на Балатон и в заповедные места Хортобадя. Многие наши студенты подрабатывают таким образом. Вот и мне пришлось, чтобы скопить денег на зиму. Меблированные комнаты стоят дорого.

Студент-моралист *(подходит к Еве)*. Но ты продолжала работать и осенью, когда уже шли занятия в университете. Мы весьма редко видели тебя на лекциях.

Ева *(горячо)*. Да-да, ваше ханжество, цинизм, зависть отравляли мне жизнь.

Студент-моралист. Ты разъезжала в машинах...

Завистница *(подходит к Еве.)* Кавалеры роем увивались вокруг тебя.

Студент-циник *(подходит к Еве)*. Скажи уж по секрету — хорошо гульнула?

Окружив Еву, опи забрасывают ее вопросами.

Студент-моралист. Как ты сдала экзамены? Это верно, что у тебя снизились оценки?

Завистница. А откуда у тебя деньги на наряды? Дары поклонников?

Студент-циник. Домой-то небось возвращаешься на рассвете? Чего таиться, я же за вольготную жизнь.

Завистница. К тебе и в общежитие захаживали мужчины, не станешь же ты отпираться?

Студент-моралист. Говорят, в Матрафюреде ты танцевала в нетрезвом виде — верно?

Ева *(вспыхнув)*. Вы мне завидуете и потому стараетесь унизить. Не дождетесь, раскаиваться и просить прощения я не стану... А правду — извольте. Да, ночная прогулка в горы была восхитительной. И я нисколько о ней не жалею. Я танцевала тогда с упоением, но охмелела не от вина... Чувства переполняли меня, я была счастлива... Гоните меня из общежития, пачкайте мое имя, жалуйтесь, ябедничайте, я не боюсь вас!

Студент-циник. Смотри, пожалеешь! *(Вместе с завистницей уходит.)*

Студент-моралист. Ты и сейчас не раскаиваешься?

Холлоди *(Еве)*. И кто же донес на вас осенью в деканат?

Ева *(указывая на студента-моралиста)*. Он.

Студент-моралист. Потому что ты то и дело удирала с лекций.

Холлоди *(Еве)*. Это правда?

Ева. Да. Осенью, в разгар охотничьего сезона, приезжает много охотников-любителей, вот я и сопровождала их на отстрел. За две недели можно было заработать тысячу двести форинтов. Работала я и в экспортно-импортных объединениях. Там на час-другой всегда нужен был переводчик.

Холлоди *(студенту-моралисту)*. И вы сообщили об этом в деканат?

Студент-моралист. Полагалось. *(Кивнув, уходит.)*

Ева. Та осень оказалась для меня особенно трудной... Хлебнула я тогда... Приходилось то и дело искать работу, иной раз далеко не легкую, да и с жильем было плохо: жила я в тесных, неблагоустроенных каморках, но брали за них дорого. Порой я просто падала от усталости. Выход, как мне тогда казалось, был один — переехать к Тамашу. Так я и сделала. Мы поженились. И тогда же договорились...

Холлоди. О чем?

Ева. Однажды, когда я вернулась домой после двухнедельного отсутствия — сопровождала немцев в Пилишские горы,— Тамаш был чем-то расстроен. Я сразу это заметила и принялась, как могла, развлекать его.

Постепенно свет с судейского стола переключается на середину сцены, где сидит Тамаш. Он явно не в духе, курит.

(Все еще перед судьей). Наш уговор не был заверен у нотариуса, но я свято его соблюдала. *(Подходит к Тамашу.)* Тамаш, милый, ты видел когда-нибудь зяблика? *(Открыв сумку.)* Посмотри, какое чудесное у него оперение... Белоснежное, а снизу темно-красное... *(Показывает.)* А вот его яичко... На сизой скорлупке бурые крапинки... Нет пташки прелестней. Разве что снегирь. О, снегирь — дивная птица! Певчая с красной грудкой, а яички желто-зеленые. *(Показывает.)* Смотри, вот такие...

Тамаш смотрит без всякого интереса.

Я тебе никогда не рассказывала о моей коллекции. В детстве я собирала птичьи яйца. Много набрала — шестьдесят восемь... Там было и яичко обыкновенной овсянки — на серой скорлупке голубые крапинки, и какой-то редкой у нас птицы — голубая скорлупка в красных крапинках, и коноплянки — светло-голубое с коричневыми пятнами. Было у меня и яичко черного дрозда.

Тамаш *(насмешливо).* Дикая деревенская девчонка коллекционирует птичьи яйца. Как в сказке! Бродит своевольная упрямица по лесу, лазит по деревьям и собирает яички, так?

Ева. Ну и насмехайся! В самом деле было так. Да, деревенская девчонка, строптивая, упрямая, увлекалась коллекционированием птичьих яиц. И дивная была коллекция! Такое разнообразие в расцветке и форме... Ну про-

сто живопись Кандинского! Свои сокровища я хранила в коробке с ватой. *(С гордостью.)* Я ухитрилась собрать даже две коллекции... *(С грустью.)* И обе разбили. Одну — мальчишки, а другую — моя мать. Как-то я свалилась с дерева и сломала руку, мать надавала мне пощечин, а затем уничтожила всю коллекцию, одно яичко за другим... Я так горевала, что даже не заплакала тогда... Тебе скучно? Тамаш, ты меня не слушаешь?

Тамаш. Извини. Я думал совсем о другом.

Ева. Что-нибудь случилось? Что с тобой?

Тамаш. Ева, милая, нам надо с тобой серьезно поговорить.

Ева. Я слушаю тебя!

Тамаш. Говорить я буду о сугубо материальном, о прозаическом. Моя ежемесячная стипендия — всего пятьсот форинтов. Тебе же удается заработать по две-три тысячи форинтов в месяц. Вот и сопоставь эти суммы.

Ева. Дурачок мой, неужели это тебя огорчает?

Тамаш. Послушай, Евушка, меня беспокоит другое. У тебя плохи дела в университете, и долго так продолжаться не может. Ты же знаешь — в деканате известно все: что ты пропускаешь лекции, манкируешь занятиями. Потому что должна зарабатывать. Словом, необходимо прекратить твою халтуру, это ясно, но что тогда будет с нами? Ведь тебя лишили стипендии, а на мои пятьсот форинтов мы не проживем. Ну, допустим, наскребем еще сотни две-три. Хватит ли этого? Проживем ли? Словом...

Ева. Словом... продолжай...

Тамаш. Я хочу предложить на твое усмотрение конкретный план действий. Один из нас год-другой будет исключительно зарабатывать деньги на жизнь. Только зарабатывать, понимаешь? А второй тем временем, энергично взявшись за дело, защитит диплом. А потом поменяемся ролями. Специалист с дипломом станет зарабатывать деньги на жизнь, а другой займется дипломом. Согласна?

Ева *(неуверенно)*. Пожалуй...

Тамаш. Мне до окончания института остался всего год, а тебе целых три. Я готов отсрочить диплом на год, чтобы ты тем временем училась, но можно сделать и наоборот. Ты начнешь, вернее... по-прежнему будешь обслуживать своих иностранцев-охотников, а я... Сразу не отвечай. Надо хорошенько все обдумать, а пока что — утро вечера мудренее, ложимся спать.

Та часть сцены, где происходило действие, погружается в темноту, и освещается другая, где происходит заседание дисциплинарной комиссии. Напротив членов комиссии сидит Дёмёк — прораб строительства ивандской канатной дороги. В конце стола стенографистка ведет запись.

Понграц. Что-то я не все понял. Повторите, пожалуйста, товарищ Дёмёк, но только самое существенное, покороче.

Дёмёк *(многословный, обидчивый человек лет сорока — сорока пяти. На Шолтеса явно зол, это чувствуется по его показаниям, но сейчас его задела просьба Понграца — рассказать «покороче»)*. Я никого не собираюсь утруждать своим рассказом, но мне поневоле приходится вдаваться в подробности, иначе вы не поймете, в чем дело. Но раз надо покороче — извольте. Итак, я докладывал инженеру Шолтесу, как обстоит дело, но он не стал меня слушать, а только махнул рукой и сказал — продолжайте. Словом, приказал мне продолжать монтажные работы.

Фабиан. Уточните, пожалуйста, как именно вы ему докладывали? Этот разговор все-таки желательно воспроизвести со всеми подробностями.

Дёмёк *(Понграцу)*. А не покажусь ли я вам слишком многословным?

Понграц *(сдается)*. Нет-нет, это важно, так что рассказывайте поподробнее.

Дёмёк *(с торжествующим видом)*. Одним словом, дело было вот как: в среду, в десять часов утра, нет, пожалуй, было уже половина одиннадцатого, отзываю я в сторону инженера Шолтеса и говорю ему, дескать, беда у нас, неполадки на стройке. А в чем дело? — спрашивает он. С канатом, говорю, что-то неладно. С канатом, обрывает он меня, все в порядке. Сказал, как отрезал, и я понял, что никакие мои доводы его не убедят. Вот так он ответил и отошел. Этот разговор состоялся у нас в среду.

Фабиан. А почему вы решили, что с канатом не все в порядке?

Дёмёк. Да достаточно было на него взглянуть, чтобы сразу понять, в чем дело.

Седечи. А могла ли быть допущена при монтаже перетяжка?

Дёмёк. Нет, монтаж производился согласно установленным нормам.

Понграц. Смонтированные канаты нигде не пересекались?

Д ё м ё к. При монтаже никаких отступлений от проекта не допускалось. Опасения внушало только качество каната.

Ф а б и а н. Значит, вы довели до сведения инженера Шолтеса свои опасения?

Д ё м ё к. Во вторник я ему только сообщил, что канаты провисают, наружные нити обрываются, а кое-где и расщепляются.

П о н г р а ц. А в среду? Вы показали, что в среду даже дважды беседовали с инженером Шолтесом.

Д ё м ё к. При вторичной беседе я предупредил его, что канаты распустятся словно бутоны роз.

С е д е ч и. Откуда вы это взяли?

Д ё м ё к. Мастер своего дела с первого взгляда способен определить качество материала, с которым предстоит работать.

П о н г р а ц. Итак, вы предупреждали товарища Шолтеса о плохом качестве канатов?

Д ё м ё к. Да. Убеждал его, что эти канаты не стоит даже разматывать с барабана.

П о н г р а ц. А он?

Д ё м ё к. Он заявил, пусть, мол, вас это не беспокоит. Канаты прошли экспертизу в Институте стали, да и физики их испытывали. Так что нам волноваться нечего. Они, дескать, специалисты — не мы.

П о н г р а ц. И что же, инженер Шолтес даже не счел нужным осмотреть эти канаты?

Д ё м ё к *(осторожно)*. Этого я не знаю.

Ф а б и а н. Так был в среду инженер Шолтес на стройке или не был?

Д ё м ё к. В среду был.

Ф а б и а н. Так как же?

Д ё м ё к *(еще осторожнее)*. Не могу же я знать, что видел, а чего не видел в тот день инженер Шолтес.

С е д е ч и *(неожиданно)*. Скажите, Дёмёк, а какие у вас отношения с инженером? Вы в ссоре? Или, может, давно враждуете?

Д ё м ё к. Нет, не в ссоре. И никакой вражды меж нами нет. Да имей я на него зуб, и тогда не пошел бы против. Подавил бы свою неприязнь, и дело с концом.

С е д е ч и *(подходит к воображаемой двери)*. Тамаш, войди! *(Садится на свое место.)*

Спустя несколько мгновений входит Т а м а ш. При виде Дёмёка лицо его приобретает выражение холодности и настороженности.

Понграц *(Дёмеку)*. Повторите, пожалуйста, все, что вы только что нам рассказывали. О том, как вы поставили инженера Шолтеса в известность, что канаты непригодны, и как он, несмотря на ваше предупреждение, распорядился их монтировать.

Дёмёк *(повернувшись к Шолтесу)*. Я докладывал.

Тамаш *(категорически)*. Нет, вы ничего мне не докладывали.

Дёмёк. Но вы, вы-то сами должны были заметить, что наружные нити каната уже кое-где рвутся.

Тамаш. Я ничего не заметил.

Дёмёк. В прошлую среду, если помните, я дважды обращался к вам, но вы изволили меня прогнать.

Тамаш. Не в моих обычаях прогонять кого бы то ни было. Вас я тоже не прогонял.

Дёмёк. Вы махнули рукой. Это одно и то же.

Понграц *(Тамашу)*. Словом, ты настаиваешь на своем?

Тамаш. Да, настаиваю и утверждаю — Дёмёк ни о чем меня не предупреждал и ни о чем не докладывал. К слову сказать — Дёмёк относится ко мне с явным предубеждением.

Понграц. Это еще почему?

Тамаш. Из-за женщины.

Понграц *(раздраженно)*. И тут женщина. Снова амуры?

Тамаш. В Иванде Дёмёк настойчиво ухаживал за девушкой по имени Лонци. Она не отвечала ему взаимностью, вот он и решил, что виноват в этом я. С тех пор он меня ненавидит.

Дёмёк. А разве не правда, что вы преподнесли ей пражские бусы?

Тамаш. Неправда. Никаких бус я никогда никому не дарил.

Понграц *(сдерживая раздражение)*. Перестаньте, прошу вас! Оставим в стороне эти запутанные амурные дела. *(Дёмёку.)* Скажите, пожалуйста, есть ли у вас свидетель, который мог бы подтвердить, что вы действительно предупреждали товарища Шолтеса?

Дёмёк *(в замешательстве)*. Я никого не звал в свидетели... Зачем?

Понграц. Но кто-нибудь слышал ваш разговор?

Дёмёк. Не могу знать.

Понграц. Вы показывали ему канаты при людях?

Дёмёк. Да, кто-нибудь, наверное, видел...

Понграц *(все более раздражаясь)*. Кто именно видел? Назовите их имена. С кем вы говорили о своих опасениях? Ведь с кем-то вы говорили об этом, делились, а?

Дёмёк. С товарищем Шолтесом.

Понграц. А кроме него?

Дёмёк. Я вовсе не хотел предавать дело огласке... Надеялся, что инженер Шолтес сам поймет, чего я добиваюсь.

Понграц. А чего вы добивались?

Дёмёк. Чтоб мы приостановили монтажные работы, отказались от подряда.

Тамаш. Оно и понятно, ведь его ненаглядная Лонци взяла расчет и Дёмёк мечтал последовать за ней.

Понграц. Прошу прекратить разговоры, не имеющие отношения к делу. Поймите же наконец!

Дёмёк *(Тамашу угрожающе)*. Только попробуйте еще раз проехаться по ее адресу. Уж там, в Иванде, я за все вам отплачу.

Седечи *(резко)*. Вы, Дёмёк, я вижу, настроены против инженера Шолтеса.

Дёмёк. Да, не скрою. Я зол на него.

Седечи *(раздраженно)*. Тогда зачем же вы нам заявляли, что, имей вы против него зуб, и тогда бы постарались преодолеть свою неприязнь.

Дёмёк. Потому что не хочу впутывать в это дело имя Лонци.

Понграц *(видя, что ему с ними не сладить)*. Ну, будет, хватит, покончим с этим! А теперь прошу вас обоих выйти!

Дёмёк направляется к выходу, Шолтес продолжает стоять на месте.

(Шолтесу.) Ты тоже выйди.

Тамаш с недовольным видом выходит вслед за Дёмёком.

Седечи. Этот Дёмёк явно хотел очернить Тамаша, да не вышел номер.

Фабиан. Рыл ему яму и сам угодил в нее со своей Лонци.

Стенографистка *(нескромно ввязавшись в разговор)*. А вдруг эта Лонци — зазноба товарища Шолтеса?

Понграц *(вспылив)*. Лонци, Лонци! Неужели вы все

из-за деревьев леса не видите? Черт побери! Неужели вас не волнует существо дела? Говорил ли Дёмёк с Шолтесом? Предупреждал его или нет? И почему Шолтес не приостановил монтажные работы? Что это — уверенность в своей правоте или злой умысел?

Седечи *(недоумевая)*. А чего ради он стал бы действовать по злому умыслу?

Понграц *(беспомощно и по-прежнему раздраженно)*. Вот этого-то я и не знаю.

Седечи. Что за польза Шолтесу монтировать явно негодные канаты?

Понграц. Этого я тоже не знаю.

Фабиан. Тамаш Шолтес заручился заключением двух экспертов, они подтвердили пригодность канатов. А прораб, который якобы предупредил инженера, как выяснилось, зол на него! Чего тут еще выяснять?

Понграц. Не знаю.

Фабиан. Я предлагаю закончить дело инженера Шолтеса и считать вопрос исчерпанным.

Седечи. Я за это предложение.

Понграц. А я против.

Седечи. Двое против одного.

Понграц. И для вас вопрос решается так просто: двое против одного?

Сцена погружается в темноту, но по-прежнему слышится голос Понграца.

Двое против одного!.. И, стало быть, вопрос исчерпан? Двое против одного! И можно почить на лаврах? Двое против одного!.. Все, дескать, улажено?.. И можно преспокойно отправляться на боковую?

БРАКОРАЗВОДНЫЙ ПРОЦЕСС

В свете прожектора видна Ева. Она поворачивается лицом к судье, сидящему за судейским столом на возвышении.

Ева. Каким я считаю наше супружество? Счастливым? Неудачным? Или мы сошлись, воспылав страстью, а потом наши чувства остыли и мы охладели друг к другу? Увы, наши супружеские отношения определялись отнюдь не постоянством чувств и привязанностью. Чувства наши, подобно маятнику, были неустойчивы. Мы шарахались то в одну сторону, то в другую. Горячо принимаясь за что-ни-

будь, мы вскоре оба остывали. Однажды выдался чудесный вечер, когда казалось, что все переменится к лучшему и наша жизнь наладится... Тамаш в ту пору уже работал в политехническом институте. Ему удалось устроиться на кафедру по проектированию металлических конструкций. И вот в тот самый вечер он пришел домой расстроенный, бледный...

В расширяющийся светлый круг входит Тамаш.

Тамаш *(в полном отчаянии подходит к Еве)*. Залепи мне пощечину!

Ева *(испуганно)*. Бога ради! Что с тобой?

Тамаш. Бей, да посильнее, чтобы было больно.

Ева. Тебя кто-нибудь обидел? Говори...

Тамаш. Ты что, оглохла?! Не слышишь, о чем я тебя прошу? *(Смотрит ей в лицо.)* Мы собирались поехать летом в Париж? Так вот, мы не поедем! По моей глупости, из-за моего идиотизма мы никуда не поедем! Жаль? Так дай же мне, наконец, затрещину! *(Хватает Еву за руку.)*

Ева. Ты сошел с ума, пусти.

Тамаш. Мечтали о квартире? Ее тоже не будет... Мечтали, что осенью ты снова поступишь в университет? Так вот, тебе предстоит и дальше тянуть лямку, работать переводчицей!.. Хотели обзавестись новой машиной? Придется довольствоваться старой!..

Ева. Ты бы хоть сел. Может, приготовить чашку кофе? Или выпьешь чего-нибудь? У нас есть бутылка черешневой палинки.

Тамаш даже не слушает ее, тяжело опускается на стул перед судейским столом, роняя голову.

Перестань меня мучить, скажи, что случилось?

Тамаш *(поднял глаза, как бы очнувшись)*. Я повздорил с профессором. Наговорил ему много лишнего, нагрубил, и теперь, того и жди, меня выгонят с работы.

Ева. За что? Он же благоволил к тебе.

Тамаш. А я ему надерзил. *(Более спокойно.)* Понимаешь, у нас проводилась большая дискуссия с участием научных светил. Мой профессор выступил с докладом, в котором громил тех, кто вносит филистерский дух в научно-исследовательскую работу института. Мы заранее условились, что первым по его докладу выступлю я. Я тоже начал с нападок на рутину, утверждал, что истинное знание математики и физики для нас, инженеров будущего, куда важ-

нее скрупулезного умения чертить. А затем меня понесло... И закончил я совсем неожиданно,— мол, все эти тезисы, доклады, да и вся деятельность самого профессора — это по сути дела и есть филистерство. Почему я так сказал? Да потому, что так оно и есть. Потому что я терпеть его не могу. Потому что хоть раз в жизни надо было высказать всю правду до конца. Но почему именно мне? *(Снова впадает в отчаяние.)* Если б я все это наговорил спьяну — так нет же! Преступное легкомыслие, непростительная беспечность. Теперь все пропало, все. Прощай теплое местечко, завидное положение при кафедре, блестящая карьера. Теперь придется пристраиваться на каком-нибудь захудалом предприятии, все начинать заново и карабкаться, карабкаться, пока не обломаешь копытца.

Ева. И из-за этого так расстраиваться? Ты же поступил честно, сказал то, что думал, что было у тебя на душе.

Тамаш *(раздраженно)*. Боже мой, неужели до тебя не доходит, что я погорел! Погорел! И теперь уже явно. Но это будет для меня хорошим уроком. Отныне я никогда не стану ввязываться в чужие дела. Никогда больше, слышишь? Пропади все пропадом, пусть хоть весь мир рухнет. Я никогда не вмешаюсь. Никогда в жизни. Понимаешь? Никогда!

Ева выходит вперед к судейскому столу, а квартира Шолтесов исчезает в темноте.

Ева. Наступило время, когда я обожглась. Это случилось значительно позже. У нас была новая квартира — две комнаты с холлом, центральным отоплением. Она досталась нам бесплатно. Тамаш получил ее от работы. В то время он много работал, часто ездил в командировки... и вот однажды, когда он был дома, ночью зазвонил телефон...

На столике в предполагаемой квартире Шолтесов звонит телефон. Столик освещается.

Мы уже легли спать, и получилось так, что я первая протянула руку за трубкой...

Появляется Тамаш, хочет взять трубку, но она уже в руке Евы.

(В трубку.) Алло, квартира Шолтеса. *(Небольшая пауза.)* Говорит Ева Шолтес.

Пауза.

Не сестра, а жена.

Пауза.

Ничего-ничего, пожалуйста. *(Кладет трубку.)*

Тягостная тишина.

Т а м а ш. Кто это звонил?

Е в а *(сдержанно)*. Какая-то женщина.

Т а м а ш *(раздраженно)*. Ночью? Что ей надо?

Е в а. Этого она не сказала. Только спросила — это квартира Шолтеса? Почему-то поинтересовалась, сестра ли я тебе? А когда я ей сказала, что жена, ответила: «Извините, я ошиблась», и положила трубку.

Пауза.

Т а м а ш. Какая наглость.

Е в а. Как ты думаешь, кто эта женщина?

Т а м а ш. Откуда мне знать?

Е в а. Но, по-моему, она звонила тебе.

Т а м а ш. Почему мне?

Е в а. Потому что она явно хотела говорить не со мной.

Небольшая пауза.

Ей была нужна квартира Шолтеса, а когда на ее звонок отозвалась я, а не ты, она поспешила извиниться за ошибку. Разве не странно?

Т а м а ш. Что ты хочешь этим сказать?

Е в а. А то, что она все-таки хотела говорить именно с тобой.

Т а м а ш *(снова раздраженно)*. Ну и что!

Е в а. Ночью?

Т а м а ш. Ночью так ночью! Почем я знаю, кто это звонил и что ей было надо.

Е в а. Думаю, ты все-таки знаешь.

Т а м а ш *(все раздраженнее)*. Оставь свои догадки. Я устал, спать хочу. *(И, поскольку Ева продолжает стоять молча, вдруг вспыхивает, решив раз и навсегда покончить с этим разговором.)* А если я скажу, что знаю, кто это — что тогда?! Ну что ты молчишь, что ты разыгрываешь комедию? На прошлой неделе мы работали в Тисафюзеше. Там подвернулась одна смазливая бабенка, молодая, кровь с молоком, вот я за ней и поволочился. Любой мужчина на моем месте поступил бы так же. Что в этом предосудительного? К черту мещанские сантименты! Если угодно, могу торжественно заверить — мне нет до нее дела, мы расстались навсегда. И доведись мне еще раз с ней повстречаться, я ей за этот ночной звонок набью морду.

Е в а *(подойдя ближе к судейскому столу, обращается к невидимому судье)*. Его грубый тон оскорбил меня больше, чем самый факт измены. Я почувствовала себя глубоко обиженной его бесстыдным цинизмом, его грубостью. Меня задело, как безжалостно и хладнокровно унизил он мое женское самолюбие, обидел меня.

Т а м а ш *(идет следом за ней)*. А если я здесь, в присутствии судьи спрошу: ты всегда соблюдала мне верность?

Е в а. Нет.

Т а м а ш. Значит, подтверждаешь? Подтверждаешь даже здесь, на суде?

Е в а. Да.

Сцена погружается в темноту.
Когда свет загорается, Е в а и Т а м а ш стоят посередине сцены. Одновременно освещается стол, за которым заседала дисциплинарная комиссия, и зал суда, в котором слушался бракоразводный процесс.

БРАКОРАЗВОДНЫЙ ПРОЦЕСС

Х о л л о д и *(стоит на возвышении за судейским столом, читает решение суда)*. Центральный окружной суд Будапешта, рассмотрев бракоразводное дело Тамаша Шолтеса и его жены, урожденной Евы Хорват, и основываясь на данных суду показаниях, объявляет их брак расторгнутым.

ЗАСЕДАНИЕ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОМИССИИ

За столом виден только Ф а б и а н, юрисконсульт.

Ф а б и а н *(стоя читает решение дисциплинарной комиссии)*. Учитывая имеющиеся в распоряжении комиссии заключения экспертов и принимая во внимание свидетельские показания, которые были даны в ходе рассмотрения дисциплинарного дела инженера Шолтеса, комиссия большинством голосов считает, что данных, подтверждающих его вину, не имеется и предъявлять ему претензии за упущение в работе нет оснований.

Сцена погружается в темноту.

З а н а в е с

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Квартира Шолтесов. Та же комната, что и в первом действии, только освещение изменилось. Комната Тамаша залита утренним солнцем. Тамаш, лежа на тахте, читает, правая нога, обутая в домашнюю туфлю, покоится на пуфе. Раздается звонок. Тамаш тяжело приподнимается и, осторожно ступая на правую ногу, идет открывать дверь. Через секунду возвращается с Евой. Она впереди, он за ней.

Ева *(заметив, что он слегка прихрамывает)*. Что у тебя с ногой? Что случилось?

Тамаш. Ох, не спрашивай, просто нелепый случай. *(С досадой.)* Шел по тротуару и вдруг подвернул ногу. На ровном месте. И нате вам — растяжение связок. Да сядь ты, чтоб я тоже мог сесть.

Ева. С каких это пор ты стал так изысканно вежлив? *(Тут же смягчает тон.)* Не сердись, я не хотела тебя обидеть... *(Быстро садится.)*

Тамаш *(тоже садится)*. Вот уже три недели торчу дома, нахохлившись, словно больной гусак. Представь себе, прочел сентиментальный роман Этвеша «Картезианец».

Ева. Почему именно «Картезианца»?

Тамаш. А не все ли равно?

Ева *(сухо)*. Нет.

Тамаш *(все время внимательно следит за ней)*. Вот видишь, ты готова предположить во мне все дурное. *(Берет книгу, которую читал перед приходом Евы.)* Я читаю новеллы Хемингуэя. А ты сразу поверила, будто я увлечен легким чтивом.

Ева. Разве для тебя это не безразлично?

Т а м а ш. Нет.

Короткая пауза.

И никогда не было безразличным.

Е в а. О, ты снова подчеркнуто вежлив.

Т а м а ш *(встает)*. Выпьешь что-нибудь?

Е в а. Не беспокойся, сиди...

Т а м а ш. Закуришь?

Е в а. Спасибо. Предпочитаю свои.

Т а м а ш *(смотрит на Еву: он уже долгое время живет в одиночестве, его снова влечет к ней)*. Сколько раз надо приглашать? Ведь я так тебя звал... *(Подогреваемый проснувшейся чувственностью.)* Трижды звал.

Е в а. Я была занята.

Т а м а ш. Случается же у тебя хоть изредка полчаса свободного времени?

Е в а *(не обращая внимания на его заискивающий тон)*. Я очень устала.

Т а м а ш. Мне хотелось повидаться с тобой, потому что между нами осталось много невыясненного, неулаженного.

Е в а. А что ты хочешь еще уладить?

Т а м а ш. Мы даже вещи не поделили...

Е в а. Самое необходимое я забрала.

Т а м а ш. Комната твоя...

Е в а *(прерывает)*. Я на нее не претендую.

Т а м а ш. Почему ты сердишься?

Е в а. Вовсе я не сержусь.

Т а м а ш. Здесь остались кое-какие твои мелочи... в стенном шкафу в прихожей я нашел твои записи лекций, старые письма и еще какую-то писанину...

Е в а. Собственно говоря, я за этим и пришла. Сейчас все уложу и тут же увезу. Андреа поможет мне упаковать... Кстати, с твоего разрешения я пригласила сюда Андреа. *(Взглянув на ручные часы.)* Она вот-вот подойдет.

Т а м а ш *(расстроен, что кто-то помешает им остаться наедине)*. Кто такая Андреа?

Е в а. Твоя бывшая сотрудница... *(Поясняет.)* Та самая девушка, которую ты когда-то не отпустил учиться в университет.

Т а м а ш. Она на другой же день ушла от нас, с тех пор я ее не видел. А как вы с ней встретились?

Е в а. В тот вечер, когда ты выставил ее за дверь, я пожалела девушку и устроила ее на работу. Теперь она работает у нас.

Т а м а ш *(насмешливо)*. Разумеется, в университет ты тоже ее устроила.

Е в а. Туда она поступила сама.

Т а м а ш. Заварила кашу. Зачем тебе это понадобилось?

Е в а *(вспылив)*. Ты остался верен себе: во всем всегда видишь только плохое. Мне хотелось помочь человеку, а ты — «заварила кашу»...

Т а м а ш. Ева, ты сердишься на меня?

Е в а. Для меня это уже пройденный этап.

Т а м а ш. Брось. Я ведь вижу, ты все еще любишь меня, потому и кипятишься. Не спорь. Мне тоже тебя недостает. *(Улучив минуту, когда Ева оказалась рядом, обнимает ее.)*

Е в а *(резко)*. Пусти! *(Пытается вырваться.)* Оставь меня!.. *(Отталкивает его.)*

Т а м а ш *(с досадой)*. Не глупи, Ева!

Е в а *(с иронией)*. Значит, ты готов простить меня, принять обратно?

Т а м а ш. «Простить», «принять обратно» — оставим этот устаревший словесный мусор. Выбросим его в корзину для ненужных бумаг. С тобой все должно быть просто, легко... Мне очень недостает тебя, Ева...

Е в а. И ты готов забыть Золи Кернера?

Т а м а ш. Кернера?.. *(Подумав.)* Ты права, насчет Кернера нам нужно кое-что выяснить. В тот вечер я не стал выпытывать у тебя подробности, но теперь хочу спросить: как ты могла снизойти до него?

Е в а. Это тебя волнует?

Т а м а ш. Неужели ты не видела, какой это подлый, коварный человек, хитрый, жалкий трус.

Е в а. Неужели ты все еще злишься на него?

Т а м а ш. Прости за столь нелестную характеристику... Другой он недостоин. *(С презрением)*. Когда его взяли за жабры, как он поступил? А? Сразу же удрал за границу. Скажи откровенно, ты огорчена, что он остался там, за кордоном?

Е в а *(рассеянно)*. О чем ты?

Т а м а ш. О том, что Золи уже не вернется... Жаль, а? Болит за него душа?

Е в а *(просто)*. Это мое дело.

Т а м а ш *(жестом показывает, что вынужден смириться с этим)*. Разумеется. Принимаю к сведению. Кстати, что он пишет?

Е в а. Зачем тебе это знать?

Т а м а ш. Все-таки интересно, что ты о нем думаешь?

Ева не отвечает.

Я спрашиваю не из праздного любопытства, ведь это касается нас обоих, нашего будущего.

Е в а. Разве у нас есть еще будущее?

Т а м а ш. Это зависит только от нас двоих.

Е в а. Тебе и впрямь, видно, несладко, раз ты настроен всепрощенчески. С чего бы это? Все обвинения с тебя сняли, оправдали, можно сказать, ты получил новое задание... Уж не подвернувшаяся ли нога так пошатнула твою обычную самоуверенность?

Т а м а ш. Почему ты все время стараешься задеть мое самолюбие?

Е в а *(резко)*. Иначе я с тобой разговаривать не могу. Я тебе не верю.

Т а м а ш *(мягко)*. Ева...

Е в а *(с изумлением)*. Что?

Т а м а ш. Скажи, я действительно сам толкал тебя на...

Е в а. На измену?

Т а м а ш. Да. Толкал? Вынуждал? Отвечай же!

Е в а. В тот вечер я все тебе сказала.

Т а м а ш. Это была правда?

Е в а. Ты сомневаешься?

Т а м а ш. Скажи, что в словах твоих было правдой, а что нет?

Е в а. Сказать? *(Очень серьезно.)* Да способен ли ты понять чистую правду? *(С минуту раздумывает, затем просто и серьезно.)* Я никогда тебе не изменяла.

Т а м а ш *(недоверчиво)*. Не изменяла? В таком случае как расценить все случившееся?

Е в а. Вот ты ничего и не понял. Так ни о чем и не догадался до сих пор? В тот вечер я не могла поступить иначе.

Т а м а ш. Зачем, зачем ты это сделала?

Е в а. Чтобы задеть тебя, сбить с тебя самоуверенность, лишить чувства превосходства, чтобы ты, наконец, убедился в страшном своем эгоизме. Помнишь, что случилось в тот вечер? Мы бросили несчастного мотоциклиста на произвол судьбы, к тебе пришла девушка, просила помочь, но ты с возмутительным бессердечием отделался от нее, просто выгнал, ну а затем пришел Кернер. Ты и его выставил за дверь, хотя тут ты был прав. Но Кернер не из тех, кто лег-

ко сдается, и он решил тебе отомстить. Зная твое болезненное самолюбие, он великолепно сыграл на нем, правильно рассчитал все и нанес точный удар. И ты поверил. Поверил, что я его любовница. Но как же ты мог так легко поверить этому? Разве мы не прожили вместе целых пять лет? Разве ты не знал меня? Почему ты так легко поверил в эту грубую ложь?

Тамаш *(перебивает)*. Но ты же сама призналась!

Ева. Я не могла поступить иначе. Ты меня оскорбил, унизил...

Тамаш *(перебивая)*. Кто тебя унизил?

Ева *(почти кричит)*. Кто? Ты! Только ты! Унизил тем, что сразу поверил! Оскорбил тем, что остался равнодушным и невозмутимым. Тебе важно было только одно — узнать, кто числился у меня в поклонниках! И еще — долго ли длилась моя связь с Золи Кернером! Что, не правда? Нет, правда, и нужно тебе это было для того лишь, чтобы знать, как вести себя среди общих наших знакомых.

Тамаш. И потому ты призналась?

Ева. Мне хотелось бросить тебе вызов. Сбить с тебя спесь, хоть на мгновение поколебать твою наглую самоуверенность, твой эгоизм!

Тамаш. Это тебе полностью удалось.

Ева. Нет, ты ошибаешься. Ты всегда был непробиваем. Ведь тебе ничего не стоило разоблачить меня, у тебя были основания не поверить в мое так называемое признание. Если б ты чуть больше думал обо мне, то сразу бы заметил, что признание мое шито белыми нитками. Но ты думал только о себе, о своем оскорбленном самолюбии, и тебя заинтересовало лишь одно — много ли удовольствий доставляет мне Золи.

Тамаш. До сих пор не понимаю, зачем тебе понадобилась эта ложь?

Ева. Потому что все пять лет нашей совместной жизни я постоянно чувствовала твою отчужденность. Жизнь моя была тебе безразлична, и я имела основания изменить тебе. Но ты ведь знаешь, я слишком разборчива, да к тому же и трусовата, чтобы решиться на такое. Ты, однако, делал все, чтобы оттолкнуть меня. Помнишь ночные телефонные звонки?

Тамаш. Выходит, ты вовсе не изменяла мне? Как хотелось бы в это поверить... Но ты же сама призналась в измене!

Ева. Будь ты более внимательным, ты мог бы в тот же вечер неопровержимо доказать всю нелепость моего признания.

Тамаш. Доказать?

Ева. Конечно. Вспомни тот вечер. Я предложила Золи закурить, протянула ему сигареты. Оказалось, что он давно не курит. Будь мы в самом деле близки, как могла я не знать об этом? Или еще: я хотела положить ему сахар в кофе. Он снова отказался. Мне бы полагалось знать, в чем дело, а я принялась расспрашивать: «Почему, да отчего, да что случилось?» Помнишь, он ответил: «Меня врачи напугали, ну я и струхнул...» Словом, у тебя было много возможностей усомниться тогда в моем признании, но тебе не пришло это в голову. Да и сейчас ты никак не можешь поверить мне. *(С иронией.)* Знаешь, от чего я испытывала удовлетворение? От того, что ты теперь потеряешь покой, тебя одолеют сомнения: «А что, если Ева и на сей раз ловко разыграла комедию?» Вот и все мое безотрадное утешение — все же хоть немного поколебала твою самоуверенность.

Тамаш. Все-таки никак не могу взять в толк: как могла ты так прямо заявить судье о своей супружеской неверности? И это ты, именно ты?

Ева *(упавшим голосом)*. Потому, что не уважаю себя, ни в грош себя не ставлю с тех пор, как мы оставили в канаве несчастного мотоциклиста.

Тамаш *(раздраженно)*. О боже! Мы уже сто раз говорили об этом... А ты снова заладила...

Ева. Да, заладила... Я за многое теперь себя корю: и за то, что бросила университет, и за то, что держалась за эту уютную квартиру, дорожила всем этим комфортом, твоей машиной, даже за то, что принимала участие в твоих развлечениях.

Тамаш. Машина принадлежит нам обоим.

Ева. Не в этом дело. Я, собственно, не самой машины стыжусь, а того, какой ценой она нам досталась. Мне слишком дорого пришлось за нее расплачиваться. Бесконечными уступками тебе.

В передней раздается звонок.

Тамаш. Пойду посмотрю, кто это. Возможно, врач.

Ева. А я, пожалуй, начну укладываться. *(Направляется в другую комнату.)*

Т а м а ш. Все-таки решила?

Е в а *(даже не оглянувшись)*. Да, за этим я и пришла. *(Уходит.)*

Тамаш, прихрамывая, выходит в холл и, спустя минуту, возвращается с П о н г р а ц е м.

П о н г р а ц. Я говорил с твоим лечащим врачом. Он считает — недели две еще протянется.

Т а м а ш. Да, мне он тоже так сказал. *(Подвигает гостю стул.)*

П о н г р а ц. Спасибо. *(Садится.)* Небось удивлен моим визитом?

Т а м а ш *(садится, пытается прикрыть удивление иронией)*. Ты прекрасно знаешь, что визит твой — честь для меня.

П о н г р а ц. Надеюсь, не помешал...

Т а м а ш *(покосившись направо)*. Да нет, вот только жена моя здесь.

П о н г р а ц *(с некоторым недоумением)*. Вы же, кажется, разошлись?

Т а м а ш. Да, наш брак расторгнут. *(После небольшой паузы.)* Но если у тебя опасения этического порядка, могу заверить... присутствие моей жены вполне согласуется с требованиями морали. Она как раз укладывает свои пожитки.

П о н г р а ц *(делает вид, будто не замечает иронии Шолтеса)*. Я пришел по делу ивандского базальтового карьера — не хотелось ждать еще две недели, пока ты приковыляешь в трест.

Т а м а ш *(поражен)*. По делу ивандской канатной дороги? Разве с ним не покончено?

П о н г р а ц. Я пришел сообщить тебе, что мы решили вернуться к этому делу.

Т а м а ш. Кто же настаивает — завод или институт?

П о н г р а ц. Не завод и не институт.

Т а м а ш *(поражен)*. Уж не Кернер ли вернулся?

П о н г р а ц. Нет, речь не о нем пойдет, а о тебе.

Т а м а ш *(холодно)*. Обо мне? Весьма любопытно. Ты меня заинтриговал.

П о н г р а ц. Признаться, я тогда так в тебе и не разобрался. Я ценю тебя как дельного работника, толкового инженера, но в этой ивандской истории твое поведение мне как-то непонятно. И, честно говоря, оно мне не нравится. С первого же момента не нравилось...

Т а м а ш *(иронически)*. А поведение остальных тебе нравится?

П о н г р а ц. Поведение остальных мне понятно. Завод поставил негодный материал,— к сожалению, у нас это еще случается. Кернер строчил заведомо ложные заключения, чтобы загрести побольше денег, этот сопляк Лукич просто-напросто струсил, его подавил авторитет Кернера, он и заикнуться не посмел о своих подозрениях, но ты... Как ты мог смонтировать негодные канаты? Неужели не заметил, что они с браком? Не могу понять, как это могло случиться.

Т а м а ш *(высокомерно)*. Что ж, возможно, и я работал где-то по совместительству.

П о н г р а ц. Нет, я проверил.

Т а м а ш. В таком случае меня подкупили.

П о н г р а ц. И этого не было.

Т а м а ш. Но ведь что-то должно же быть.

П о н г р а ц. Вот я, кажется, и отгадал это «что-то».

Т а м а ш *(продолжая иронизировать)*. Отгадал, словно загадку? Экий ты, однако, ловкий отгадчик!

П о н г р а ц. Такая уж у меня профессия.

Т а м а ш. И что же, решил сложный ребус и пришел поделиться со мной?

П о н г р а ц *(спокойно)*. Я пришел сказать тебе — не ходи пока в трест. Ты временно отстранен от должности.

Т а м а ш *(оторопев)*. Отстранен? Вот так так!.. И за что же?

П о н г р а ц. Администрация решила снова привлечь тебя к дисциплинарной ответственности, а потому, пожалуй, тебе пока лучше в трест не ходить.

Т а м а ш. Гуманно, ничего не скажешь — поспешил лично сообщить мне столь «приятную» новость.

П о н г р а ц. Я мог бы и написать, но, узнав, что ты нездоров,— говорили, будто ты даже на постельном режиме,— решил зайти тебя проведать, узнать, серьезно ли ты болен.

Т а м а ш. В сострадании не нуждаюсь.

П о н г р а ц. А я и не собираюсь щадить тебя во имя милосердия.

Т а м а ш *(с ожесточением)*. Значит, вы снова задумали подложить мне свинью?

П о н г р а ц. Берусь доказать — ты прекрасно знал, что канаты негодны.

Т а м а ш. Неправда! Дёмёк солгал! Вы сами убедились, он настроен против меня.

П о н г р а ц. Мы вызовем ивандских монтажников, и они подтвердят, что предупреждали тебя, и не единожды. Да будет тебе известно — я не согласился с выводами по твоему делу, съездил на стройку и поговорил с рабочими.

Т а м а ш. Ну конечно, монтажники лучше квалифицированного инженера разбираются в канатах различного сечения.

П о н г р а ц. Так вот, монтажники уверяют: как только ими было замечено, что канаты кое-где стали рваться, они тотчас предупредили тебя об этом.

Т а м а ш. Неправда!

П о н г р а ц. У тебя будет время объясниться с монтажниками. Такую возможность мы тебе предоставим.

Т а м а ш. Они пороли ерунду. Я не обязан был прислушиваться ко всякой безответственной болтовне.

П о н г р а ц. Вот и выходит — прекрасно зная обо всем, ты тем не менее распорядился монтировать негодные канаты. Ты причинил стране миллионные убытки.

Т а м а ш. У меня на руках был технический паспорт завода-поставщика, да к тому же я предъявил вам заключения экспертов. Кто же после всего этого может иметь ко мне претензии?

П о н г р а ц *(резко)*. Я! Я могу. И, если хочешь знать, именно из-за этого самого технического паспорта завода и заключений экспертов. Ты успокоился, понадеялся на бумажки и не вник в существо дела. В случае чего, мол, бумажки тебя прикроют, а на остальное наплевать. Ты всегда требуешь честности от других, а сам-то всегда ли поступаешь честно? Нет! Ты равнодушен, ленив, эгоистичен, человек жестокий, бессердечный, ты глух ко всему, что тебя не касается. Тебе чуждо сомнение, и потому совесть никогда тебя не мучает. Мне стыдно за тебя. Я понимаю, в жизни бывают ошибки, но, осознав их, человек стремится как-то их исправить. Ты же норовил уйти в кусты.

Т а м а ш *(все еще пытается держаться иронически)*. Исправлять ошибки — забота господа бога.

П о н г р а ц. Ошибаешься — долг человека.

Пристально смотрят друг на друга.

Т а м а ш. Значит, ты обвиняешь меня в умышленном молчании?

Понграц. Да, зная обо всем, ты прикинулся, будто тебе ничего не известно.

Тамаш. С какой же целью, по-твоему?

Понграц. Чтобы избежать лишних хлопот. Ведь в противном случае пришлось бы стукнуть кулаком по столу, спорить, доказывать, уличить в подлости старого приятеля, обвинить крупный завод в поставке негодных канатов. Для всего этого нужно мужество, решительность, пришлось бы пойти на риск, ведь в споре можно потерпеть и поражение. Но ты рисковать не любитель. К чему? Куда спокойнее промолчать, пройти мимо. Тобой всегда и во всем движут холодный расчет и осторожность. Чем-то ты напоминаешь мне кибернетического робота.

Тамаш *(задетый)*. Да, вижу, ты здорово меня изучил.

Понграц. Пришлось. И еще хочу сказать — тебе не удастся прожить легко, как говорится, без сучка и задоринки, не удастся переждать в сторонке. Пойми, даже самую сложную математическую задачу в конце концов решают. Это я и пришел тебе сказать. О дне нового заседания по твоему делу я извещу тебя. *(Направляется к выходу.)*

Тамаш. Постой!

Понграц. Никакого сговора между нами быть не может.

Тамаш. Пусть сам черт с вами сговаривается. Я только хочу заявить тебе о своем уходе — я отказываюсь у вас работать. Считайте, что меня уже нет в тресте. Я не допущу, чтобы меня втаптывали в грязь. Вас много, а я — один и слишком щепетилен, чтоб позволить себе такую роскошь — тягаться с вами.

Понграц. Ты ошибаешься, думая легко отделаться. Знаю, на что ты рассчитываешь. Инженеров твоего профиля мало, они нарасхват, и ты полагаешь, что, уволившись, тут же получишь более выгодное предложение и все пойдет по-старому. Не выйдет! Новое рассмотрение твоего дисциплинарного дела состоится, и ты должен понести наказание. Пусть все узнают, каков ты есть на самом деле, пусть узнают, что подлости не прощаются. *(Уходит. Слышно, как резко хлопнула входная дверь.)*

Тамаш *(садится за письменный стол и закрывает лицо руками. Несколько секунд сидит неподвижно, затем, решившись, нервно набирает номер)*. Алло!.. Говорит Шолтес! Попросите к телефону товарища Седечи...

Пауза.

Это вы, Марика? Я хотел бы поговорить с Седечи... Хорошо, жду...

Пауза.

Не можете соединить? Почему?.. Совещание? *(Сердито.)* Так вызовите!.. Я Шолтес, прошу его всего на одну минуту! Ладно, жду...

Пауза.

Не может выйти? *(Снова вспылив.)* Передайте ему... *(Сдерживаясь.)* Впрочем, ничего ему не говорите... Алло, алло! Не кладите трубку!.. Алло!.. *(Но там, очевидно, положили трубку, и потому он тоже кладет трубку и набирает другой номер.)* Алло! Говорит Шолтес... *(Раздраженно.)* Пожалуйста, юрисконсульта Фабиана... Жду...

Пауза.

Его нет в управлении?.. Когда он вернется?.. Понимаю. *(Бросает трубку и, снова облокотившись на стол, закрывает лицо руками.)*

Входит Ева.

Ева. Я готова, только дождусь Андреа... *(Внимательно посмотрев на Тамаша.)* Что случилось? Нездоровится? *(Подходит к нему.)*

Тамаш *(берет ее за руку)*. Ева, у меня большая беда.

Ева. У тебя? *(Убежденно.)* Не верю. С тобой никакой беды случиться не может. Я пять лет была твоей женой и убедилась, что ты в конце концов всегда выходишь сухим из воды. В этом тебе нет равных.

Тамаш. На сей раз, кажется, не удастся. Меня выгоняют с работы. Только что сюда приходил наш кадровик, он заявил мне об этом.

Ева. С чего это тебя вдруг выгоняют?

Тамаш. Помнишь подвесную дорогу в Иванде? *(Он явно смущен.)* По поводу этой дороги Кернер и приходил в тот вечер...

Ева. Беда не велика. Сегодня выгонят, завтра предложат десяток новых должностей, а послезавтра — еще и еще.

Тамаш. Но меня не просто увольняют, а с административным взысканием. С таким клеймом не очень-то устроишься на приличное место. Уже и теперь все захлопывают передо мной двери. Звоню этому размазне Седе-

чи — велит передать, что у него, мол, совещание. Звоню Фабиану — тоже заседает где-то. Случись с человеком беда — вокруг него сразу же глохнут телефоны.

Ева. Кто у вас в кадрах?

Тамаш. Все еще Понграц.

Ева. Ты, кажется, его недолюбливаешь.

Тамаш. Вернее — он меня не выносит. Вероятно, чем-то недоволен. Послушаешь его, так все, видите ли, должны гореть на работе; трудовой энтузиазм, перевыполнение плана... Словом, чистой воды идеализм, хотя старик и считает себя убежденным материалистом. *(Хватает Еву за руку.)* Ева, ты должна остаться, поддержать меня. Ведь мне предстоит трудная борьба, все надо начать заново,— нет, ты не вправе меня бросить! Раньше ты всегда выручала меня, поддерживала...

Ева. Тебе в самом деле нужна моя помощь?

Тамаш. Да, только с тобой я сумею выдержать это трудное для меня время.

Ева *(не желая его обидеть)*. Мне всегда нравилась твоя прямолинейность. Ты всегда умел выхватить самое нужное для себя, ловко отметая при этом все, что казалось тебе лишним, мешало.

Тамаш. Иронизируешь?

Ева. Ну и глуп же ты! Именно за это я тебя и любила. И не стыжусь в этом признаться... Целых пять лет любила тебя... Ты пробуждал во мне надежды, сулил счастье...

Тамаш. Сулил?

Ева. Когда мы впервые встретились с тобой в библиотеке, меня увлекла твоя мальчишеская бесшабашность, наивность житейской философии, можно, мол, жить припеваючи, стоит только замкнуться в узком кругу своих интересов... Когда же ты увел меня больную из общежития, меня пленила твоя смелость, дерзость. Ты казался мне героем, и я таяла от любви. И когда бросила университет — свято верила: это нужно для того, чтобы ты добился какой-то высокой, благородной цели...

Тамаш. Наше с тобой счастье — вот моя единственная цель, разве ты не понимала этого?

Ева. Счастья не получилось, Тамаш. Мы потерпели неудачу. Разве то, к чему мы с тобой пришли, счастливый исход? Скажи откровенно: чего ты достиг? Лично я ничего. Мы исковеркали друг другу жизнь — вот, пожалуй, и все, в чем мы преуспели.

Т а м а ш. Перестань ворошить прошлое. Зачем все портить?

Е в а. Когда я пришла, ты говорил иначе.

Т а м а ш. Я и тогда предлагал — давай начнем новую жизнь. Но тут случилось непредвиденное... Меня вышибли из седла... Теперь мне просто необходимо чувствовать тебя рядом.

Е в а. Но чем я могу помочь?

Т а м а ш. Всем. Тем, что ты есть, тем, что по-прежнему будешь жить здесь, рядом со мной, ходить, дышать со мной одним воздухом, тем, что я смогу тебя слушать, смотреть на мир твоими глазами и учиться понимать его. *(И сам начинает верить в то, что говорит, поскольку сейчас очень нуждается в ее поддержке; позирует, стараясь произвести на нее впечатление.)*

Е в а. Неужели это для тебя такое потрясение?

Т а м а ш. Я смертельно напуган. Боюсь остаться один.

Е в а *(недоверчиво)*. Ты в самом деле просишь моей поддержки? Никогда еще за все пять лет ты не признавался, что чего-то боишься.

Т а м а ш. А сейчас я доведен до отчаяния, того и гляди, начну спотыкаться на ровном месте; ты должна поддержать меня.

Е в а *(все больше проникаясь к нему жалостью)*. Ну и что из этого выйдет? Возможно, неделю, месяц, год все у нас пойдет хорошо, а потом? Что потом?

Т а м а ш. Мы воспрянем духом, крепко встанем на ноги.

Е в а. Ты-то встанешь на ноги, а я? Снова окажусь у разбитого корыта. *(Очень серьезно.)* Если б я могла надеяться на что-то новое в наших отношениях, то сказала бы «да», но я ведь не уверена в этом, Тамаш. И не уверена, что получу что-то от нашего брака. Это не эгоизм, это желание элементарного равноправия. Мое человеческое достоинство ущемлено, и я не могу больше этого допустить.

Т а м а ш. Чего же ты хочешь?

Е в а. Многого.

Т а м а ш *(торопливо)*. Я готов на все. Что ты имеешь в виду?

Е в а. Ты не забыл, что я хотела стать врачом? Так вот, я собираюсь продолжить занятия в мединституте.

Т а м а ш *(несколько растерян)*. Сейчас?

Е в а. Да, мы и так откладывали это из года в год... То тебе надо было закончить институт, то нужно было копить

деньги, сперва на квартиру, потом на машину, потом... бог весть на что... Мой заработок всегда для чего-то был необходим. Теперь придется это изменить.

Т а м а ш. Именно теперь? При таком тяжелом для нас стечении обстоятельств? Ведь я, возможно, на долгое время выйду из строя, окажусь не у дел...

Е в а. Если ты согласен с моими планами — никакие трудности нас не испугают. Начнем все сначала... Продадим машину, коллекцию твоих марок, а если понадобится, и нашу кооперативную квартиру.

Т а м а ш *(вспылив)*. Неужели ты не понимаешь, что этого нельзя допустить? Мы обнищаем, опустимся. Пойми, кто, очутившись в трудном положении, безропотно покоряется судьбе — тот человек пропащий.

Е в а. Вот именно, я не хочу стать безликой, не хочу мириться с тем невыносимым положением, которое досталось мне в удел в нашем браке.

Т а м а ш. Ты играешь словами.

Е в а. Ответь — тебе нужен мой заработок или я?

Т а м а ш. Зачем ты меня обижаешь?

Е в а. Если тебе нужна я... если, как ты выразился, одно мое присутствие может быть тебе полезным... я не могу допустить, чтобы ты жил по-прежнему, я не позволю тебе укрыться, уйти в свою скорлупу... Иного выхода я не вижу и жизнь нашу с тобой представляю только так: ты изменишь, пересмотришь свое отношение к жизни, к людям. Если же этого не произойдет, значит, ты не изменишь и своего отношения ко мне.

Т а м а ш. Короче говоря, с чего, по-твоему, я должен начать?

Е в а. Пойти к Понграцу.

Т а м а ш *(насмешливо)*. Чтобы снова выслушать его нудные нотации, ты, мол, безжалостный эгоист, равнодушный человек, черствый сухарь и т. д.

Е в а. Ты сам решишь, что сказать ему. Главное — тебе необходимо остаться в тресте. Конечно, рано или поздно тебя примут куда-нибудь на работу даже с взысканием, занесенным в трудовую книжку. Но я считаю, что ты должен остаться на прежнем месте, даже если тебя понизят здесь в должности. Я на этом настаиваю, таково мое условие.

Т а м а ш. К чему все это?

Звонок.

Ева. Это, должно быть, Андреа, пойду открою дверь.

Выходит, затем возвращается с Андреа.

Да, это в самом деле она.

Андреа. *(С тех пор, как мы видели ее в последний раз, прежняя застенчивость уступила место чувству собственного достоинства. Непринужденно приветствует Тамаша.)* Добрый день!

Тамаш. Добрый день, милая Андреа. *(Пододвигает ей стул)*. Садитесь, пожалуйста.

Андреа. Благодарю... *(С иронией.)* Но нынче я пришла к Еве.

Тамаш. Знаю... Сегодня вы не ко мне, а к Еве. И все-таки присядьте.

Ева *(Андреа)*. Садись, раз уж ему так хочется.

Андреа садится.

Тамаш *(очень тихо)*. Милая Андреа, я задержал вас на минутку, чтоб попросить у вас прощения.

Андреа *(в хорошем настроении)*. У меня? За что?

Тамаш. Когда вы в прошлый раз сюда приходили, я был с вами весьма сух и неприветлив.

Андреа. Ну раз уж на то пошло — разговор наш и в самом деле был не слишком приятен.

Тамаш. Вы тогда на меня обиделись?

Андреа. Какое это имеет теперь значение?

Тамаш. Ответьте мне со всей искренностью — вы верите во что-нибудь?

Андреа. Как это понять?

Тамаш. А вот так — способны ли вы верить?

Андреа. Без веры жить нельзя... А что вы имеете в виду? Религию?

Тамаш. Нет, не религию.

Андреа. Так я и думала.

Ева *(Тамашу)*. Чего ты от нее хочешь?

Тамаш. Хочу знать, действительно ли она верила, что археология — ее призвание. Хочу разрешить наш давнишний спор.

Андреа. Поскольку вы извинились, я считаю вопрос исчерпанным. Да, я действительно поверила в свое призвание.

Тамаш. А как вы обрели эту веру?

Андреа. Ответ требуется для уточнения моей характеристики или вы интересуетесь из любопытства?

Т а м а ш. Только из любопытства.

А н д р е а. В таком случае открою вам свою тайну... В одной книге по истории искусства я прочла об ушебти. Они меня очаровали.

Т а м а ш. Я не столь образован, Андреа. Просветите меня, что такое ушебти, я не знаю.

А н д р е а. Я тоже не знала, пока не прочла пояснение к одной иллюстрации... Книга к тому же была на немецком языке — я с трудом справилась, но в конце концов разобрала текст... Как выяснилось, древние египтяне при погребении знатных покойников клали рядом с ними маленькие статуэтки из дерева, камня или фаянса размером в двадцать — двадцать пять сантиметров... Вот эти погребальные статуэтки и называются ушебти. По верованиям древних египтян, когда властитель загробного мира, он же судья душ умерших, Осирис, повелевал умершим знатным особам обрабатывать свои наделы в загробном царстве — вместо них это должны были делать ушебти...

Е в а. А ты мне об этом не рассказывала.

Т а м а ш. Эти наивные обычаи древних египтян и привлекли вас к археологии?

А н д р е а. Подумайте, до чего дерзко и жестоко! Это заинтриговало меня, и мне захотелось узнать, каким был мир в древние времена.

Т а м а ш. Я удовлетворен ответом и больше вас не задерживаю.

Е в а. Пойдем, Андреа, я хочу тебя кое о чем попросить... *(Направляются в комнату Евы.)*

Т а м а ш. Ева! Неужели ты все-таки решила уйти?

Е в а. Если ты хочешь, чтоб я осталась... впрочем, ты же знаешь... Звони Понграцу!

Т а м а ш *(беспомощно)*. Но ведь...

Е в а. Звони без промедления, пока я здесь. *(Уходит вслед за Андреа.)*

Тамаш остается один. Прихрамывая, подходит к письменному столу, садится и, уставившись на телефонный аппарат, берет трубку, затем кладет ее. Запрокинув голову, устремляет взор в потолок. Нечаянно смахивает что-то со стола, протягивает руку, чтобы поднять,— оказывается, это ключ от машины. Подняв его, бросает на стол. Снова садится к телефону, но трубку не поднимает, только держит на ней руку. Входит Е в а.

Звонил?

Т а м а ш *(не сразу)*. Нет.

Ева. Не мог дозвониться?

Тамаш. Я и не пытался.

Входит Андреа, держа в руках фотографию.

Андреа. Фото вашего выпуска. Это ты?

Ева *(грустно)*. Да, я. *(Берет фотографию.)* Андреа, иди в кафе «Пикколо», что на углу, и подожди меня там. Я приду через несколько минут.

Андреа *(с изумлением)*. Но ты же сказала...

Ева *(прерывая)*. Теперь это уже не имеет значения... Пожалуйста, иди и жди меня в кафе. Иди, иди. *(Провожает Андреа и тут же возвращается.)* Я так и знала, что ты пойдешь на попятный.

Тамаш. Ты обошлась с ней довольно бесцеремонно. Зачем ты ее выпроводила?

Ева. Хочу поговорить с тобой наедине. *(Сурово и категорично.)* Когда ты намерен позвонить Понграцу?

Тамаш. Разве в этом есть сверхсрочная необходимость? Успеется... *(Притворяется невозмутимым, надеясь выдержкой урезонить ее.)* К чему пороть горячку?

Ева. Короче говоря, ты не хочешь говорить с ним.

Тамаш. Твоя подружка пришла как раз в тот момент, когда я спрашивал тебя, ради чего мне говорить с Понграцем? Чтоб меня снова унизили, снова привлекли к дисциплинарной ответственности? А потом дали бы почувствовать, что они, дескать, умеют прощать? Ты этого хочешь? Вряд ли. Зачем же в таком случае мне туда возвращаться?

Ева. Ты видишь, там тебя хорошо, как и я, раскусили. И тебе пришлось бы здорово перестроиться...

Тамаш. Иначе говоря, перестать быть самим собой.

Ева. И это невозможно?

Тамаш. Возможно, но мучительно. *(Берется за больную ногу.)* Это все равно, что ходить на руках... Так же не лечат... Ты требуешь от меня невозможного... Ну посуди сама, что ждет меня при Понграце и ему подобных? Я возьмусь за порученную мне работу, выполню ее, но не больше. Надрываться за других — дураков нет. Перевелись. Последним был великан Атлант из древнегреческой мифологии, согласившийся поддерживать небесный свод, просто так, в порядке любезности... Но я не хочу уподобляться ему и становиться дуралеем. Да, мои плечи выдержат многое, но если уж вы взвалили на них бремя, будьте любезны, знайте меру и не требуйте какого-то там рвения,

горения и т. п... Я давно понял — когда ведешь машину, надо смотреть только вперед. Кто поглядывает по сторонам или, не дай бог, оглядывается назад, тому недолго и в канаву угодить... *(Запнувшись.)* Да, да, в канаву... *(Замолкает в замешательстве.)*

Ева *(спокойно)*. Ну, ну, продолжай, я тебя слушаю.

Тамаш *(радуется, что может переменить тему разговора, не подозревая, что, по существу, развивает прежнюю)*. Я вот сейчас тут вспоминал нашу с тобой встречу в библиотеке, в коридоре с каталогами... Мы живем в обстановке ожесточенных конфликтов, рассуждал я тогда. Границы вселенной беспредельно раздвигаются, а непримиримые противоречия между отдельной личностью и грандиозным миром, в котором она существует, продолжают усугубляться. Человек уже не в состоянии постичь всю сложность современного мира во всем его многообразии. Остается один-единственный выход — замкнуться в узком кругу своих интересов. *(Берет Еву за руку.)* Вот так отныне я хотел бы жить с тобой. Я готов отдать миру дань и нести бремя, которое возлагает на меня общество, но все остальное меня мало беспокоит, и мне ни до чего, ни до кого нет никакого дела. *(Пытается ее обнять.)* Мне нужна только ты. *(Горячо.)* Понимаешь? Только ты одна!

Ева *(отстраняется от него)*. Я? Ошибаешься. Тебя заботит только твоя собственная персона. Вот теперь я скажу тебе всю правду. Я пришла, чтобы еще раз проверить — способен ли ты думать о ком-то, кроме себя, жить жизнью других людей. Нет. Теперь я окончательно убедилась. Нет, не способен. Тебе нет дела до других, нет дела до окружающего мира. Нет!

Тамаш. Ты неправильно меня поняла. Я хочу жить с тобой. Только с тобой, потому что в тебе есть то, чего мне не хватает. Без тебя я погибну, пойду ко дну...

Ева. Можешь не продолжать... Бесполезно! Мне сейчас надо бы испытать чувство облегчения и даже счастья, что я наконец избавилась от тяжких пут привязанности, любви к тебе, но, увы, ничего такого я не чувствую. На душе мучительно тяжело.

Тамаш. Потому что ты меня тоже любишь!

Ева. Нет, теперь уж не люблю. Любовь наша, тлевшая под пеплом мелких житейских радостей, давно угасла.

Тамаш. Ева, раз ты так настаиваешь... хорошо, я продам машину... Даже с Понграцем поговорю. Так и быть, обещаю тебе! Начнем все сначала, с нуля.

Ева. С тобой мне уже ничего не хочется. Ты не способен перемениться. Ты всегда будешь стремиться низвести меня до жалкой роли пешки — ушебти. Ты не забудешь позаботиться, чтобы при погребении твоих останков рядом с тобой положили безответных ушебти. *(Уходит.)*

Тамаш *(кричит вслед)*. Ева!.. Ева!..

Ева, даже не обернувшись, уходит. Тамаш растерянно стоит посреди комнаты. Свет вокруг постепенно гаснет.

Занавес

От издательства

Эндре Иллеш (род. в 1902 г.) — новеллист, драматург, критик, переводчик, эссеист. Получив литературную известность еще в 30-е годы, Э. Иллеш в эпоху демократических преобразований и социалистического строительства в освобожденной от фашизма Венгрии становится одним из популярнейших и высокочтимых писателей. Он — лауреат премии имени Кошута, дважды лауреат премии имени Аттилы Йожефа.

В 1957 году в Венгрии опубликован сборник очерков Э. Иллеша «Рисунки пастелью», в 1958-м — сборник новелл «Шулеры», в 1962-м — сборник новелл «Двойной круг», в 1966-м — двухтомник «Сто рассказов», в 1967-м — сборник пьес «Театр»; в 1969 году будапештское издательство «Магветё» приступило к изданию 10-томного издания произведений писателя, в 1975-м — к 30-летию освобождения Венгрии вышел сборник избранных новелл «Меж водоворотов».

Пафос творчества Э. Иллеша — разоблачение мещанства в его открытых и скрытых проявлениях. В рассказах и пьесах с острой моральной проблематикой выражено кредо писателя: правда всегда гуманна, иначе она может обратиться в гибельную ложь. Точно так же как гуманность и нравственная красота не могут произрасти из фальши, лжи, самообмана.

Э. Иллеш — известный переводчик французской классической литературы, в частности Мопассана, Стендаля, Мориака. Активное литературное творчество он успешно сочетает с важнейшей административной, а в его понимании и творческой деятельностью: с 1949 года он — главный редактор, а с 1966 года и поныне — директор будапештского издательства «Сепиродалми» («Художественная литература»). «...Передо мной опять задача критики...— говорит об этом сам писатель,— но еще более волнующая, чем задача обычного литературного критика: я рассматриваю произведение и даю ему первую оценку еще в рукописи с надеждой действительно по-

мочь писателю, а не просто пересчитывать его ошибки — уже постфактум».

Рассказ «Профессор» взят из сборника «Гордецы» (I l l é s E n d r e. Kevélyek. Franclin-Társulat kiadása), рассказы: «Воспоминания 1923», «Предатель», «Два портрета» и повесть «Легенда о любви и смерти» из сборника «Сто рассказов» (I l l é s E n d r e. Száz történet. Magvető, 1966); рассказы «Испытание», «Юноша и девушка» — из сборника «Обрывы» (I l l é s E n d r e. Szakadékok. Magvető, 1969), повесть «Шулеры» и рассказы «Скарлатина», «Двойной круг», «Балкон», «Рождество в Белвароше», «Томатный соус», «Приказ», «Трудная весна», «Меж водоворотов» из сборника «Меж водоворотов» (I l l é s E n d r e. Örvények között. Magvető és Szépirodalmi Könyvkiado, 1975), пьеса «Тот, кто боится любить» печатается по изданию: «Современная венгерская пьеса» (М., «Искусство», 1974).

Содержание

Иллеш Эндре.
И 44 Избранное. Пер. с венг. /Сост. А. Кун; Предисл. А Турков/.— М.: Худож. лит., 1979.—366 с.
В книгу включены рассказы из жизни города («Меж водоворотов», «Трудная весна», «Испытание» и др.), пьеса «Тот, кто боится любить» и поэтическая легенда «Сказание о любви и смерти».
Большинство рассказов переведено впервые.

И $\frac{70304\text{-}195}{028(01)\text{-}79}$ 144-79 И(Венг)

ЭНДРЕ ИЛЛЕШ

Избранное

Редактор *С. Тонконогова*

Художественный редактор
И. Сальникова

Технический редактор
Л. Глазунова

Корректоры
М. Муромцева и *Л. Овчинникова*

ИБ № 1333
Сдано в набор 04.09.78. Подписано в печать 30.03.79. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. 19,32+1 вкл.=19,372 усл. печ. л. 19,801+1 вкл.=19,85 уч.-изд. л. Тираж 50 000 экз. Заказ № 758. Цена 2 р. 10 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Тула, проспект Ленина, 109.